Новый Журнал

71

THE NEW REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly (March, June, Sept., Dec.) 4 issue at New York, N. Y., for October 1, 1962.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was:

(This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1160.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 17th day of September, 1962, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1963.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать второй год издания

КН. 71 НЬЮ ИОРК **1963**

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, March 1963
Quarterly, No. 71
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ив. Бунин — Зимний сон 5
Иван Елагин — Стихотворения 9
Ирина Одоевцева — На берегах Невы 12
Лидия Алексеева — Стихотворения 44
К. Н. Давыдов — Глухари 46
О. Алексина — Стихотворения 55
Роман Гуль — А. Солженицын, соцреализм и школа Ремизова 58
Вера Булич — Стихотворения 75
П. Берлин — Русская литература и евреи 78
Яков Бергер — Стихотворения 99
Н. Трубецкой — О втором периоде творчества Достоевского 101

СТИХИ ИЗ СССР 128

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

К. Вендзягольский — Савинков 138
М. Добужинский — Служба в министерстве 156

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

М. Таубе — Иоганн Таубе, советник царя Ивана Грозного . 170
С. Левицкий — Этюд о скуке 190
В. В. Дорошенко — Жизнь и деятельность М. Драгоманова . 197
Ю. Денике — Десять лет спустя 217
Н. Нароков — Русский язык «там» 229
Н. С. Тимашев — На правильном ли пути Америка? 244

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Из альбома Г. Л. Гиршман. *Л. Врангель* — Воспоминания об А. И. Куприне. *Б.* — Колыма. *В. В. Обольянинов* — В. В. Розанов — преподаватель в бельской прогимназии 252

БИБЛИОГРАФИЯ:

Д. Шуб — The Russian Provisional Government 1917. *Б. Прянишников* — M. Djilas. Conversations with Stalin. *Зоя Юрьева* — F. Reeve. A. Blok. *Ю. Иваск* — G. Wytrzens. P. A. Vjazemskij. *Д. Шуб* — R. Kindersley. A Study of "Legal Marxism" in Russia. *В. Завалишин* — C. Gray. The Great Experiment. *К. Вендзягольский* — J. Mackiewicz. Zwyciestwo Prowokacji. *Роман Гуль* — C. Stanislavski— An Actor's Handbook. C. Stanislavski. Creating a Role. «Мосты» № 10. *Е. Таубер* — И. Гуаданини. Письма. *М. Н.* — Н. Градобоев. Десталинизация 270

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ЗИМНИЙ СОН*

Днем, гуляя, Ивлев прошел по выгону мимо школы.

На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха.

Потом он лежал у себя в кабинете на тахте.

На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках, играла поземка.

В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла.

Холодно и скучно синело только в кабинете — окна его выходили на север.

Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор.

И он лежал, облокотившись на истертую сафьянную подушку, и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучья, красновато черневшие против солнца на чистом небе сильного василькового цвета.

По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью. И он, глядя, напряженно думал:

— Где-же, однако, с учительницей встретиться? Разве поехать к Вуколовой избе?

И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс: седая борода развевается по ветру, на голове, на длинных прямых волосах, истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха.

— Ах, — подумал Ивлев с радостью, — непременно случилось что-то ужасное!

---

* Этот рассказ И. А. Бунина прислан нам Л. Ф. Зуровым.

Это был Вукол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей сыном.

И Вукол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку — хоть щепоточку:

— Затем и лез по сугробам, по морозу, — говорил он. — Что поделаешь, привык, а сын не дает, грозит убить...

И видно было, что его самого трогает — и гораздо более, чем побои и грубость сына, — то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему.

Он был страшен и жалок, по-медвежьи держал палку в посиневших руках.

— Дайте ему, — сказал Ивлев, — и чаю, сахару и белого хлеба!

Воротясь в поле, в свою ледяную избу, Вукол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намерзлыми в кадке, наколол щепок, жарко запалил их, окунув сначала в конопляное масло. И скоро, под дырявой, проржавевшей трубой, самовар буйно загудел, заполыхал, и старик, все подогревая его, уселся пить.

Как вдруг вошел сын.

Изба была вся голубая от дыму.

Старик кончал двадцатую чашку.

И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал Богу душу.

Тогда Ивлев велел запречь в бегунки молодую, горячую лошадь.

Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно, вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе.

На крыльцо тотчас вышла весь день поджидавшая его учительница.

— Мы непременно должны посмотреть Вукола! — крикнула она.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха. Глаза сияли веселой хитростью, лицо от папахи казалось еще милее и нежней.

Она смеялась, нагибая голову к муфте, закрываясь от острого ветра.

Лошадь летела, как на крыльях.

Сзади, за степью, садилось солнце.

Снежное море, растилавшееся впереди, зеленело.

И встречный ветер, как огнем, жег щеки, брови.

Ивлев оглянулся, — не едет ли кто сзади? Поле было пусто и уже темнело в малиновом свете заката. И он обнял учительницу, ища губами ее щеку. Она засмеялась пуще и схватила вожжи.

— Нет, — крикнула она, — мы должны сперва заехать!

И через минуту они очутились возле темной избы, черневшей среди снегов.

Согнувшись, вошли в темные сени, нашарили в темноте скобку.

Изба, распахнувшаяся перед ними, была велика и стара, все в ней было черно, дико, грубо.

Провисший потолок, блестящий от дыма, копоти, громадная покосившаяся печь.

Восковая свечка, прилепленная к столу, едва озаряла эту мрачную и страшную берлогу.

А за столом, на лавке, стоял широкий, мелкий гроб, покрытый коленкором, на коленкоре, под бугром, образованным сложенными на груди руками, лежала черная дощечка.

— Не бойся! — с бесовской радостью шепнула учительница, крепко схватив Ивлева за руку и вся прижавшись к нему. — Едем, едем!

И полозья санок, как коньки, засвистали под изволок по

мерзлому снегу. Еще тлела далеко впереди сумрачно-алая заря, а сзади уже освещал снежное поле только что поднявшийся светлый стеклянный месяц.

Теперь они неслись в Гренландию.

1920 г. *Ив. Бунин*

В своем литературном завещании (см. «Новый Журнал», номер 66-ой, стр. 170-ая) И. А. Бунин написал: ...«но что будет в этом предполагаемом последнем томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги «Темные аллеи» и некоторого другого написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (смотри пакет, в котором «Зимний сон» и прочее)»... Рассказ «Зимний Сон» перепечатан Верой Николаевной Буниной. Иван Алексеевич в разные периоды работал над ним. Первая правка сделана простым карандашом, вторая — черными чернилами, третья (рассказ тогда был сокращен) — зелеными чернилами. Последний раз И. А. Бунин правил рассказ красным химическим карандашом, после войны, во время болезни.

Л. Зуров

У вас в глазах то робость,
То озорство, то страсть.
У вас глаза, как пропасть,
Где так легко пропасть.

Они у вас туманны,
И чуть блестят они.
У вас глаза — капканы,
Ловушки, западни.

Там вспыхивает шатко,
Там прячется скользя, —
Решимость и оглядка,
И можно, и нельзя,

Открытость и рисовка,
Отчаянье и блажь —
Глаза, как маскировка,
Глаза, как камуфляж,

Как лунных два осколка,
Как дымных два цветка,
У вас глаза — двустволка,
Что бьет наверняка.

У вас они бездонней
Всех омутов и рек,
У вас в глазах — погоня,
У вас в глазах — побег.

И собственному сердцу
Я говорил не раз,
Что мне не отвертеться
От ваших дымных глаз.

В них темный ветер риска,
В них сам себе я снюсь.
Когда-нибудь я низко
Над ними наклонюсь.

*

К. Н. Астори

Осень, осень — торопливый график,
Ты наносишь темные штрихи,
И кладут косую тень на гравий
Буков лиловатые верхи.

Ты глядишь перед собою прямо,
И речная даль тебе видна.
Ты ее с утра вставляешь в раму
Моего высокого окна.

Торопливый рисовальщик — осень,
Ты опять тоской меня обдашь,
Вот он — нелюдим и грандиозен —
Твой речной, твой ветренный пейзаж.

Облаков больших твоих наплывы,
Как попало, грубо наведя,
Ты уже кидаешь торопливо
Черточки пунктирного дождя.

Но пока, по ветру птиц развеяв,
Ты набросок делаешь углем,
Бережней, чем под стеклом музеев,
Он хранится под моим стеклом.

*

Ветки голы. Месяц тонок.
Поздней осени пора.
Ветер плачет, как ребенок,
В люльке каменной двора.

Были суды-пересуды,
Разговор за коньяком,
Горы сдвинутой посуды,
Дым под самым потолком.

Разошлись куда-то гости,
Все затихло, все прошло.
В ледяном, ночном нахлесте
Ветки бьются о стекло.

Может быть ушел я с ними
И в пути отстал от них,
И пропал в тяжелом дыме,
В наваждениях ночных.

Где-то ходит по вселенной,
Где-то прячется в веках
Нетерпимый и надменный
Ангел в рваных башмаках.

Если я дорогой к раю
Повстречаю тень твою,
То тебя я не узнаю,
Как себя не узнаю.

Иван Елагин

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

...на берегах Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.

Георгий Иванов

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Начало зимы 1920-21 года. На улице холодно и темно. А здесь в Доме Литераторов тепло и светло. Совсем особенно по-дореволюционному тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в восемь часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое — тепло центрального отопления, не то что паляший жар буржуек, дышащих льдом, как только их перестанут топить.

Случайные посетители Дома Литераторов чувствуют себя здесь как в каком-то сказочном царстве-государстве. Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба. Уже с осени я — к великой зависти всех студистов и студисток — стала членом Дома Литераторов и бываю здесь ежедневно.

В большой прихожей бородатый профессор-египтолог старательно и неумело пристраивает поверх своего котелка белый детский башлык на розовой подкладке с кисточкой.

— Слыхали, — обращается он ко мне, — говорят Мандельштам приехал. Будто даже видели его на улице. Но я не верю. Ведь не сумасшедший же он, чтобы с сытого юга, из Крыма, от белых приехать сюда голодать и мерзнуть.

Одна из кавалерственных дам — их немало среди членов Дома Литераторов — оправляет перед зеркалом свои седые букли и кружевное жабо.

Мандельштам? Что такое Мандельштам? спрашивает она, продолжая глядеться в зеркало, будто ждет ответа от него, а не от профессора или меня. Лорнетка изящным жестом поднимается к ее чуть презрительно прищуренным глазам. И снова падает, повисая на черном шнурке для ботинок, заменяющем золотую цепочку. В лорнетке нет стекол. Стекла теперь найти невозможно. Но лорнетка ей необходима. Ведь лорнетка, вместе с кружевами и буклями почти единственное оставшееся от прежней жизни.

— Не верю, — раздраженно повторяет профессор, туго стягивая узел башлыка. — Не сумасшедший же он.

Я тоже не верю. Боюсь поверить, чтобы потом не разочароваться.

«Что такое Мандельштам» я узнала совсем недавно, в одну ночь прочитав «Камень». Я сразу и навсегда запомнила большинство его стихов наизусть и теперь часто повторяю про себя:

За радость легкую дышать и жить
Кого, скажите мне, благодарить?

Ах, если бы Мандельштам действительно приехал... Нет лучше пока не верить.

Дверь прихожей отворяется, и в струе холодного воздуха, серебрясь морозной пылью, появляется в своей неизменной дохе и ушастой оленьей шапке обмерзший Гумилев. Должно быть он пришел издалека, а не из своей квартиры. Ведь она здесь за углом, в трех шагах — на Преображенской 5. Он с несвойственной ему поспешностью сбрасывает с себя доху, отряхивает снег с ног и громко объявляет во всеуслышанье, как глашатай на городской площади:

— Мандельштам приехал!

Но эта сенсационная новость не производит ожидаемого эффекта. Профессор, наконец справившийся со своим башлыком, недовольно бурчит:

— Приехал? Значит действительно спятил.

Кавалерственная дама, так и не получив ответа на свое «что такое Мандельштам?», относится к известию о его приезде с абсолютным безразличием и не удостаивает Гумилева даже взглядом через свою безстекольную лорнетку. А я от волнения и радости не в состоянии говорить. Приехал!

Гумилев идет в столовую, становится в длинную очередь за пшенной кашей. Я иду за ним. Я уже овладела собой и задаю ему множество вопросов, взволнованно и радостно. И Гумилев, не менее меня взволнованный и радостный, рассказывает:

— Свалился, как снег на голову! Но разве он может иначе? Прямо с вокзала в семь часов утра явился к Георгию Иванову на Каменноостровский. Стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати — обыск! Мечется по комнатам, рвет письма из Парижа. А стук в дверь все громче, все нетерпеливей. Вот сейчас начнут дверь ломать. — Кто там? — спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик:

— Я! я! я! Открывай!

«Я» значит не обыск. Слава Богу! Но кто этот «я»?

— Я, я. Осип! Осип Мандельштам. Впусти. Не могу больше. Не могу.

Дверь, как полагается заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несется какой-то нечленораздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключем, крюком и засовом, грянула цепь и Мандельштам весь синий и обледеневший бросился ему на шею, крича:

— Я уже думал крышка, конец. Замерзну у тебя здесь на лестнице. Больше сил нет, — и уже смеясь, — умереть на черной лестнице перед запертой дверью. Очень подошло бы для моей биографии. А? Достойный конец для poète maudit.

Мы уже успели получить нашу пшенную кашу и съесть ее. К нашему столу подсаживается Кузмин с Юрием Юркуном послушать рассказ о «чудесном прибытии Мандельштама».

Оказывается, Мандельштам — так уж ему всегда везет явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, — не могло быть и речи. И Георгий Иванов, коекак отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом Искусств искать пристанища. Там их и застал Гумилев.

С пристанищем все быстро устроилось. Мандельштаму тут же отвели «кособокую комнату о семи углах» в Писательском коридоре Дома Искусств, где прежде были какие-то меблированные комнаты. Почти все эти комнаты необычайны по форме — ромбообразные, полукруглые, треугольные, но комната Мандельштама все же оказалась самой фантастической среди них. Мандельштам сейчас же и обосновался в ней — вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Тристии», тщательно обтер ее и положил в ящик комода. После чего запихал клеенчатый сак под кровать и вымыл руки, вытер их клетчатым шарфом вместо полотенца. Мандельштам был очень чистоплотен и мытье рук переходило у него в манию.

— А бумаги у тебя в порядке? — осведомился Гумилев.

— Документы? Ну, конечно, в порядке — и Мандельштам не без гордости достал из кармана пиджака свой «документ» — удостоверение личности, выданное Феодосийским Полицейским Управлением при Врангеле на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в Белую Армию. Георгий Иванов, ознакомившись с документом, только свистнул от удивления.

Мандельштам самодовольно кивнул:

— Сам видишь. Надеюсь, довольно...

— Вполне довольно, — перебил Георгий Иванов, — чтобы сегодня же ночевать на Гороховой 2. Разорви скорей пока никто не видел.

Мандельштам растерялся.

— Как же разорвать? Ведь без документов арестуют. Другого у меня нет.

— Иди к Луначарскому, — посоветовал Гумилев, — Луначарский тебе, Осип, мигом выправит всё, и нужные бумаги выдаст. А этот документ, хоть и жаль, он курьезный, — уничтожь, пока он тебя не подвел.

И Мандельштам, уже не споря, поверив, что документ действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и развеял пепел по воздуху — чтобы и следов не осталось.

— Сейчас они у Луначарского. И, конечно, беспокоиться нечего. Все, как всегда, устроится к лучшему. Ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела.

Суеверный Кузмин трижды испуганно сплевывает, сквозь стекла вздрагивающего на его носике пенсне глядя на Гумилева своими «верблюжьими» глазами. У Кузмина глаза как у верблюда — или прекрасной одалиски: темные, томные, огромные. «Бездонные» глаза, полные женской и животной прелестью.

— Тьфу, тьфу, тьфу, Коленька. Не сглазь меня. Сплюнь.

«Меня» — Кузмин всегда думает о себе. Но он большой охотник до всяких сплетен, слухов и сенсаций и готов говорить о них часами. Приезд Мандельштама приятен ему именно с этой анекдотической стороны.

— Завтра в пять Осип приедет ко мне чай пить. Приходи и ты, Мишенька. Он написал массу чудных стихов и будет их читать. И вы, Юрочка, — это уже к Юркуну, — тоже приходите послушать новые стихи Мандельштама.

Но перспектива послушать новые стихи Мандельштама — или чьи бы то ни было стихи — Кузмину не кажется соблазнительной.

— Завтра? Завтра мы заняты. Нет, завтра совсем нельзя. Ты уже извини, Коленька. Без меня послушаете.

Конечно, он ничем не занят завтра. Но одно упоминание о стихах заставляет его вдруг заторопиться.

— Уж поздно. Пора идти. Идем, Юра. Кланяйся Осипу Эмильевичу, Коленька. До свидания, — это уже мне.

Он суетливо снимается с места и мелкими быстрыми шагами идет к выходу рядом с высоким, молчаливым, красивым Юркуном.

Гумилев улыбается.

— И всегда он так. Бежит от стихов, как черт от ладана. А сам такой замечательный поэт. Вот и пойми его.

Но мне хочется говорить о Мандельштаме, а не о Кузмине.

— Правда, что он будет завтра читать у вас новые стихи?

— Сущая правда. Приходите послушать. Вы-то уже конечно, даже если и очень заняты, придете. Вас наверно поразит внешность Мандельштама. И я готов держать пари, он вам не понравится. Боюсь, что вы не сумеете ни понять, ни оценить его. Он совсем особенный. Конечно смешной, но и очаровательный. Знаете, мне всегда кажется, что свои стихи о Божьем Имени он написал о себе. Помните:

Божье Имя, как большая птица,
Вылетела из моей груди.
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади.

— Мне всегда кажется, что он сам эта «птица — Божье Имя», вылетевшая из клетки в густой туман. Очаровательная, бедная, бездомная птица, заблудившаяся в тумане.

На следующий день я, конечно, пришла к Гумилеву. Вернее прибежала. Я была на лекции Чуковского о Достоевском.

Пропустить ее казалось невозможным. Но и опоздать к Гумилеву было тоже невозможно. И я напрасно прождав трамвай целых десят минут, в отчаянии пустилась бегом по Невскому, по мягкой усыпанной снегом мостовой.

Если начнут с чая, не беда, что опоздаю. Но если со стихов — катастрофа. Ведь не станет же он повторять свои стихи для меня. Нет, никогда не прощу себе, если...

Меня впускает прислуга Паша. От долгого бега мне трудно отдышаться. Я перевожу дух, чтобы спросить:

— Мандельштам уже тут?

Паша пожимает плечами:

— Должно тут. Народу много. Кто его знает, который из них Мштам.

Я еще раз перевожу дыхание перед тем, как войти в столовую. «Народу много», сказала Паша. Но за чайным столом сидят только Михаил Леонидович Лозинский, Георгий Иванов, сам Гумилев и — да, это, должно быть, Мандельштам. Кто же другой, как не он?

Нет, меня не поразила внешность Мандельштама. И он мне сразу очень понравился.

Сколько раз мне впоследствии приходилось читать и слышать описание его карикатурной внешности — маленький, «щуплый с тощей шеей, с непомерно большой головой», «обремененный чичиковскими баками», «хохол над лбом и большая лысина», «тощий до неправдоподобности», «горбоносый и лопоухий». И совсем недавно в советском журнале о встречах с Мандельштамом в Крыму: — «Его брата называли ‘красавчик’ а его — ‘лошадь’... за торчащие вперед зубы»..?

Бедный Мандельштам! С лошадью у него не было абсолютно никакого, даже отдаленнейшего, сходства. А торчавшие вперед зубы — зубов у него вообще не было. Зубы заменяли золотые лопаточки, отнюдь «не торчавшие вперед», а скромно прятавшиеся за довольно длинной верхней губой. За эти золотые лопаточки он и носил прозвание «Златозуб».

Меня всегда удивляло, что он многим казался комичным «карикатурой на поэта и на самого себя». Но вот я впервые смотрю на него и вижу его таким, как он на самом деле.

Он не маленький, а среднего роста. Голова его не производит впечатления «непомерно большой». Правда он преувеличенно закидывает ее назад, отчего на его шее еще резче обозначается адамово яблоко. У него пышные, слегка вьющиеся волосы, поднимающиеся над высоким лбом. Плешь, прячущуюся среди них, никак нельзя назвать лысиной. Конечно, он худой. Но кто из нас в те дни не был худ. Адамович, как то встретив меня на Морской, сказал: — Издали на вас смотреть страшно. Кажется, ветер подует и вы сломаетесь пополам. Упитанными и гладкими среди поэтов были только Лозинский и Оцуп, сохранившие свой «буржуйский» вид.

Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на нее особого внимания. Будто она не играла решающей роли в впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение, благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней.

Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня голубыми, сияющими «ангельскими» глазами. И мне показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу все, что у него там внутри, на дне сознания.

Я скромно сажусь на свободный стул между Оцупом и Лозинским.

С осени 1920 года я уже настоящий поэт, не только член Дома Литераторов. И что много почетнее и важнее — равноправный член недавно восстановленного Цеха Поэтов. Но меня все еще продолжают называть «Одоевцева — ученица Гумилева» и я продолжаю чувствовать и вести себя по-ученически. Вот и сейчас я сознаю свою неуместность в этом «высоком обществе» за одним столом с Мандельштамом. С самим Мандельштамом, о котором я только мечтала.

Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина, радушно угощая нас настоящим, а не морковным чаем с сахарным песком внакладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом.

Виновник торжества, Мандельштам, с нескрываемым наслаждением пьет горячий, сладкий чай, закусывая этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песку.

Оцуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама. И не выдержав, спрашивает:

— Как вы можете, Осип Эмильевич? Разве вкусно?

Мандельштам кивает, не переставая жевать: — Очень вкусно. Очень.

— Еще бы не вкусно, — любезно подтверждает Лозинский, — знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят.

— Только, — с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, — вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир, для пикантности и аромата.

Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха «самоедским лакомством».

Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах — все ближайшие «соратники» Гумилева — Лозинский, Оцуп, Георгий Иванов (Адамовича в то время не было в Петербурге).

Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера, — первое чтение «Тристии» в Петербурге, как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы: — Начинай, Осип!

И Мандельштам начинает:

На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод...

И дальше:

Нерасторопна черепаха-лира
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет...

Слушая его, глядя на его закинутое мучительно-вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх.

Мандельштам кончив, широко открывает глаза, отряхивается как только что выкупавшийся в пыли воробей и спрашивает взволнованной скороговоркой:

— Ну как? Скверно? Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал.

Пауза. Затем Гумилев веско заявляет — не говорит, а именно заявляет:

— Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию. И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают они русскую поэзию.

За Гумилевым — такова уже сила цеховой дисциплины — все по очереди выражают свое восхищение «с придаточными предложениями», объясняющими восхищение.

Но я просто восхищена, я просто в восторге, я не нахожу никаких «придаточных предложений». И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, «акмеистический вопрос»:

— Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи?

Мандельштам, только что превознесенный самим Синдиком Цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно:

— Оттого, что Терпандр действительно жил, родился на

Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира — не знаю. И не интересуюсь этим вовсе.

Но мой вопрос, повидимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании и он быстро поворачивается к Лозинскому:

— Михаил Леонидович, а может быть правда, лучше вместо Терпандра Меркурий? А?

Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям.

— Вздор! Это стихотворение — редкий пример правильности формулы Теофиля Банвиля: «то, что совершенно, не требует изменений». Ничего не меняй. И читай еще! Еще!

Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...

Голос Манделыштама течет как эта «золотистого меда струя», и вот уже я, забыв, что я «навсегда опозорена», вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз.

Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь.

Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама.

Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он, и никто другой не замечают.

Ну, а в комнате белой, как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,
Не Елена, другая, как долго она вышивала...

Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в самнамбулическом самоупоении:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И покинув корабль натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Последняя строфа падает камнем и все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей.

Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их — добытые с таким трудом — где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана.

Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее.

— Кури, Осип, кури! Ты заслужил и еще как заслужил!

И тут, во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова:

— Да. И это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я, на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя:

Ну, а в комнате белой, как прялка стоит тишина

По-моему будет еще лучше:

Ну, а в комнате белой как палка стоит тишина.

Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, разражается неистовым при-

ступом кашля-хохота: — Как палка! Нет, не могу. Как палка!

Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама:

— Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?

Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу — и даже без всякого.

— От иррационального комизма, переполняющего мир, — объяснял он приступы своего непонятного смеха. — А вам разве не смешно? — с удивлением спрашивал он собеседника.

Ведь можно лопнуть со смеху.

Как-то уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на Бассейной голубели и потягивались рябью огромные лужи-озера, я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо на меня, трясясь от смеха и, помахав мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду.

Смеясь все сильнее, он подошел ко мне и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха:

— Нет, представьте себе. Я иду в Дом Литераторов. Думаю, встречу там и вас. И вспомнил вашу «Балладу о котах». А тут вдруг кошка бежит, а за ней, за ней другая. А за кошками — тут смех перешел в хохот и клёкот. — За кошками — вы! Вы идете! За кошками! Автор Котов!

Он вытер слезы, катившиеся из его голубых, как весеннее небо глаз, — и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов, в голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и удивленно:

— Знаете, мой брат, мой младший брат выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня. Очень дельный, и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, влюбленный в нее. Они накануне переехали на новую квар-

тиру. А он выбросился из окна. И разбился насмерть. Как вы думаете почему? Почему?

Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это все была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой действительно неизвестно почему выбросился из окна. И разбился насмерть.

Но от ответа на вопрос почему выбросился из окна брат Мандельштама меня избавило появление Гумилева, шествующего в своей развевающейся оленьей дохе с рисунками по краю и в оленьей же шапке. В Дом Литераторов, как и мы.

Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и клокоча, стал объяснять:

— Я иду... а тут коты... бегут, а тут Одоевцева. Нет, ты только подумай! Не могу! Не могу! Коты... и Одоевцева!

Встречи с Мандельштамом были всегда непохожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все.

Человек из другого мира, из мира поэзии.

На его стихи из «Камня» —

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?

мы студисты сочинили ответ:

Вы, конечно, ненастоящий,
Никогда к вам смерть не придет —
Вас уложат в стеклянный ящик,
Папиросу засунут в рот,
И поставят в лазоревый грот —
Чтобы вам поклонялся народ!

Стихи, хотя они и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящи. Но должно быть действительно —

Бывают странными пророками
Поэты иногда —

ведь о стеклянных ящиках, мавзолеях для поклонения народа, никто тогда и понятия не имел. Впрочем, в стеклянный ящик, «чтобы ему поклонялся народ», уложили не Мандельштама, а погубившего его Сталина. Но это случилось позже, много позже. А сейчас все еще зима 1920-1921 года. И моя первая встреча с Мандельштамом.

Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных «сред» Дома Искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы.

— А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная. Но главное крыша и печка. И ведь теперь весь Дом Искусств принадлежит и мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это сознаете, надеюсь? Вы — мой гость.

Он не дает мне ответить.

— Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык.

И опять, не дав мне сказать ни слова, прибавляет:

— А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру. Хотя это изобретение приписывают еще — а ну-ка, скажите кому. Ведь не знаете?

— Музе Эрато, — говорю я не задумываясь.

Он разводит руками.

— Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?

Мне очень лестно, хотя это совсем незаслуженно. Образованной меня еще никто не считал. Скорей наоборот.

Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в семь лет читала вперемежку со сказками Гримма и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю. А он, может быть, именно, из-за моей мнимой образованности, говорит со мной как с равной, просто и дружески. Без преувеличенной снисходительности — оскорбительной любезности. Мандельштам первый поэт, с которым я сразу легко себя

почувствовала. Будто между нами нет пропасти — он прославленный автор «Камня», всероссийски-знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции. А он уже рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше.

— Вот, в Коктебеле у Волошина. Вы, конечно, бывали в Коктебеле?

Я отрицательно качаю головой.

— Нет. И Волошина не знаю.

— Ах, сколько вы потеряли. Не знать Волошина! — Мандельштам искренно огорчен за меня. — Волошин — представьте себе — бородатый шар в венке и в хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит — что он воздушный шар. А за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле.

Мандельштам рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, из-за конспирации совещавшихся, ныряя в волнах.

— А в Киеве. В Киеве мне жилось привольно. Как впрочем и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Довнар-Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую с воротником из обезьянки. Чудесную, профессорскую шубу. И такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала — голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Получилось довольно дико — будто у меня вместо волос скунсовый черный мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу — «Смотри, смотри, поп-расстрига идет. Патлы обстричь не умеет. Идиот!»

Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору и слушателям своим звонким шопотом. Но ни я, ни кто другой не смеет «призвать его к порядку». Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает и под аплодисменты — Мандельштам аплоди-

рует особенно громко, — почти так же как я, считающаяся «метром клаки» за особое уменье хлопать и заставлять хлопать слушателей — уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму.

Среда кончена. Надо уходить. А Мандельштам еще многого не успел рассказать. Раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца. И он неожиданно принимает героическое решение.

— Я пойду вас проводить до угла.

— До какого угла? Ведь Дом Искусств — на углу Мойки и Невского, — говорит Гумилев.

— Ну, все равно. До первого незажженного фонаря, до второго угла — несколько шагов.

Мы выходим гурьбой из подъезда — Гумилев, Лозинский, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому.

— Подумайте только, Михаил Леонидович, — беря Лозинского под руку, говорит Мандельштам, — меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел. Да! да! Поверить трудно. Не раз сидел!

И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным, звенящим смехом.

— Меня обвинили в спекуляции. Арестовали, как злостного спекулянта — за яйцо! — кончает он, весь исходя от смеха. — За одно яйцо! Было это в Киеве.

И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гогель-могеля. «От сытости, конечно, когда голоден — мечтаешь о корке хлеба». Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был и, значит, всё в порядке и можно идти домой.

Но по дороге, тут же рядом, на рынке бородатый мужик продавал шоколад Эйнем «Золотой Ярлык», любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гогель-могель. Ему «до зареза» захотелось шоколаду.

— Сколько стоит?

— Сорок карбованцев.

Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только тридцать два карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль — отдать за нехватающие карбованцы только что купленное яйцо.

— Вот, — предложил он мужику-торговцу, — вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и тридцать два карбованца за шоколад, себе в убыток.

Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка.

— Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за семь карбованцев купил яйцо, а сам за восемь перепродает. Держите его! Милиционер! Где милиционер!

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер.

Баба надрывалась: — За семь купил, за восемь перепродает. Спекулянт проклятый!

Мандельштама арестовали и он до вечера просидел в участке.

Во время ареста раздавили яйцо и кто-то украл у «спекулянта проклятого» его тридцать два карбованца.

Смеется Лозинский, смеется Гумилев, смеюсь и я, смеются студисты.

Мы прошли уже почти весь Невский и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Бассейной и Невского доходим только мы трое — Гумилев, Мандельштам и я.

Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний.

— А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил десятифунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел — «На каменных отрогах» — я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне — это вам! Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек. Чтобы он не опомнился, не переду-

мал, не отнял бы! Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа как в лихорадке. Ведь гололедица. Того и гляди поскользнешься — и прощай священный дар! Ничего. Донес. Только весь до нитки вспотел несмотря на холод — от волнения. Зато какое наслаждение! Какое высокое художественное наслаждение! Я двое суток не выходил из дому — все наслаждался.

Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам. Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой. Если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли «имел место».

И только много лет спустя, уже здесь в Париже, я убедилась, что в рассказе Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно десятифунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, «когда душа жаждет жертв», проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж. Подарена после настолько потрясшего молодого поэта чтения «На каменных отрогах», что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история «спекуляции яйцом», несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда.

Мы уже давно идем по бесконечно длинной Бассейной. Темно. Снег легко кружится и скрипит под ногами.

— А в Тифлисе...

Но Гумилев перебивает его:

— Это все очень забавно и поучительно. Но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи. Ведь тебе до Мойки...

— Как до Мойки? — Мандельштам растерянно останавливается. — Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал... — Он оборачивает ко мне

испуганное лицо. — Я был уверен, что вы меня пустите к себе ночевать. Ведь у вас я слышал очень большая квартира. И, значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.

— Нет, не найдется, отрезает Гумилев. Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом.

Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав — пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной такой несчастный, потерянный. Как бездомная собака.

— Я замерзну. Я не дойду один.

— Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей, — с решимостью отчаяния говорю я, будто имею право распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице. Но Гумилев не сердится, а смеется.

— Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пущу тебя ночевать к себе. И чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке. Я только попугать тебя хотел. Но какой ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой образец осторожности и благоразумия.

Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление:

— Это я то легкомысленный? Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека.

Он подскакивает, по-петушиному задирая голову.

— Знаю, знаю, — успокаивает его Гумилев, — не кипятись. Ты отчаянный трус. Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно очень редкая порода.

«Трус» — оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится.

Но Мандельштам повторяет:

— Из породы легкомысленнейших трусов! Надо запомнить. До чего правильно!

Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ночные разговоры — до утра. А завтра новый день. Безумный и веселый. Веселый, очень веселый. Все дни были тогда веселы. И, если вспомнить, что это были дни зимы 1920-21 года, веселье их было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе.

...Прозрачная весна над черною Невой
Сломилась. Как бессмертье тает.
О, если ты звезда — Петрополь, город твой,
Твой брат Петрополь умирает.

Как то уже в декабре, когда Мандельштам успел «прижиться» в Петербурге и «обрасти привычками», как будто он никогда из него и не уезжал, мы с ним зашли за Гумилевым во Всемирную Литературу на Моховой, чтобы вместе итти на какую-то публичную лекцию. Но у подъезда Мандельштам вдруг стал топтаться на снегу, не решаясь войти во Всемирную Литературу.

— Я лучше вас здесь на улице подожду. Только вы скорей, пожалуйста.

Был мороз и я удивилась.

— Отчего вы не хотите войти отогреться. Разве вам не холодно?

Он подул на свои посиневшие руки без перчаток:

— Еще бы не холодно! Но там наверху сейчас наверно Роза. Увидит меня — поднимет крик. А это хуже холода. Этого я совсем перенести не могу.

Я все же уговорила его войти и спрятаться у стены за шубами и пальто. А сама пошла на разведку. Розы, слава Богу, не оказалось и Мандельштам благополучно поднялся наверх — пронесло на сегодня!

Роза была одной из привлекательных достопримечательностей Всемирной Литературы. Она, с разрешения Горького и Тихонова, устроила в зале около лестницы, «направо от входа, насупротив кассы» подобие продовольственной лавочки и отпускала писателям за наличные, а чаще в кредит, сахар, масло, патоку, сало и прочие советские лакомства. Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала и обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Манделыштама. При виде его она начинала гудеть густым грохочущим басом — Господин Мандельштам, отдайте мне мои деньги! Не то пожалеете! Я приму меры... Но Мандельштам уже несся по лестнице, спасаясь от ее угроз. А она, оборвав их на полуслове, как ни в чем не бывало уже сладко улыбалась Кузмину.

— Какую я вам коврижку достала, Михаил Алексеевич! Медовую. Пальчики оближете. Никому другому не уступлю. Вам одному. Себе в убыток. Верьте.

Эта Роза была одарена не только коммерческими способностями, но и умна и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения «всемирной маркитантки» всяческие выгоды. Так она завела альбом в черном кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей «какой-нибудь хорошенький стишок на память». И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно объясняла:

— Ох и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку.

Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.

Роза принимала восторги и мадригалы, как должное. Все-же «стишок» Георгия Иванова тронул ее до слез:

Печален мир. Все суета и проза,
Лишь женщины нас тешут да цветы,
Но двух чудес соединенье ты.
Ты — женщина. Ты — Роза.

Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, — «поэт стоющий», она протянула и ему свой альбом. И, должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность, напоминала ему с кокетством:

— Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок.

И Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь написал:

Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.

И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком.

Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая «хорошенький стишок», но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей от волнения рукой, вырвала «гнусную страницу» и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:

— Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!

С того дня она и начала преследовать его, требуя отдать долг.

Одиннадцать тысяч в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только оставила бы Мандельштама в по-

кое, но и — по всей вероятности — возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом будто я предлагаю ему что-то чудовищное.

— Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы значит ничего, ровно ничего не понимаете, — с возмущением и обидой повторял он. — Чтобы я платил долги?

Да, я действительно «ничего не понимала» или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами — особенно перед матросами в кожаных куртках — какого-то мистического, исступленного страха. Он, заявивший в стихах:

Мне не надо пропуска ночного
Я милиционеров не боюсь —

смертельно боялся милиционеров. Впрочем в печати для цензурности «милиционеры» были переделаны в «часовых» — часовых я не боюсь — и не вполне удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то, что милиционеры. Но у Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке, ни в каких «заговорах» он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать «правительство». И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на углу милиционера, Мандельштам весь съеживался, старался спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов.

— Ух, на этот раз пронесло! — неизменно говорил он и, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменившего ему киевскую профессорскую шубу.

— Что пронесло? — допытывалась я.

— Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.

Да, мне понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же неверо-

ятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку «ордеров на расстрел» и разорвать их.* Кто бы, кроме Мандельштама, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик и в то же время смел, как барс.

— А очень просто, — любезно разрешил мое недоумение Лозинский, — Осип Эмильевич помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.

Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например, его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.

— Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андрэ Жид, — повторял он часто. — Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. — И он продолжал:

— Это действительно страшно. Я сижу один в комнате и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.

Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.

— Чего же вы боитесь?

Он разводит руками.

— Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь — и всё тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То что французы называют angoisse. На людях он исчезает. И когда пишу стихи тоже.

Не знаю, из-за этого ли страха, или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев, шутя говорил, что Мандельштаму вместе

* Не повторяю здесь этого эпизода. О нем подробно рассказывает Георгий Иванов в «Петербургских зимах».

с «чудесным песенным даром» дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском Острове и в Доме Литераторов. И даже уверял, что напишет стихи — о вездесущем Златозубе.

Мандельштама, действительно, можно было видеть всюду, в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера — и перебегал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив:

Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен. До зарезу. Ну, прощайте...

Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь была простуда.

Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку — брился и каждое утро — спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату. В писательском коридоре отапливались печками-буржуйками. Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.

Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою буржуйку.

— Это не моего ума дело, — говорил он. Дело это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и

поднимали чад. На «борьбу с огнем» Мандельштам решался только в дни, когда к нему «слетало вдохновение». Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели и руки отказывались писать. Мандельштам с решительностью отчаяния набивал буржуйку поленьями, скомканными страницами «Правды» и плеснув в буржуйку стакан — всегда последний стакан — керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но хорошего результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с буржуйкой, Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери.

— Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!

Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегарами и истопниками» и с большим трудом справлялись с самоотоплением.

Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.

— Ну, зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это

> ...петушье восклицанье,
> пока огонь в Акрополе горит

или вернее не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, — мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался.

— У меня дым валит из печки! Чад — ад! Я могу угореть. Я могу умереть!

Лозинский благосклонно кивал:

— Не смею спорить. Конечно,

> Мы все сойдем под вечны своды
> И чей-нибудь уж близок час.

Надеюсь, все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Эврипиду, — и он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома Искусств, где царило тепло центрального отопления — в бывшие хоромы Елисеевых.

Но здесь было нелегко найти уединенный и тихий уголок. В Доме Искусств или, как его называли сокращенно, в Диске всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие по близости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья, носясь с визгом и хохотом по залам.

Но я в этот день пришла в Диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в Диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.

— Пойдите, поищите, — посоветовал он мне. Может быть найдется что-нибудь интересное для вас.

В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родэна «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей Елисеевских хором, за «непристойность», так и забытая здесь новыми хозяевами.

В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 г. с приехавшей к нему женой.

Но теперь еще зима и Гумилев попрежнему живет один на Преображенской 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе.

— И чего ей не достает? — недоумевает Гумилев. — Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой, как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик. И я почти каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте... А она все жалуется.

Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы — слишком уж девическая

мечта о небесном счастьи брака с поэтом не соответствует действительности.

Я прохожу через ярко освещенную столовую Диска. Здесь не те правила, что в Доме Литераторов, и никого, даже обитателей Диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Миклашевский, приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами, лакомятся коронным блюдом дисковой кухни — заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной почему эти котлеты назывались «заячьими». Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали.

Миклашевский оживленно рассказывает:

— Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ух, как надрались! Божественно!

Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается.

Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо, Пусто. Никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, наваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них «Une saison en enfer» Рембо. И вдруг я слышу легкое жужжание. — Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу, у самой статуи Родэна перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но должно-быть у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный, невидящий взгляд.

Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром — вверх, вниз, направо, налево. Еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею

права присутствовать при нем. Так вот как это происходит. А я и не знала. Не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным.

Сумерки все больше сгущаются. Теперь бледное лицо Манделыштама превратилось в белое пятно. Стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом! Тихо. Даже жужжание прекратилось.Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца.

Я не знаю, как мне уйти. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Надо открыть дверь. Но, если она скрипнет, я пропала.

И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается окрик:

— Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно.

Это так неожиданно, что я, как разбуженный лунатик, испуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.

— Что вы там делаете? Да зажгите же наконец!

Я щелкаю выключателем, и растерянно мигаю. Значит он видел меня, знал, что я тут. Что же теперь будет? А он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака. Совсем спокойно.

— У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спасаться. С самого утра. — Он встает, отодвигает стул и потягивается. — Который теперь час? Неужели уже четыре? — голос будничный, глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние.

— Хотите послушать новые стихи?

Конечно! И как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить, уже запевает:

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачностью играть
В беспамятстве ночная песнь поется.

Я слушаю затаив дыхание. Да, такая «песнь» не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид...

И вдруг не закончив строфы резко обрывает: — А кто такие Аониды?

Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:

— Кто такие Аониды? Знаете?

Я отрицательно качаю головой.

— Не знаю. Никогда не слыхала. Вот Данаиды...

Но он прерывает меня.

— К чорту Данаид! Помните у Пушкина: — «Рыдание безумных Аонид?» — Мне Аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их что ли?

Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:

— А нельзя ли заменить Аонид Данаидами? Ведь ритмически подходит и Данаиды вероятно тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.

Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой.

— Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско... нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее ао. Разве вы не слышите — Аониды? Но кто они эти проклятые Аониды?

Он задумывается на минуту.

А может быть они вообще не существовали? Их просто напросто гениально выдумал Пушкин? Но почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?

С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он успокоившись снова начинает закинув голову:

Я слово позабыл, что я хотел сказать...

И я снова стою перед ним очарованная, заколдованная. Я снова чувствую волнение и смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.

Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии — «Богом в святых мечтах земли».

И теперь через столько лет, вспоминая его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне...

Да, когда Мандельштам пел свои стихи, всё действительно исчезало. Ничего не оставалось кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.

(Продолжение следует)

Ирина Одоевцева

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Словно кто-то, стоя за плечами,
Разбирает новые хоралы, —
Белыми, прозрачными лучами,
Запинаясь, небо заиграло.

А потом — уверенней, стройнее,
Наливаясь светом тихой бури,
Те лучи помчались пламенея,
Словно пальцы по клавиатуре, —

И пылала тонко надо мною,
Радугой цвела и трепетала
Музыка, что стала тишиною,
Тишина, что музыкою стала.

ЗАСУХА

Сух и желт и пылью серебрится
Летний мир, заждавшийся дождя.
И мигает беглая зарница,
И мутнеют тучи, уходя.

О верни их медленную груду,
Что почти укрылась за горой!
Серую, высокую запруду
Над землей запекшейся открой

И потоки стройные обруша,
Этот мир бессильный оживи
Так, как счастье насыщает душу
Грозным наводнением любви.

*
* *

Пахнет горькой водой и медузами ветер прибрежный,
И спешит, и, споткнувшись, лохматится пеной волна...
Что мне сила моя, что моя бесполезная нежность, —
Мне она ненужна, потому что тебе ненужна.

Если верной волной я вослед поплыву пароходу,
И твои берега захлестнет мой зовущий прибой, —
Ты, как эта скала, оттолкнешь мою горькую воду,
И она отойдет — неопознана даже тобой.

Лидия Алексеева

ГЛУХАРИ

Глухарь — птица таежная, обитательница девственной лесной глуши. Он так связан с нею, что неизбежно обречен на вымирание в тех районах куда проникает человек и исчезают большие площади леса, дающие глухарю убежище и защиту. Эта чудесная птица явно сторонится человека, своего злейшего врага, а потому, чтобы познакомиться с нею в ее естественной, так сказать, домашней обстановке, нужно на время обосноваться где-нибудь в районах, сохраняющих еще свой таежный характер.

По счастью у нас даже в пределах Средней полосы России такие места сохранились и эта птица местами встречается еще в значительном количестве. Возьмем хотя бы Полесье или, в особенности, район, где берут начало Волга, Днепр, и Западная Двина, область, которая в смысле глуши может местами щегольнуть даже перед северной тайгой.

Впрочем, даже живя по соседству с этими районами, чтобы добраться до мест хорошего глухариного тока нужно бывало зачастую затратить не меньше времени и энергии, чем при поездке в ближайшие настоящие таежные районы нашего полного Севера — скажем, в леса Карелии или Вологодского края. Скажу одно: глухарь представитель первобытной природы и наблюдать его нужно в столь же первобытных природных условиях. Глухарь — архаическая птица. Это пережиток древнего, постепенно исчезающего населения земли. Во всем облике глухаря чувствуется эта архаичность, первобытность. Вся его могучая фигура (ведь старые самцы достигают иногда до 15 и даже до 18 фунтов в весе) плохо вяжется с остальным птичьим населением Европы. И архаический элемент глухариной натуры еще усиливается, когда вам

удается познакомиться с его повадками. Из них любовная песня глухаря на току — несомненно одно из самых разительных проявлений весенней русской природы.

Чтобы познакомить читателя с током глухарей в его естественной обстановке я приведу свои личные впечатления, вынесенные из моих весенних охот.

Приглашаю читателя перенестись мысленно в центральную часть Таежной Карелии, где я в сопровождении старого опытного карела жду, наслаждаясь, встречи с одним из самых интересных обитателей этого края — с «мошником», как называет народ здесь глухаря. Со мной в сторожке мой руководитель — местный крестьянин, личность небезынтересная, красочная, но не вносившая большого уюта при долгом сожитии.

Кругом сплошное царство девственного леса, тоже малоуютного: угрюмое, мрачное краснолесье. Лишь кое-где этот сплошной лес прерывался, чтобы дать место огромным, часто непроходимым моховым болотам. Эти чередующиеся с лесом — «мхи», разметавшиеся местами на многие десятки, а то и сотни квадратных верст, давали летом приют многочисленным выводкам глухарей, тетеревов и белых куропаток, а сейчас здесь держались в большом количестве мошники, каждую ночь слетавшиеся на тока.

Глухарь токует ночью, всегда на одном и том же месте. Моему руководителю были точно известны места токов («токовища»). От нашей охотничьей штаб-квартиры до ближайшего из них было версты 2-3. Еще до сумерок мы до него добираемся, чтобы проводить начало ночи уже в лесу, поблизости от токовища. Место нашей ночевки — небольшая лесная прогалина, прорезанная глубоким оврагом, на дне которого течет небольшой ручей. С одной стороны оврага крупный сосновый бор, с другой — глухой крупный ельник. В лесу еще много снега. Он лежит кое-где тяжелыми пластами, даже на мохнатых нижних ветвях огромных елей. В воздухе не по-весеннему холодно и сыро. Лесные просторы еще по-зимнему неприветливо молчаливы, нигде еще нет и намека ни

на траву, ни на весенние цветы, к которым мы привыкли ранней весной в Средней России. Небо тоже угрюмое, мутное, холодное. Весна еще плохо чувствуется.

Соорудили костер из крупных древесных сухих стволов (дров в этих местах не жалеют). Примостились удобно у горящего бревна, поужинали и погрузились каждый в свои думы.

Ночь — темная, беззвездная. Вокруг теснятся неоглядной, сплошной стеной мрачные, строевые сосны и ели. В районе, освещаемом колеблющимся пламенем костра, выступают из тьмы фантастические фигуры могучих сосновых древесных стволов, но за пределами этой небольшой освещенной площади, ваши глаза, ослепленные ярким светом костра, ничего не различают. Там — сплошная, непроглядная чернота.

Ночь молчит. Эта напряженная ночная тишина нарушается только треском горящих бревен, да неумолчным шепотом воды в ручье.

Глаза не могут оторваться от пламени костра. При малейшем токе воздуха дрожащее пламя резко колеблется и тогда в районе его неверного освещения рогатые, косматые от лишайников, огромные древесные силуэты начинают причудливо плясать, словно снуют по освещенной красно-оранжевой стенке сосновых стволов.

Эта таинственная обстановка действует на вас. Где-то вдали слышатся звуки, похожие на лай собак. «Откуда здесь собака, да в такую пору?» спрашиваю я моего спутника. Он как-то съеживается и шепчет: «Да что ты, что ты, какая тут собака. Здесь на пятьдесят верст ни одной собаки. Это, брат, «евоная» собака», — «Кого?» — «Да эта самая звук подает»... шепчет он, подразумевая обычного хозяина здешних лесов — лешего.

Ночь идет и идет. Наверное скоро рассвет, а ночная тьма остается все такой же непроглядной. И в этой лесной черноте таятся «они», эти ««мошники», для которых вы проделали все это странствование. Но они попрежнему ни чем себя не обнаруживают. «Их там — сила», шепчет спутник, кивая го-

ловой в сторону неоглядной лесной стены, как всегда преувеличивая предполагаемое количество дичи...

Часа через три начнет светать, а о мошниках ни слуху, ни духу. Уверенность в успехе охоты начинает меня покидать. Ища ободрения взглядываю на своего товарища, но он по-прежнему непроницаем. Продолжает следить за огнем, задумчиво плюет. Напряженно вслушивается. Но вот он, как-то весь подобрался, перестает курить. Еще минута и он вытряхивает свою трубку, засовывает ее за пазуху и с решительным видом встает. Я понимаю: ага, началось... Старательно прилаживаю на себе все, что может мешать при ходьбе и шуметь. Ну вот, кажется всё в порядке. Молча разбрасываем и старательно затаптываем головни костра и так же молча расходимся в разные стороны. И сразу же погружаемся в жуткую лесную чащу. Идти надо ощупью. Темнота кромешная. Но мало-по-малу глаза начинают осваиваться, начинаешь различать могучие силуэты стволов. Но под ногами у вас по-прежнему полный мрак.

Я знаю, что пройдя версту сплошным строевым красно-лесьем, я выйду на закраек огромного мохового болота, покрытого, как всегда, мелкой сосной, но с разбросанными кое-где гигантскими развесистыми соснами. Полесовщик уверенно говорил, что мошники будут токовать, где-то именно на этом закрайке. Но в противоположность своему собрату тетереву, глухарь токует не на земле, а на деревьях и всегда водиночку. Токует он на исходе ночи и выдает место своего токования особыми характерными звуками. Его брачную песню даже нельзя назвать песней, настолько она своеобразна. Руководясь этими звуками, охотник должен подойти к токующей птице, строго соблюдая непременное условие: подходить лишь в известные, определенные моменты ее несложной песни, сохраняя в течение остальной песни абсолютную неподвижность.

Первая задача передо мной, это — услышать глухаря. Что он начал токовать это мне ясно из повадки моего спут-

ника. Но я еще ничего не слышу, кроме обычного лесного шума.

Медленно и осторожно я двигаюсь по лесу в намеченном направлении. Мошники ничем не выдают себя. Но молчавший до сих пор лес мало-по-малу начинает оживать. Иногда из лесной чащи доносятся какие-то подозрительные шорохи, хрусты, неопределенные, словно заглушенные, выкрики.

Я продолжаю осторожно продвигаться в полной темноте по направлению к моховому болоту. По моим расчетам скоро уже и закраек. Прислоняюсь к дереву и весь превращаюсь в слух. Вот где-то на какой-то лесной ламбинке (озерке) громко и тоже как-то жутко застонала гагара... И снова — безмолвие. Молчание мошников беспокоит. И вдруг в этой напряженной тишине леса ухо начинает улавливать какой-то необычный, своеобразный звук, какой-то шелест, что-то неясное. Напряженно вслушиваюсь. Да, до слуха доносятся откуда-то издали какие-то едва слышные, странные, нечленораздельные звуки, то чередующиеся со щелканьем, то с каким-то глухим шепотом. Непривычное ухо даже не обратит внимание на эти звуки. Но я не новичок. И достаточно нескольких секунд, чтобы их понять, распознать в них весеннюю песнь глухаря. Не обинуясь скажу, что все мысли, все чувства, скажу больше: все ваше существо, сразу же напряженно начинает тянуться в сторону этих таинственных звуков. Временами они неожиданно замолкают, но не надолго. Короткая пауза и снова несется в ночи это тенькание, щелканье все определеннее, смелее и завершающий таинственный шелест. Да, теперь ясно: это поет глухарь. Но где же он? Я слушаю еще пять минут. И понимаю, что его своеобразная песня несется совсем не с той стороны леса, где я ожидал найти глухарей. Вы колеблетесь. Но вдруг совсем близко от того места, где вы притаились, раздается уже совершенно ясный звук глухариной песни. Вы замираете в положении, в котором стояли, боясь перевести дыхание. Да, песнь мошника несется сейчас как раз со стороны той мохо-

вины, к которой я шел. Но этот «мой» мошник еще не распелся и прежде чем к нему подходить, нужно дать ему войти в раж. На песнь мошника, начинают доноситься совсем с другого конца леса такие же несмелые методично чередующиеся звуки. Дальше — больше. И наконец, впечатление, что весь лес наполнен сейчас этими тихими, словно заглушенными короткими звуками. Их трудно передать словами. Представьте себе, что по полой металлической трубке несколько раз подряд ударяют деревянной палочкой, короткими отрывистыми ударами, постепенно все учащая и сокращая эти удары: тэк, тэк, тэк... — это отрывистое металлическое «тэканье» заканчивается сплошным раскатистым финалом, уже совершенно непередаваемым человеческой речью. Это какое-то сплошное, азартно шуршащее, словно шелестящее бормотание. Странная, совершенно необычная, по-истине какая-то мистическая, в обстановке молчащего девственного леса, песня. Скажу больше: кто слыхал брачную «песнь» глухаря, тот согласится со мной, что эти примитивные, едва слышные шелестящие звуки звучат, как самое разительное проявление влюбленности, как одно из самых ярких выражений любви, которую справляет весной русская природа. На глухариных токах я никогда не мог отделаться от мысли, что именно через глухаря происходит в весеннем лесу какое-то мистическое «радение». И мне всегда казалось, что вся природа попадает под обаяние этого «радения».

Песня мошника становится всё отчетливее, конец ее всё азартнее и азартнее. Я уже понимаю, что в окружающем меня участке леса поют два, а то и три глухаря поэтому их общая песня льется сейчас без перерывов.

Пора подходить. Выбираю, руководясь силою звука, ближайшего мошника и с замирающим сердцем жду его финальной рулады. Вот она. «Ну, Господи благослови», — шепчу я по привычке «всуе» призывая Бога на помощь и делаю первый шаг. Нет — прозевал... Нужно ждать следующей рулады. Вот и она. Делаю крупный скачок в сторону несущихся зву-

ков и, как полагается, сразу же останавливаюсь, как вкопанный, не шевелясь, почти не дыша. Начало положено. Теперь дальше все будет зависеть от выдержки и ловкости. Подкрадываться к токующему мошнику это целое искусство. Техника, казалось бы, проста, а вот попробуйте применить ее ночью в глухом непроглядном лесу, среди сотни препятствий, которые на каждом шагу готовит темная лесная чаща.

«Мой» глухарь токует на одной из одиночных сосен закрайка мохового болота. Но прежде чем добраться до этого болота нужно еще выбраться из крупного леса, а это не так просто. Первые три-четыре перебежки еще куда ни шло, но дальше скакать ведь приходится вслепую, не видя под ногами почвы, натыкаясь на толстые стволы, на коряги, на торчащие всюду острые сучья, увязая во мху, попадая в предательские трясины — словом, рискуя при каждом прыжке раскроить себе голову, выколоть глаза, сломать ногу, вывихнуть руку...

Осторожно я начинаю делать прыжок за прыжком. Ну, слава Богу, вот уже и конец лесной чащи. Еще несколько перебежек и я буду на чистине, а там дело пойдет уже легче, но зато я буду на виду у глухаря. И вдруг в царившую в лесу тишину внезапно и грубо врывается необычайно громкий и резкий крик, и гулким эхом отзывается по всему лесу. Это на моховом болоте подает голос влюбленный самец белой куропатки. Мошник внезапно замолчал. Не взлета не слышно. Впрочем это и понятно. Бояться ему этого шума не приходится. При этом крике, вы разумеется, превратились в неподвижную статую. А молчание глухаря продолжается и нужно сохранить эту мертвую неподвижность, ждать возобновления песни. Но, наконец, опять понеслось металлическое тэканье. Все чаще и чаще. Снова рулада. И вы продолжаете вашу скачку с препятствиями.

А мошник входит в настоящий раж. Начало его песни всё ускоряется, а финальные шелестящее шушуканье и бормотанье делаются все громче и продолжительнее. Разглядеть бы самого «певца». Вы знаете, чувствуете, что он где-то

поблизости. Но где. Вот тут-то и сказывается разница между культурным охотником и промышленником. Наше самое хорошее зрение сдает там, где глаза промышленника сразу же ориентируются. В самом деле попробуйте разглядеть, при обманчивом освещении едва забрежжевшего рассвета, на черном фоне хвои темный силуэт токующей птицы. Я напрягаю все мое зрение. Я начинаю вглядываться в силуэты ближайших сосен и вдруг как-то неожиданно для самого себя, совершенно ясно различаю темную фигуру моего мошника. И где же? Мошник примостился у самого ствола дерева. Очертание его выделяется теперь, как гравированное, на светлеющем фоне занимающейся зари. При неверном предрассветном освещении оно значительно теряет в объеме, на расстоянии 40-50 шагов глухарь кажется не крупнее простого тетерева. (Кстати, такое же впечатление вынес из своего знакомства с глухарем на току и Куприн).

Остается прицелиться и выстрелить и на этот раз уж наверняка. Но, внезапно (в молодости это случается не часто) охотник уступает во мне место натуралисту. Принимая всё те же предосторожности, что и при перебежках, достаю свой полевой бинокль и навожу на продолжающего токовать мошника. Как величественно! Опустив вниз изогнутые, напряженно вздрагивающие крылья, с откинутой назад головой, подняв кверху свою могучую, взъерошенную шею, распустив великолепным веером приподнятый вверх хвост, чудесная птица медленно передвигается взад и вперед вдоль сухого горизонтального сука сосны. Как зачарованный смотрю я на глухаря, которого уже считаю своим. И ни на одно мгновение не могу отделаться от ощущения, что передо мной совершается «радение», один из пережитков вымирающего допотопного населения земли, пережитков, которые на фоне современной опошленной человеком действительности, кажутся до жути необычными. И вот судьба «сподобила» меня увидеть эту архаическую птицу во всем ее величии.

Охота кончена. А какой результат? Да — никакого. Я

даже и не стрелял. Духу не хватило. Сознаюсь было немного стыдно перед моим спутником, но он успел уже привыкнуть к моим «чудачествам» (хотя, разумеется, плохо их понимал), да и особой претензии, на этот раз, по крайней мере, иметь не мог. С голоду мы в нашей хибарке не умирали, а кроме того я знал, что раз мой спутник стрелял (а я слышал его выстрел), то без глухаря обедать не будем. Так и было.

К. Н. Давыдов

ДОМ

Дом, видишь ли, себе вообразила, —
Так, твердо — серый дом, —
В котором есть уверенная сила
Бороться с ветром и дождем.

Подняться стоит лестницей отлогой, —
Не так уж труд велик, —
Налево дверь, звони, и за порогом —
Обрадованный вскрик...

Ребенок твой бежит навстречу...
Твой долгий, долгий взор
Смотрел, смотрел весь день, весь вечер
В мои глаза в упор.

Так много было вспышек жадных!
Так много для тебя
Садов душистых и аллей прохладных
Взростила в сердце я!

Не думай, что друзья мои забыты.
Здесь всем отведено
В простор высот свеже-умытый
Распахивать окно.

И ту я приютила б, и другого.
Теням прошедших дней
Под ровным очертаньем свода
И легче, и вольней...

Эти стихи получены из Советского Союза. РЕД.

Небывший дом! Разрозненный на части.
Уплывший по волне!
О, почему земное счастье
Не на земле?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Несносно мне следить за пеной бешеной,
За хищным злом,

Как будто в покушении замешана
Сама на взлом.

Но мы должны найти крупицу знания
Сквозь мрак и муть,

Мы с нею выйдем невредимыми из пламени
Когда-нибудь.

1950

МОЛЬБА

Молю,
Чтобы каждый удар
Обратился в дар!
В бархат розы —
Черная кровь
Страшной раны.
Чтоб огонь,
Истребляющий вещь,
Отлил в золото — всё,
Что пришлось ему сжечь.
Разве всё еще рано
Нам узнать,
Что всесильна любовь?

1950

СОБАКА

Ты лижешь руки, и досаден
Восторг провинциальный твой,
Восторг в подобострастном взгляде,
Счастливый визг, любовный вой.

Не страх рабыни перед плетью,
Сиянье зажигает глаз, —
Все пролетевшие столетья,
Что ты оберегала нас,

Ты никогда не уставала
В чертах владыки своего,
Прощая все его провалы,
Пламенно видеть — божество!

Любовь, которая дается
Чрезмерно просто и легко,
Еще труднее признается
Любви, мелькнувшей далеко.

Но в черный день, когда без меры
Твой повелитель изнемог,
Ты дух его поддержишь верой,
С ним разделяя даль дорог.

1952 *О. Алексина*

А. СОЛЖЕНИЦЫН, СОЦРЕАЛИЗМ И ШКОЛА РЕМИЗОВА

1

На Западе повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» пошла по пути романа Дудинцева «Не хлебом единым», романа Пастернака «Доктор Живаго» и таких политических стихов Евгения Евтушенко, как «Наследники Сталина». Вокруг повести начался «мировой шум». Ее перепечатывают по-русски, она уже вышла на иностранных языках.* О ней много пишут и говорят. Оправдано ли все это? Я думаю, — да. Это произведение заслуживает большого внимания. И не столько с точки зрения политической, сколько в смысле литературном.

Также как стихи Евтушенко, повесть Солженицына и некоторые другие произведения советской литературы, — и внутри страны и вовне — сейчас «взяты на вооружение» хрущевской пропагандой. Внутри страны «Один день Ивана Денисовича» явно выпущен против внутренних «китайцев». Этот опасный для него клапан Хрущев открыл еще на 20-м съезде партии: запугать партию и население «призраком Сталина», призраком чисток, крови, террора времен «культа лич-

---

* Здесь не обошлось и без «скверного анекдота». По-французски повесть Солженицына должна выйти с предисловием Пьера Дэкса. Того самого, который в 1950 году на одном процессе в Париже — как пишет Морис Надо в «Экспресс», — выступал, утверждая, что в Советском Союзе никаких концлагерей нет, а есть трудовые колонии для уголовных, являющиеся гордостью страны социализма. По горькой иронии судьбы Александр Солженицын как раз в это время (как и миллионы других заключенных) отбывал в концлагере свой срок в восемь лет. Теперь Дэкс пишет предисловие к его повести о концлагере. Об этом бесстыдстве не стоило бы упоминать, если бы оно не было характерным для множества «прогрессивных» интеллектуалов на Западе, идущих в фарватере компартии.

ности». И (наряду со многим другим) Хрущев пугает и «Одним днем Ивана Денисовича». Вовне же эта, якобы, «разоблачительная» повесть по заданию пропаганды, вероятно, должна показать либерализм Хрущева: поддерживайте его, а то придут консерваторы-сталинцы. И западные попутчики трактуют повесть Солженицына в нужном Хрущеву направлении. При чем «установка» дана уже главным редактором «Нового Мира» А. Твардовским в его предисловии к «Одному дню Ивана Денисовича»: «эта суровая повесть — пишет Твардовский — еще один пример того, что нет таких участков (?!) или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника». Какой либерализм! Так, «Один день Ивана Денисовича» и вошел в генеральную линию пропаганды Хрущева, вместе с стихами Евтушенко о мавзолее Сталина и прочем. Все это — в плане партийных директив «на данном этапе развития», что официально и подтверждает статья В. Кожевникова в журнале «Коммунист» (№ 17). Кожевников пишет, что характерная черта советской молодой литературы, это «активное утверждение того нового, что внесли в нашу жизнь XX и XXII съезды КПСС, в том числе решительное разоблачение всех и всяческих последствий культа личности».

А «Известия» даже назвали Солженицына «подлинным помощником партии в святом и необходимом деле».

Утверждается, что эта повесть разоблачительная. Но для кого? И что она разоблачает? Для нас, людей Запада (есть и русские люди Запада) она не разоблачает решительно ничего. Правду о принудительном рабском труде и о концлагерях люди Запада знают уже несколько десятилетий. Книг, **действительно разоблачивших** эту правду, в зарубежной русской литературе много. И среди них были замечательные. Отмечу Ю. Марголина «Путешествие в страну зека». И. Солоневича «Россия в концлагере». Г. Андреева «Трудные дороги», Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки». Были и другие ценные воспоминания о советских концлагерях: Безсонова, Никонова-Смородина, Чернавиных, Бойкова, Розанова, Ширяева, Петруся. На иностранных языках — Иосифа Чапского, Герлинга, В. Петрова, Бубер-Нейман, Сурена Санинян и многие другие.* Говорила о концлагерях и нашумев-

* В Израиле только что вышла книга бывшего видного коммуниста Иосифа Бергера «Свет в полночь». Автор провел 20 лет в советских концлагерях. Судя по отзывам печати, эта книга — потрясающая в смысле разоблачения коммунистических зверств.

шая на весь мир книга Виктора Кравченко «Я выбрал свободу». Я не даю сейчас список концлагерной литературы. Я только хочу указать, что о массовых убийствах в концлагерях и о рабском труде давно известно на Западе и в этом смысле повесть Солженицына чрезвычайное запоздание. Правда, когда при Сталине на Западе советские концлагеря были разоблачены, Хрущев и другие утверждали, что все это «брехня буржуазной печати». Теперь, опубликованием повести Солженицына, Хрущев берет эти утверждения назад. Он соглашается с тем, что концлагеря **были.** Но ведь они **и есть!** Да еще как есть! Только еще сильнее засекречены! Где как не в концлагере в Потьме отбывает сейчас свой срок больная Ольга Ивинская? И сколько таких, как она, томятся в теперешних концлагерях? Сотни тысяч? миллион? миллионы? Хрущев об этом молчит. И западный, «прогрессивный» интеллектуал, вероятно, скажет, что вопросы об этом задавать Хрущеву бестактно.

Но если людям Запада повесть Солженицына тематически ничего нового не дает, то появление ее в Советском Союзе, это совсем другое дело. Там, конечно, она сыграет свою роль потому, что в СССР до сих пор никакой правды о концлагерях не печаталось. В предисловии к этой повести А. Твардовский правильно отмечает: «жизненный материал, положенный в основу повести, необычен в советской литературе». Да. За последние годы были кое-какие испуганные намеки и неясные бормотания на эту тему. Но сейчас есть подлинное художественное произведение — о зека, о концлагерях. Для населения СССР в этом большое значение повести Солженицына: железный занавес над концлагерями официально приподнят. И повесть будет способствовать накоплению подспудного взрывчатого вещества в душах людей. И именно поэтому пропагандистам и журналистам Твардовский сразу же дает «линию» для объяснений появления столь странного произведения. Непонятливым людям, оказывается, надо объяснить, что «горечь и боль» от этой повести, — говорит Твардовский, — «ничего общего не имеют с чувством безнадежной угнетенности». И вправду, отчего же тут угнетаться? Наоборот, повесть о массовой гибели людей, по Твардовскому, оказывается, «укрепляет чувства мужественные и высокие». Партия стало-быть, дает разрешение: угнетайтесь, граждане, но чтобы не очень.

2

Перейдем теперь к чисто литературному разбору повести. Может быть многие со мной не согласятся. Но мне кажется, что эта повесть заставляет всякого прийти к большим и неожиданным выводам. И самый неожиданный из них тот, что произведение рязанского учителя Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» как бы зачеркивает весь соцреализм, т. е. всю **советскую** литературу. Эта повесть не имеет с ней ничего общего. И в этом ее большое литературное (и не только литературное) значение. Повесть Солженицына, — как предвестник, как указание пути для русской литературы.

Когда я читал эту вещь, во мне все сильнее нарастало удивление. Да откуда же она родилась, вся эта повесть? Да что это такое за чудо? И как это могло произойти? Но это произошло — повесть передо мной, я держу в руках этот ультра-советский журнал, но читаю **ее.** Так думал я, с интересом читая повесть Солженицына. И происхождение ее для меня становилось все яснее. Это произведение появилось в свет, минуя **советскую** литературу, оно вышло прямо из дореволюционной литературы. Из — «серебряного века». И в этом ее сигнализирующее значение. Она, как «спутник» молниеносно прошла сквозь безвоздушное пространство сорока пяти лет советской литературопропаганды и своим появлением доказала, что когда русская проза станет опять искусством слова, она неминуемо начнется с момента, когда была задушена доктриной Ленина. А советская литература, отойдя в прошлое, будет только петитным комментарием для изучающих историю диктатуры.

Что же я разумею под **советской** прозой? Я разумею — «Разгромы», «Цементы», «Железные потоки», «Поднятые целины», «Леса», «Бури», «Хлеба», «Далеко от Москвы», «Секретаря обкома», «Как закалялась сталь» и как она не закалялась, вообще все тысячи романов и повестей, написанных с **учетом требований партии и правительства.** Т. е. с учетом тех заветов Ильича, которые уничтожили русскую литературу, как искусство, превратив ее в огазетченую литературопропаганду.

«Позиция нашей партиии по идейно-художественным вопросам известна. Она изложена в трудах В. И. Ленина, в программе КПСС и в выступлениях Н. С. Хрущева... Партия активно проводит ленинскую политику в искусстве...», —

так недавно заявил вдохновитель и покровитель искусств в Советском Союзе, теперешний идеолог Л. Ф. Ильичев.

Эту ленинскую политику мы знаем давно. Но мне все-таки хочется сейчас остановиться на одном трагическом эпизоде, происшедшем при самом ее зарождении. Больше полувека тому назад, в 1905 году в легальной петербургской «Новой жизни», в небольшой статейке «Партийная организация и партийная литература» Ленин так формулировал свои взгляды на литературу: — «Новые условия социал-демократической работы, создавшиеся в России после октябрьской революции, выдвинули на очередь вопрос о партийной литературе...Литература должна стать партийной. ...Социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип **партийной литературы,** развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме... Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать **частью** общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью партийной работы...»

Было ли это случайностью или у Валерия Брюсова был зорче глаз, но именно он тогда ответил Ленину в журнале «Весы». Брюсов писал: «'Долой писателей беспартийных!' восклицает Ленин. Следовательно беспартийность, то-есть, свобода мысли есть уже преступление. Но в нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий... Утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены никакие возражения... Итак, есть взгляды, высказывать которые воспрещено... Тех, кто отваживаются на это, надо «прогнать». В этом решении — фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда один шаг до заявления халифа Омара: «книги, содержащие то же, что Коран — лишние, содержащие иное — вредные»... Многим ли отличается новый цензурный устав, вводимый социал-демократической партией, от старого царившего у нас до последних времен... Новый строй грозит писателям-радикалам гораздо больше: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин, одиночеством... Такая свобода не может удовлетворять нас... «Коран социал-демократии» столь же чужд нам, как и «коран самодержавия»...

И поскольку вы требуете ВЕРЫ в готовые формулировки, поскольку вы считаете, что истину уже нечего искать, ибо она у вас — вы враги прогресса, вы наши враги...».

Эта перекличка Ленина с Брюсовым для русской литературы была предвестником ее гибели. Неожиданно для России Ленин победил. И Брюсов, как старый больной лев под ударом хлыста укротителя поплелся в клетку партии, чтобы стать «колесиком и винтиком». Позднее из «партийности в литературе» родился соцреализм. И на протяжении сорока пяти лет, говоря о литературе, Сталин, Жданов, Поспелов, Хрущев, Ильичев повторяют все ту же затасканную, пошлую плоско-партийную мысль Ленина, по всей своей природе чуждую искусству и убивающую его, ибо (как это ни банально) искусство к политике не имеет отношения и без свободы художника не живет.

Но казалось бы Ленин, Хрущев, Ильичев победили прочно и у Валерия Брюсова сторонников в России нет. Я говорю об открытых сторонниках, ибо тайные сторонники Брюсова в России, это — все люди подлинного искусства. Но они безмолвствуют. А вот не так давно «Известия» и «Советская Россия» выступили против подпольных литературных журналов молодежи. Это уже — открытые сторонники. И один из таких журналов «Феникс» прорвался даже на Запад. Что в нем? Оказывается, что часть советской литературной молодежи говорит об искусстве именно языком Брюсова. В «Открытом письме Евгению Евтушенко» А. Каранин пишет: «Всякое служение народу — осознанная или неосознанная ложь. Этим мерилом правильности пути поэта, его идейной чистоты, выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено!.. Поэт не должен сливаться с государственной властью. Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого прямая апологетика государственной власти, а следовательно и всех пороков, которые она в себе несет...»

И словно стихами раннего Валерия Брюсова Каранину вторит неизвестный молодой поэт:

Пускай нас мало! Мы ждем! Мы верим!
Пусть мы погибнем! Наш час настанет!

Приведу здесь одно воспоминание. Оно относится ко второй половине двадцатых годов. Я жил в Берлине. И встре-

тился там с приехавшей Лидией Сейфуллиной. Она тогда была в зените славы. В СССР вышло ее собрание сочинений. Читали ее нарасхват. Писали о ней много. На Западе ее переводили. Сейфуллина действительно была талантлива. И я думаю у нее были все данные стать в нормальное (нереволюционное) время интересной писательницей. Лидия Николаевна была человеком независимым, с умом острым и резким. И вот как-то мы разговорились о «путях» советской литературы. Мало зная Сейфуллину я все-же — очень мягко — хотел провести свою мысль о том, что настоящей литературы в советской литературе, в общем, очень мало. Сейфуллина слушала меня с недовольным лицом и это заставило меня в своих формулировках быть еще мягче. Но вдруг она не выдержала и раздраженно перебила: «Так что же вы думаете, что мы не понимаем, что мы только навоз для какой-то будущей литературы? — сказала она, — Что ж вы думаете, мы этого не понимаем!» — Признаюсь, я был поражен определенностью ее фразы. И я увидел, что живущая «там» Сейфуллина ощущает это гораздо острее, и, конечно, гораздо больнее, чем люди живущие вдали. И ту же мысль, выраженную гораздо легче и ироничнее я услышал позднее от приезжавшего в Берлин Юрия Тынянова.

Со времени разговора с Сейфуллиной прошел большой срок, без малого сорок лет. Но вот после последней войны на Запад пришла вторая, уже советская эмиграция, и среди нее писатели. И некоторые из них о советской литературе сказали то же, что в двадцатых годах сказала Сейфуллина. Поэт и беллетрист Глеб Глинка в «Новом Журнале» (кн. 35) в статье «На путях в небытие» писал: «Несомненно, что в советской литературе, начиная с периода создания Союза Писателей, не найдется такого художественного произведения, которое сам автор (оказавшись на свободе, например, перекочевав каким-либо чудом в Европу или Америку) не пожелал бы хотя бы частично выправить, переделать, либо переписать заново, освободив его от той лжи, которая неминуемо присуща в той или иной дозе каждой книге, в условиях сталинской диктатуры».И дальше: «с точки зрения самих авторов, в теперешней советской литературе нет ни одного полноценного произведения». А Н. И. Ульянов в «Новом Журнале» (кн. 36) в статье «После Бунина» писал: «Русская литература чувствует себя так, как вероятно будет чувствовать последний человек на земле, когда останется совершенно один перед лицом наступающих ледников». И о том же «пути в

небытие» и о тех же «наступивших ледниках» думал М. А. Алданов, когда в «Ульмской ночи» писал: «Советская литература элементарна до отвращения». Все эти мысли о советской литературе сжал в одно Евгений Замятин, сказавший: «Я боюсь, что будущее русской литературы, это ее прошлое». Именно эту правильную формулу и подтверждает повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Как литературное произведение она вся — из «прошлой русской литературы». Поэтому-то она и доказывает обреченность, так называемой литературы **советской.**

Совершенно естественно, что за многие десятилетия ленинской «партийности в литературе», то есть, нарочитого насильственного вливания в литературу некой политической «ильичевки», писатель утерял и язык, и стиль, и свой, одному ему присущий, взгляд на мир. Он пишет огазетченым языком, своих мыслей высказать не имеет права и должен подходить к миру «в общем и целом — с позиций марксизма-ленинизма».

«Наше искусство призвано вдохновлять народ на труд во имя коммунизма ...и без промаха разить врагов, коммунизма...», — вот, оказывается, в чем задача искусства по формулировке теперешнего идеолога при ЦК КПСС, Леонида Ильичева.

Как художник, советский писатель за эти десятилетия уничтожен. Вся советская литература пришла к элементарности, к однодумью, к одностилью, к одинаково ровному «пульсу покойника».

И вдруг в этом мире плоского однообразия рождается повесть Солженицына, по всей своей фактуре и по своему подходу к миру совершенно отличная от социалистического реализма. С кем же она смыкается? С дореволюционной прозой. И в ней не с Горьким, Буниным, Куприным, Андреевым, Зайцевым — что было бы все-таки вероятнее. Нет, Солженицын смыкается с писателями ремизовской школы. Я отношу к ней Пильняка, Замятина, Шишкова, Пришвина, Клычкова. Это он, забеглый канцелярист и изограф Ремизов (а по советской терминологии «мракобес», «упадочник», «декадент», «белогвардеец») отозвался в Александре Солженицыне. Оговорюсь сразу же: я не большой поклонник этой школы и музы Алексея Михайловича. Я не его читатель, он не мой писатель. В Ремизове я любил только его аскетически-страстную посвященность литературе. В мире для него кроме искусства слова ничего не было. И тут была его сила. Но чтоб ценить его, как ценили многие, — я не из их числа.

А потому мои мысли о ремизовской школе в Солженицыне лишены всякого личного пристрастия. В этой тематически страшной повести я бы больше хотел почувствовать, например, отзвуки Достоевского. Но их нет. Проза Солженицына какими-то неисповедимыми путями пришла к ремизовскому сказу. Думаю, что Ремизову было бы дорого прочесть эту превосходную русскую вещь, где бы он сразу почувствовал свои корни:

«А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы соскалила, как смеется над зеками...»

«Было время так та́к этого хлеба боялись, кусочка двухсотграмового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том и думай и мучайся, не подменят ли твой кусок да друг с другом спорь, иногда до драки».

«Вот этой минуты горше нет — на развод итти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь».

«В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронесть, а тут — десять. И все же на освобожденный Гопчиком конец стола поставил подносик и свежих плесков на нем нет».

«Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Теплый зяблого разве когда поймет?»

Можно удвадцатерить эти примеры совершенно ремизовского общего тона, его напева, его «наклона гласных и согласных», его конструкции фразы. И всегда, конечно, без «что», «который», «как», «которые»; очень часто с «тире», для многих непривычно разрывающим фразу; и очень часто с тяжелым словесным узлом в конце фразы, которым Ремизов (как и Солженицын) любил ее завязать. Например, так: «в коечку больничную лечь бы сейчас —и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы **потяжельше».**

Словесная ткань повести Солженицына родственна ремизовской своей любовью к словам с древним корнем и к

народному произношению многих слов, как произносили их няньки, бабки, пушкинские просвирни — потяжельше, по́пустя, вдлинь, перепозднился, наоткрыте, эстолько и пр. И еще одно сходство: Ремизов шел от сказа, поэтому и любил старинное слово, но он же необычайно любил и уродливые, а иногда пронзительные новообразования, словосокращения — ревком, ревтрибунал, губчека, наркомпрос, командарм, конармия. Все это Ремизов сразу же подхватывал в свое большое литературное хозяйство, которым прекрасно распоряжался. Недаром даже свою Обезьянью Великую Вольную палату Ремизов тутже превратил в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ, а ее членов производил из кавалеров — в полпреды. Так, полпредом всея Евразии был Петр Сувчинский. В полпреды Англии и Мексики был возведен князь Дмитрий Святополк-Мирский. И я храню, подписанную собственнохвостно царем обезьяньим Асыкой, грамоту в знак возведения в кавалеры обезвелволпала I-ой степени с васильками и назначения берлинским полпредом.

В словаре Солженицына — очень выразительный сплав архаики с ультра-советской разговорной речью, смесь сказочного с советским:

«Писать теперь, что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильгасом, латышем, больше об чем говорить, чем с домашними». — Обратите внимание на это типичное для Ремизова и его школы — «болыше **об чем** говорить».

А вся история с коврами? Эта превосходная история рассказана очень по-ремизовски. Вот она: — «Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, веселый — ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков — к р а с и л е́ й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковер на любой простыне старой, какую да-

дут, какую не жалко — а рисовать тот ковер будто бы час один, не более...

Просил он тогда жену описать — как же он будет красилéм, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, чтó на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов: один ковер «Тройка» — в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского, второй ковер — «Олень», а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не пятьдесят рублей, а тысячи стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...»

Эта передача письма жены Шухова о коврах не только уж по своему сказовому напеву, по говору, но и по всей выдумке про эти фантастические ковры — «и под персидский» и «с офицером гусарским» — на любой дрянной простыне — совершенно ремизовская. Примеров такого тона, языка, напева, образов, архаичных слов, всего сказового повествования из повести Солженицына можно было бы привести великое множество. Она вся на этом стоит. Но я дам только еще один: последний.

«Оглянулся — на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да образ у него широкий. Хмур стоит. Смефуечками он бригаду свою не жалует, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГ'а, лагерный обычай знает напрожег».

Тут и «на бригадира лицом попал», и «образ широкий», и «знает напрожег», и «смефуечки» — все это ремизовской школы и все это от ее речи.

Но писательское сродство Солженицына с школой Ремизова не может, конечно, ограничиваться только формой: языковой музыкальностью повествования. Оно, вероятно, по-настоящему органически глубоко. Солженицын — талантливый своеобычный писатель и читая его вы чувствуете насколько форма его повествования срощена со всей его писательско-человеческой сутью. Она прирождена ему, как артисту-человеку. Свою повесть — этот однодневный сказ об Иване Денисовиче — Солженицын ведет путем подробностей, сгущения их, их наростания. И рассказ не идет по большой (скажем, толстовской) магистрали, нет он идет, так сказать, по периферии. Это близко к тому, что многие называют орнамен-

тальной прозой. И этим повесть Солженицына схожа не с прозой русских классиков-реалистов, а с прозой опять-таки «серебряного века», с прозой русских символистов. Сгущением подробностей, их нанизыванием, нагнетением Солженицын достигает нужной ему большой изобразительности. У него нет, например, даже «классического» описания наружности своего героя. Неизвестно, собственно, каков же он на вид, этот Шухов, как он «выглядит». Но вместо такого описания есть подробность — Шухов почти все зубы в концлагере от цынги потерял, больше половины, он беззубый и когда говорит, пришепетывает. И вот этого Шухова по этому пришепетыванию вы видите. Солженицын не говорит нам подробно не только уж о его биографии, но и о характере Шухова. Нет. Но вот каким приемом он превосходно показывает всего Шухова. В своей концлагерной бригаде номер 104 Шухов работает, они выводят стену и в этом сгущенном описании кладки стены, вы вдруг видите весь характер этого живого русского безответного работяги Шухова. Из кладки шлакблока, из вывода стены вырастает характер человека. При чем процесс этой работы Шухова дан тоже, конечно, совсем не натуралистически, т. е. не соцреалистически, а тоже в стиле ремизовской школы: — «Шлёп раствор! Шлёп шлакблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакблок. Раствор. Шлакблок». В приемах изобразительности у прозаика Солженицына нет ничего общего с огазетченым многословием (так часто и пустословием!) пресловутого соцреализма. Вот, например, как чудесно Солженицын рисует двух заключенных эстонцев: — «два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, поочереди, курили половину сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало». — Обратите внимание на этот «синий воздух». Такой живописный портрет двух эстонцев — «оба белые, оба длинные...» — уж никак не похож ни на какую живопись соцреализма, а скорее на портреты Модильяни иль Шагала.

Говоря об общем родстве прозы Солженицына с прозой ремизовской школы, хочется отметить даже такие мелочи. Например, выдумку интересно-закрученных имен и фамилий: Шкуропатенко, синеаст Цезарь, мальчик Гопчик, Волковой. Все это аксессуары опять-таки не соцреализма, а прозаиков-символистов. И еще мелочь — ударения в словах. В своей

прозе Ремизов придавал такое значение удареньям, что бывало по несколько раз писал нам в редакцию в Нью Иорк из Парижа: чтобы, ради Бога, не забыли «проставить ударенья». И Солженицын столь же бережно относясь к музыке русского языка, постоянно проставляет ударенья: издаля́ по́пустя. Вообще бережность к языку в этой повести — удивительная. И эта любовь к **хорошему** русскому языку опять-таки совершенно отрывает повесть Солженицына от газетно-обезличенного языка соцреалистической литературопропаганды, которая часто впадает и в «советский жаргон». Видно, современный язык режет душу Александра Солженицына, если он так говорит о теперешних москвичах: — «Они, москвичи, друг друга издаля́ чуют, как собаки. И сойдясь... лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их — все равно как латышей иль румын».

У всякого настоящего писателя-художника в словарном хозяйстве всегда свой любимый подбор слов, ему более близких и дорогих. У Достоевского свой. У Бунина свой. У Ремизова свой. И у молодого Солженицына есть свой, очень схожий с ремизовским: изголится, спотычливо, гвоздить, быстрометчив, снарошки, каб, не знато, терпельник, ежедён, недобычник, обвыкать, перекособоченный, укрывище, дохрястывают, бедолага, мелочкий, чужевался и пр. И все это не из словаря Даля, нет, это из собственного авторского словаря, что вы явно чувствуете.

3

Казалось бы странным, что творчески чистая, искренняя повесть Солженицына, написанная без всякой «партийности в литературе», тем не менее «взята на вооружение» хрущевской пропагандой. Думаю все-таки, что при внимательном рассмотрении тут ничего особенно странного нет. В журнале «Коммунист» В. Кожевников это объясняет так: «Повесть А. Солженицына, — говорит он, — глубоко и правдиво раскрывает произвол и беззакония периода культа личности. Она выражает гуманизм нашего времени, знаменует восстановление ленинских норм жизни в нашей стране». Вот вам и хрущевская интерпретация. Точно также разъясняет суть этой повести и А. Твардовский: — «В этой повести нет нарочитого нагнетения ужасных фактов жестокости и произвола, явившихся следствием нарушения советской законности». Но го-

раздо лучше об этой повести сказал Л. Ильичев, в своем обращении к молодым писателям, художникам, композиторам, работникам кино и театра. Он сказал: — «В повести, как известно, речь идет о горьких вещах, но она написана не с упаднических позиций. Такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку и партия их поддерживает». Здесь, как вы видите, партия вовсе и **не осуждает** концлагеря, как таковые. «Так было — так будет».

И я думаю, что сейчас повесть Солженицына не только не страшна партии и правительству, напротив, до поры до времени она им даже удобна. Она искренняя, талантливая, она о страшном, все это так, но дело-то в том, что она удобна потому, что она **не о человеке.** Она не об отдельном человеке с его страданиями под тоталитарной диктатурой, как у Пастернака — Юрий Живаго, плохо поддающийся «интерпретации» КПСС. Партия может смело «взять на вооружение» повесть Солженицына именно потому, что она не о личности, а о неком «массовике». Ведь Шухов это вовсе не строптивая личность, это вовсе не потрясатель основ, вовсе не мыслящий тростник, возжелавший пуще всего по своей по глупой волюшке пожить. Нет, Шухов это другая, старая и довольно страшная русская тема: — «эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа — изнуренный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Вот она вечная горькая русская тема в ее новом «марксистском» варьянте, воплощенная в «Одном дне Ивана Денисовича». Шухов это тема отчаянного всенародного бедствия, но этот народ даже не ропщет, он ушел в себя, в такую глубь себя, так зарылся туда, что ничего и не разглядишь в нем. Как будто и есть у него какой-то Бог, какая-то своя религия, а может-быть и нет ее вовсе. Но если и есть, то эта своя религия очень темна, очень глуха и очень глубоко загнана внутрь, где она и светит убогим светильником только ему одному, самому Шухову.

«— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а? — (говорит Шухову молодой зека, баптист Алешка).

Покосился Шухов на Алешку. Глаза как свечки две теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или ‘в жалобе отказать’».

(Но Алешка не сдается).

«— Вот потому, Иван Денисович, что молитесь вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим.. Молитва должна быть неотступна! А если будете веру иметь и скажете этой горе — перейди! — перейдет.

Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул.

— Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться и гор-то самих я не видел. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна перешла?

Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем в круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мера.

— А мы об этом не молились, Денисыч... Молиться надо о духовном, чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал.

— Алеша, — отвел он руку его, надымив баптисту в лицо. — Я же не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лег Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтобы кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алешка лопочет.

— В общем, — решил он — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так **от звонка до звонка** и досидишь».

Вот она — философия Шухова. И когда почти-доходяга, этот человек-тень работает в своей бригаде № 104 — выводит стену — и вся бригада торопится закончить стену к обеду, Шухов даже загорается неким «пафосом работы». О, нет, это, конечно совсем не «пафос строительства коммунизма». Даже Ильичев и Кожевников этот пафос так не комментируют. Нет, Шухов загорается подъемом общей, мирской, соборной работы всем миром. Кто ж он, этот добрый, безответный, беззубый от цынги, шепелявый Шухов? Его предки давно бытуют в русской литературе — у Толстого, Некрасова, Тургенева, Григоровича, Никитина: — «рад он жить — непрочь в могилку — русский мужичек». Шухов, пожалуй, даже немного Платон Каратаев. Новый Каратаев с душой раздавленной и обезображенной революцией. О Шуховых Солженицын вскользь бросает очень характерное: — «Там, за столом, еще ложку не окунумши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичек. А русские — и какой рукой креститься-

ся забыли». Обезображен Шухов тем, что чувства и мысли его придавлены немыслимой тяжестью тоталитарного государства. «Не считая сна лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Но это не только ведь лагерник так живет, это много и много шире. И стал Шухов подспуден, подполен. Но на Шухове и Шуховых партии и правительству сидеть очень удобно: Шухов не восстанет — где там! — он не опасен лет на сто, а кто знает, может, и на все триста? «Что Шухов ест восемь лет, девятый? — пишет Солженицын, — Ничего. А ворочает? Хо-хо!» А если еще его в концлагере подкормить, да дисциплину слегка спустить... хотя кто-знает, может быть «подкормить-то» как раз и опасней будет. Но Шухов и так, на голодное брюхо работает. Сорок пять лет тянут без подкорму, потянут и дальше, — вероятно так, думает «сын народа», первый секретарь и председатель совета министров. И повесть Солженицына выпущена в свет. И власть имущим ее нечего бояться. Напротив, она в какой-то мере утверждает их власть.

4

Прочтя «Один день Ивана Денисовича», невольно задумываешься над судьбой самого Солженицына. Прежде всего: кто он? Некоторые недоверчивые люди этимологически разбирая странную фамилию — «солже — ниц» (то-есть, не солгу ничего) — говорят: какая подходящая к произведению фамилия, а не многозначительный ли это псевдоним? А если псевдоним, то может-быть какого-нибудь репрессированного писателя? Конечно, всё это легенды, порождаемые железным занавесом.

Мы теперь знаем, что Александр Исаевич Солженицын — преподаватель физики в Рязани. Человек он тяжело больной, замкнутый, каждую свободную минуту пишет, работает. С репортерами разговаривать не хочет. На вопросы одного из них, ответил: — «Обо всем этом вы узнаете после моих похорон».

Всякому, кому дорога русская литература, дорога и судьба писателя Александра Солженицына. Но тут у каждого встает вопрос: ну, повесть хороша, а что же дальше? Даст ли этот писатель что-нибудь еще? И что? Как сложится его судьба при таком близком сожительстве с соцреализмом?

Когда по лозунгу Мао Цзе-дуна «пусть расцветают все цветы», цветы эти сдуру действительно попробовали раскрыться, китайские чекисты их срезали. То же может повто-

риться и у Хрущева. Последние выступления Л. Ильичева показывают на какой короткой веревочке держит сейчас писателей КПСС. Несмотря на всё вранье о либерализме в искусстве, судьбы советских писателей попрежнему зависят не от писателей, а полностью от партии-заказчика, партии-издателя, партии-судьи, парти-тюремщика, и наконец, партии-палача. Всё идет по статейке Ленина: «литературное дело должно стать частью единого механизма, приводимого в движение сознательным авангардом рабочего класса». Сейчас авангард представлен Хрущевым.

По воле партии Солженицын молниеносно стал известен всей читающей России. Даже — всему миру. Но для него это только удачное стечение обстоятельств. А будет ли оно сопутствовать ему в дальнейшем? Этого никто не предскажет. Даже авангард рабочего класса не знает этого. Был Владимир Дудинцев. Талантлив. И тоже искренен. Дал прекрасную «Новогоднюю сказку», которая не понравилась партии. И вот он почему-то молчит. Болен? Умер? Нет — жив. Но почему же он не «врет с либерализмом» так, как врут сейчас многочисленные поэты и прозаики, которых хвалит Ильичев.

Солженицын невольно теперь встал на классическом распутье. Пойдешь направо, будешь выполнять задания партии, свалишься в яму соцреализма и исчезнешь, как писатель. Пойдешь налево — по дороге искусства, но второй раз может и не повезти в смысле стечения обстоятельств. А за спиной — восемь лет концлагеря. Что они сделали с человеком? Закалили? Сломали? Судя по повести, как будто, закалили. Это, говорят, очень редко, но всё-же бывает. В повести Солженицына есть такой диалог об искусстве, о фильме «Иоанн Грозный» Сергея Эйзенштейна:

«— Но какую трактовку **пропустили бы** иначе?

— Ах, **пропустили бы?** Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов».

Исторически это может-быть не совсем верно. Но сказано мужественно и ответственно.

Даст ли Солженицын что-нибудь большое? Хотелось бы верить, да с трудом верится. Климат в Советском Союзе для писателей трудный.

Роман Гуль

МЕЛОДИЯ

Звенит, звенит мелодия одна,
Как жалоба и как мольба она.

Звенит, томит, витает надо мной
И слова ищет в тишине ночной.

И разрешенья грусти не найдя,
Уходит в ночь и плачет, уходя...

*

Весь этот мир еще сегодня твой:
Дела и мысли, теплое дыханье
И черной ветки мерзлой, неживой
В метельном небе слабое качанье.

Проходишь ты рассеянно, спеша,
Не всматриваясь долгим, нежным взглядом.
Душа пуста, слепа твоя душа,
Ты даже счастья не заметишь рядом.

Но если завтра очередь твоя,
И все и навсегда невозвратимо?
— С какой любовной болью вспомню я
О незамеченном, прошедшем мимо!

*

За днями дни — безрадостный покой,
Души ненарушимое молчанье,
И черной ветки, ветки неживой
Над фонарем беззвучное качанье.

Не сказаны ли мною все слова?
Но нет еще единственного слова,
Последнего, скрепляющего шва,
Чтоб я могла почувствовать: готова.

Готова к выходу из тесных стен,
Где все окончено непоправимо.
. . . . . .
Последняя из всех моих измен,
Измена жизни — неосуществима.

*

Если бы он ожил и пришел ко мне,
Пусть хотя бы ночью, призраком, во сне,

Стоя на пороге, издали сказал:
— Знаешь, я не умер, просто я устал.

Я устал от жизни — каждый день в борьбе —
И от длинных писем, что писал тебе,

И от резких красок — слишком ярок юг,
И от детских сказок, слишком нежный друг.

А теперь свободен стал я от всего.
В ледяных просторах вечно Рождество,

Нежный шорох снега, льдов прозрачный звон,
Ветер, звон и звезды, вечный звездный сон...

Если бы он ожил и сказал мне так,
Светом бы истаял, светом стал бы мрак.

Ты живешь на свете, ты живешь во мне,
Пусть хотя бы ночью, призраком, во сне.

Вера Булич

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕВРЕИ

Русская классическая литература пользуется заслуженной мировою славою гуманистической литературы, проникнутой любовью и состраданием ко всем униженным и оскорбленным, к «бедным людям». Величайший русский поэт гордился тем, что он «милость к падшим призывал» и своею лирою пробуждал «чувства добрые». Народный певец России горячо призывал: «иди к униженным, иди к обиженным», «где трудно дышется, где горе слышится, будь первый там». И русская художественная литература в лице ее лучших представителей была верна завету Некрасова.

Но вот в России жили миллионы людей, которые наряду и сверх общих российских унижений и обид испытывали еще и свои дополнительные, только на них распространяющиеся. Мы говорим об евреях. Тут все были и униженные и обиженные, за ничтожными исключениями тут все были «бедные люди». А в духоте и тесноте черты оседлости, неприкосновенно дожившей до революции, особенно трудно дышалось.

Казалось бы, русская художественная литература, так глубоко проникнутая гуманизмом, никак не могла пройти мимо и не отразить жизнь этих людей. На деле же русская художественная литература прошла в общем мимо еврейского народа и не создала не только большого художественного произведения, но даже ни одного яркого типа еврея.

В этом отношении русская художественная литература сильно отстает от художественной литературы Запада. Несмотря на то, что в Западной Европе евреев было несравненно меньше, чем в России, и там они уже давно не подвергались преследованиям и ограничениям, несмотря на то, что они там пользовались несравненно большим благосостоянием и многие из них играли крупную роль в хозяйственной и политической жизни, основная же масса не знала нищеты и убогости жизни русских евреев, несмотря на все это, в художественной литературе Запада мы находим яркие художественные полотна, отражающие жизнь евреев и, как

мы знаем, не мало произведений, проникнутых горячей симпатией к евреям.

У русских классиков мы либо совсем не встречаем еврейских типов или, если встречаем, то это мимолетно зарисованные персонажи комические, а чаще отталкивающие.

У Пушкина в «Скупом Рыцаре», в «Черной шали» и в других произведениях мелькают фигуры евреев. В «Черной шали» это «презренный еврей», который доносит об измене прекрасной гречанки и получает за это злато и проклятие. В «Скупом Рыцаре» «жид» оказывается, конечно, ростовщиком, предлагающим благородному, но бедному рыцарю отравить отца, чтобы завладеть его богатством. «Как? Отравить отца... Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя повешу...» А ведь Пушкин живал в Одессе и в Бессарабии, мог видеть нищету, бесправие и притеснения евреев. В его Дон Жуанском списке есть и прекрасная еврейка. Но преследуемая и нищая еврейская масса не останавливала его художественное внимание и не будила у его лиры «чувства добрые».

То же самое и у Лермонтова. И у него еврейские персонажи лишь мелькают, преимущественно в излюбленной им роли шпиона. В драме «Маскарад» Шприх характеризуется, как человек, у которого улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Занимается, конечно, ростовщичеством. И Казаринов о нем говорит: «вернее всего, что жид».

Из русских классиков наибольшее внимание уделил евреям Гоголь. Но какое внимание? Если у него появляются на фоне рыцарственных казаков евреи, то неизменно в роли ростовщиков, шпионов, мелких посредников. В «Тарасе Бульбе» наряду с сильными, стильными фигурами доблестных казаков еще резче выделяется презренный жалкий «жид Янкель». И даже погромные действа казаков, убивавших и мучивших евреев, рисуются в эпическом тоне и весело рассказывается, как смешно дрыгал ногами еврей, которого вешали казаки.

Тургенев в рассказе «Жид» выводит жалкого еврея-шпиона, торгующего всем чем угодно вплоть до чести своей красавицы-дочери. И тут же рядом благороднейший русский офицер и честнейший человек долга немецкий командир. Правда, в рассказе «Конец Чертопханова» в «Записках охотника» выводится хотя и жалкий тип, но честного еврея Лейбы оказывающего бескорыстные услуги Чертопханову, который за это воздает ему по заслугам, говоря: «Ты хоть и еврей и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной хри-

стианской». Так что, к удивлению, он оказался честным, несмотря на то, что он еврей и что вера у него «поганая».

И даже Некрасов, этот великий поэт всех униженных и обиженных, если говорит о евреях, то это непременно ростовщики, спекулянты, грязные дельцы. Награбив в России полууголовными или чисто уголовными делами миллионы, они бегут с ними в Америку. «Ви на корабль под крило к насей финансовой матери. Денежный добрый товар. Ви поселяйтесь на жительство, где не достанет правительство. И поживайте как царь». Горячий ценитель Некрасова и лучший его знаток, К. Чуковский, приводя эти и другие некрасовские строки о евреях, говорит, что от этих «балаганных куплетов» коробит.

Достоевский-художник, в отличие от Достоевского-публициста, очень мало говорит о евреях. В «Бесах», в которых видят гениальное художественное проникновение в изображение бесов, губящих Россию, и прогноз большевизма, все персонажи чисто русские. Фигурирует лишь один еврей в лице мелкого плута Лямшина, играющего второстепенную, чисто комическую роль. Заметим при этом, что этот еврей умудряется жить вне черты оседлости и занимать пост почтового чиновника. Характерно отметить, что Достоевский, которому приписывают никогда им не сказанные слова о том, что евреи погубят Россию, ни в беллетристических, ни в публицистических статьях никогда не говорит о разрушительной революционной роли евреев. Революционерами у него являются чисто русские люди.

В «Записках из Мертвого Дома» Достоевский рисует своего товарища по каторге, некоего еврея Исая Фомича Баумштейна. Конечно, он оказывается жадным человеком, который, едва попав в тюрьму, тотчас раскидывает ростовщические сети, в которые и ловит арестантов, получая с них чудовищные проценты. Казалось бы Достоевский должен был брезгливо запечатлеть этот жалкий и отталкивающий тип и забыть о нем. Но Достоевский уделяет ему целую главу и в ней звучит какое-то благодушие и любопытство. Чем же объясняется это странное явление? Мы не находим иного объяснения, как то, что Достоевский, невольно изо дня в день живя рядом с этим жалким евреем, слыша его страстные, исступленные молитвы, когда он забывал всех и все, заметил, что евреи состоят не только из ростовщиков (ростовщичество им заранее присваивают, как неотъемлемую национальную черту), но и из души, в которой мощно звучат услышанные Достоев-

ским бессмертные библейские мотивы. Если крикливость молившегося Баумштейна, эти странные и непонятные шишки, которые, молясь, он надевал, первое время только смешили Достоевского, то постепенно к ним прислушиваясь и приглядываясь, он начинает улавливать мотивы и пафос Библии, книги, которая ему всегда была так близка и дорога. Сквозь жалкую фигуру еврея-ростовщика, которого в своих публицистических статьях Достоевский порою готов был выставлять как сокровенную сущность еврея, ему начал просвечивать еврей, как носитель древнего иудейства с его пророками, с его многострадальным Иовом, который вступил в борьбу с самим Богом, и эти библейские мотивы стали ему казаться живыми и звучащими в этом Баумштейне.

Чтобы понять позицию Достоевского в еврейском вопросе, надо иметь в виду другого Достоевского — того, который писал националистические статьи, ненавидел католиков, презирал протестантов, радовался разгрому Франции Германией и презрительно третировал «полячишек». Дело тут не в отрицательном или положительном отношении Достоевского к евреям. Но можно было ожидать от такого проникновенного гения, как Достоевский, что он скажет по этому вопросу свое отрицательное или положительное, но во всяком случае глубокое и оригинальное слово. На самом же деле перед нами довольно путанные и противоречивые и не всегда искренние рассуждения, лишь порою озаренные замечаниями, заставляющими призадуматься. Объясняется этот разительный разрыв между широким религиозно-философским размахом Достоевского и слабостью его публицистического удара по евреям, его неудержимою тягою к руссификации вселенчества. Когда вспыхнула в России война, Достоевский совершенно забыл о своих великих волнующих идеях, учивших, что на слезинке одного ребенка, на страдании человека нельзя строить благоденствие мира, что страданиями одного человека нельзя жертвовать ради достижения какой бы то ни было цели. Пришла война, задевшая интересы России, и тотчас же оказалось, что в интересах России надо пожертвовать всем. И Достоевский принимается запальчиво доказывать, что благословенно будет самое широкое пролитие крови, если только оно принесет победу России и что вообще война благодетельна, ибо несет человечеству обновление.

Достоевский не раз возвращался по тому или иному поводу к еврейскому вопросу. Он не раз отмечал, что в еврействе есть нерастворимая и неустранимая национальная про-

топлазма. Подвести итоги, точно сформулировать воззрения Достоевского по еврейскому вопросу, представляется делом очень трудным, так как у этого глубочайшего мыслителя мы встречаем по еврейскому вопросу какое-то раздвоение зрения. Он то подходит к вопросу с христианской точки зрения и заявляет о готовности заключить евреев в братские объятия и снять все вопросы неравноправия и преследования, а то вдруг эти вопросы всплывают на поверхность, сосредоточивают все его внимание на шаблонных антисемитских выступлениях о еврейских банкирах, об опасности уравнения евреев в правах с коренным населением и т. д.

Основным дефектом всех рассуждений Достоевского по еврейскому вопросу является незамечаемое им самим применение двух мер. Вы найдете в «Дневнике писателя» Достоевского много статей, негодующих по поводу того или иного деятеля судебного процесса, общественного скандала, мошенничества, эксплуатации, в которых замешаны чисто русские люди. Но при этом Достоевскому ни на минуту не приходит в голову обобщать это по отношению ко всему русскому народу или по отношению к тому классу общества, к которому они принадлежат. Но стоит ему столкнуться с каким-либо единичным преступлением еврея, и тотчас же готово обобщение о преступном характере евреев и отсюда опасность дать им равноправие. Так что своих мошенников банкиров разрешается иметь христианам без последствий для всего народа, но запрещается иметь евреям. Они все должны быть добродетельны.

С подобным же явлением мы встречаемся у Достоевского, когда он постоянно выдвигает козырный у него довод о том, что евреи, охраняя свое национальное лицо, свою особенность, этим представляют государство в государстве, и с этим явлением русское правительство не может мириться. Но когда где-нибудь в Турции или в Австрии или ином месте славянские племена оказывают стойкое, мужественное сопротивление денационализации, несгибаемую стойкость в защите своего национального лица, своих национальных обычаев, то Достоевский их горячо приветствует, благословляет и считает их дело правым, их борьбу геройской. Но когда евреи в России, подвергаясь гонениям и преследованиям, сжимались в тесноте и обиде «черты оседлости» и тихо охраняли свое национальное лицо, то Достоевский находил это недопустимым образованием государства в государстве. Не говорим уже о том, какою насмешкою звучат эти слова о государстве

в государстве, когда евреев согнали в черту оседлости и лишили их права передвижения, выбора профессии, учения, государственной службы.

Этими противоречиями переполнены статьи Достоевского по еврейскому вопросу, статьи публицистического характера. Я подчеркиваю слово «публицистического», так как в беллетристических произведениях Достоевского хотя и нет никаких рассуждений по еврейскому вопросу, но в них в скрытой форме Достоевский ставит вопросы, затрагивающие самую глубину иудаизма и показывающие, что эти вопросы не переставали волновать Достоевского. В «Братьях Карамазовых» мы не находим никаких рассуждений по еврейскому вопросу. Разве только совершенно неожиданно собеседница задает Алеше Карамазову вопрос: «Правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут?» А Алеша загадочно уклоняется от ответа.

Но если мы в «Братьях Карамазовых» не находим рассуждений по еврейскому вопросу, то мысли самого Ивана Карамазова (а его устами говорит Достоевский) поднимают самые глубокие вопросы иудаизма в их расхождении с христианством. Мотивы богоборчества, упреков Богу за неустроения счастья человека на земле, борьба с Богом за человеческую «от мира сего» справедливость, все эти идеи, столь чуждые христианству и столь близкие иудаизму, глубоко волновали Достоевского и устами Карамазова он дал им гениальное выражение.

Когда в знаменитом диалоге между Иваном и Алешей Карамазовыми Иван говорит: «Какая же гармония, если ад: я простить хочу и обняться хочу, я не хочу, чтобы страдали больше... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить как можно скорее. Это я и делаю. Не Бога я не принимаю, Алешка, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

— Это бунт, — тихо и потупившись, проговорил Алеша».

И в самом деле это был бунт против христианства, но мотивы этого бунта были близки и родственны иудаизму. И в душе самого Достоевского глухо порою звучал этот бунт.

Потрясающая трагедия многострадального Иова, его страстные обращения к Богу с упреками и требованиями, его убеждение, что Бог должен создать земное счастье человека, что Бог ответствен за человеческие страдания и несчастья, и

вообще весь разговор с Богом на земном языке и с земными требованиями, всё это идет из самой глубины иудаизма. Все это неотступно вставало в сознании Достоевского вопросами, на которые не давало ответа традиционное христианство и невольно заставляло Достоевского соприкоснуться с глубиною иудаизма.

Если реальные евреи, занимающиеся таким ненавистным для Достоевского делом, как торгашество и посредничество или банковские операции, если евреи, тонущие в черте оседлости, хватались за каждую соломинку, сулящую дать им кусок хлеба, если все это порою вызывало со стороны Достоевского жестокие слова, то основные вопросы иудаизма в их религиозном и этическом разрезе, в их библейском освещении были ему интересны и внятны, хотя бы он это и не признавал.

Характерно, что даже в тех местах своих статей, где он резко нападает на евреев, он спешит сделать оговорку, что это не касается еврейской веры и религии. И в тюрьме, как мы уже отметили, потешаясь над комической фигурой еврея ростовщика Баумштейна, он становится серьезен и внимателен, когда слышит страстные его молитвы.

Достоевский пишет о многострадальном Иове, что «не может читать эту пресвятую повесть без слез, столько в ней великого, тайного и невообразимого и невыразимого». Достоевского эта «пресвятая» повесть притягивала и волновала не только страданиями Иова, но и его «бунтом», его страстными обвинительными речами, обращенными к Богу. Эти «еврейские» богоборческие мотивы звучали в душе Достоевского.

Достоевскому общепринято приписывать фразу: «евреи погубят Россию». В. Шульгин писал по поводу большевистской революции: «И русские баре и русские мужики стали одинаково повторять на все лады слова Достоевского «жиды погубят Россию». Сомневаюсь, чтобы русские мужики цитировали Достоевского. Но главное, что Достоевский, вопреки общераспространенному мнению, никогда этих слов не говорил. Прежде всего он и не мог их сказать, он так непоколебимо и твердо верил в незакатное величие России и поэтому никак не мог говорить, что «жиды» или вообще кто бы то ни было могут погубить Россию. А затем — он просто никогда этих слов не говорил, хотя даже В. Жаботинский цитирует эти слова, как яко бы сказанные Достоевским (см. его «Фельетоны», Берлин, 1922, стр. 127).

Я внимательно читал и перечитал все, что когда-либо писал Достоевский и нигде не нашел этой фразы. Известный советский исследователь Достоевского, ознакомившийся со всеми его не только печатными произведениями, но и неопубликованными рукописями и письмами, Леонид Гроссман, пишет, что он нигде не нашел у Достоевского этой фразы. Надо поэтому считать, что эти, «как известно», сказанные слова на самом деле никогда Достоевским сказаны не были. В «Бесах» же, как я уже отметил, Достоевский, выводя тех, которые не погубят, но покушаются погубить Россию, не показывает ни одного еврея, за исключением мелкой эпизодической фигуры.

Величайший из русскиих беллетристов, Лев Толстой, по той среде, в которой он вырос и вращался и по тому кругу интересов, которые его занимали и волновали, был совершенно далек от евреев и еврейства. В своих художественных произведениях он не оставил ни одного заметного еврейского персонажа. Если ему приходилось откликаться на еврейский вопрос, то делал он это не в беллетристической, а в публицистической форме, да и то редко и мало. Но в виду того, что высказывания Толстого по еврейскому вопросу нигде не были систематизированы им, мы, несколько нарушая план этой статьи, говорящей только об отражении еврейского вопроса в русских беллетристических произведениях, остановимся и на случайных общих замечаниях, высказанных по еврейскому вопросу величайшим из русских беллетристов.

Известный русский и еврейский общественный деятель Л. М. Брамсон посетил Л. Толстого в период, когда в России высоко поднялась мутная волна антисемитизма. К сожалению, вместе с Л. Брамсоном приехал к Толстому и весьма бестактный американский общественный деятель, доктор Краузкопф, совершенно не понимавший отличия русских писательских нравов от американских. На указание Брамсона на обострившуюся травлю евреев Л. Толстой ответил: «Виновато во всем наше правительство. Оно по старому делает различие между людьми, без причин продолжает гнать одних и преследовать других, только потому, что они по разному Богу молятся. Наше правительство не в состоянии понять, что люди все равны. У них вся государственная мудрость в том, чтобы стеснять, ограничивать. Но долго так продолжаться не может». Когда Брамсон и Краузкопф выскали Толстому пожелание, как общепризнанному представи-

телю мировой совести, чтобы он высказался по поводу гонения на евреев, Толстой ответил, что и сам уже давно собирается написать книгу по еврейскому вопросу, но он всецело сейчас занят другими темами и пока не закончит их, не сумеет уделить время еврейскому вопросу. Л. Толстой поставил вопрос, чем же непосредственно он мог бы быть полезен. Тут то американский доктор и выступил со своим предложением, которое очень рассердило Толстого.

Л. Брамсон рассказывает об этом: «Краузкопф внес предложение, чтобы Толстой свое ближайшее художественное произведение — роман или повесть — посвятил евреям и выставил их в таком виде, чтобы привлечь к ним симпатии. Такая книга была бы сенсацией. Это предложение, замечает Брамсон, показалось Толстому крайне неудачным и вызвало с его стороны резкий отпор. — «Вы, американцы, сказал он, совершенно не знаете русского писателя, не знаете, под какими настроениями и во имя чего он создает свои произведения. Русскому писателю нельзя заказать роман с известной тенденцией и нельзя за деньги заставить писать о жизни и сфере, ему чуждой. Вот я всю жизнь жил среди крестьян, помещиков, дворян, военных — их жизнь и интересы мне знакомы и я могу заполнять ими свои произведения. А, например, среди евреев я никогда не жил, их жизненный обиход никогда близко не наблюдал. Я только вижу, болею, что их обижают, напрасно преследуют, но я не в силах изображать их жизнь и не в праве брать из их среды типы для будущих произведений».

Эти слова Толстого чрезвычайно ценны для объяснения не только **его** художественного отношения к еврейским персонажам, но и вообще всех русских больших писателей. Подавляющее большинство их могло бы о себе повторить слова Толстого, что им чужды идеи и интересы еврейского быта и они потому лишены возможности его художественного воплощения. Конечно, Толстой был чужд всякого антисемитизма, конечно, как он не раз высказывал, его глубоко возмущали преследования евреев, их неравноправие. Но еврейский народ, его мироощущение и мировоззрение сами по себе его мало интересовали.

Религиозная суть иудаизма, его отношение к учению о любви к ближнему, к морали вообще, его интересовали глубоко и интимно и, как мы увидим, заставили его в пожилые годы изучить еврейский язык и еврейские духовные книги.

Но еврейский вопрос в его политической и юридической постановке был далек от него.

В 1900 году Вл. Соловьев обратился к Толстому с просьбою составить текст обращения затеваемого коллективного воззвания русских писателей против травли евреев в известной части русской печати. Л. Толстой отклонил эту просьбу и просил, чтобы В. Соловьев сам составил это воззвание, а он, Толстой, заранее дает согласие под ним подписаться. «Я вперед знаю, — писал он по этому поводу В. Соловьеву, — что если Вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что Вы думаете об этом предмете, то Вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской нации одна и та же: сознание братской связи со всеми другими народами и тем более с еврейским народом, среди которого ходил Христос и который так много страдал и продолжает страдать от языческого невежества так называемых христиан».

В этих немногих сильных словах Толстой вполне определил суть своего отношения к евреям. Его точка зрения была всецело обусловлена его христианством. Для него еврейский вопрос был христианским вопросом. Но если Толстой, возмущаясь преследованиями евреев, не углублялся в вопросы правового и политического положения евреев, считая эти вопросы производными и подчиненными, то религиозная основа иудаизма, мораль, лежащая в его основе, вся таинственная судьба еврейства, его религиозная миссия, глубоко его интересовали. В 1882 г. он пишет Алексееву: «Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и выучил его почти, читаю уже и понимаю. Учит меня раввин здешний, очень хороший и умный человек. Я очень много узнал, благодаря этим занятиям».

Раввин же Соломон Минор, у которого учился Толстой, рассказывает об этом: «Ко мне пришел гр. Л. Н. Толстой. Он попросил меня рекомендовать ему кого-нибудь для обучения его еврейскому языку. Мысль изучать еврейский язык была ему навязана, навеяна ему изучением Библии. Для меня он, конечно, был не первый встречный и я сам предложил ему быть его учителем. Толстой с большим усердием принялся за работу. Толстой схватывал необыкновенно быстро. Он знает также и Талмуд. В своем бурном стремлении к истине он почти за каждым уроком расспрашивал меня о моральных воззрениях Талмуда, о толковании талмудистами библейских легенд, кроме того, черпал свои сведения из написанной на

русском языке книги «Мировоззрение талмудистов», изданной петербургским обществом для поднятия образования среди евреев. Около часа мы работали, как ученик и учитель, один раз я ездил к графу, другой раз он приходил ко мне. Через полчаса обучение превращалось в разговор. Однажды мы перешли к его пониманию существования мира любовью. 'Об этом, — сказал он, — нет ни одного слова в Библии'. Я указал ему на третий стих псалма 89-го, который я перевел ему так: 'мир существует любовью'. Он был очень удивлен таким переводом известного места».

Сын раввина Минора вспоминает, с каким удивлением отец рассказал ему об успехах Толстого в изучении древне-еврейского языка и еврейских священных книг. Уже после немногих уроков Толстой настолько хорошо читал и понимал прочитанное и с такою проницательностью вдумывался в смысл текста, что иногда в споре с ним ученый московский раввин должен был согласиться с правильностью толкования своего гениального ученика.

Софья Андреевна, так часто принимавшая за пустое чудачество и каприз то, что задевало глубину души мужа, и на этот раз с огорчением и раздражением писала своей сестре: «Левочка учится по-еврейски читать и меня это очень огорчает, тратит силы на пустяки».

Но для Толстого изучение еврейских священных книг было не пустяками, а стремлением подняться к историческим истокам христианства, к его еврейской колыбели. Еврейский вопрос он рассматривал не с политической и правовой точки зрения, а с вершины вечных религиозных и моральных вопросов. Поэтому он при всем глубоком возмущении преследованием евреев все же не уделял большого внимания вопросам правового и политического положения евреев, считая, что вопросы эти подчинены непререкаемым категорическим требованиям христианства. Но когда антисемиты приставали к нему с этими вопросами, он давал им сухой и категорический ответ. Так, когда А. Суворин, как он сам рассказывает в своем «Дневнике», обратился с вопросом, правда ли, что Толстой возмущен антисемитскими статьями «Нового Времени» в защиту черты оседлости, Толстой сухо ответил: «Право жить где угодно должно быть неотъемлемо у всякого человека». «Я указал ему, — рассказывает далее Суворин, — на Соединенные Штаты, которые не принимают (?) евреев, Л. Толстой резко оборвал этот разговор, сказав: «Тем хуже». Когда в русской правой печати разбушевалась волна анти-

семитизма и для противодействия ей приступлено было к изданию специального альманаха, посвященного евреям, Л. Толстой дает туда свой рассказ «После бала». С. Дубнов рассказывает в своих воспоминаниях, что когда в одной газете появилась заметка об отрицательном отношении Толстого к евреям, Дубнов привел выписки из книги Толстого «В чем моя вера», доказывающие, что он всегда подходил к еврейскому вопросу с морально-христианской точки зрения. Л. Толстой полностью подтвердил правильность такого толкования его взглядов. И в «Хронике Восхода» появилось заявление Толстого, что он не может понять, как мыслящие люди могут быть юдофобами.

Но все такого рода высказывания по еврейскому вопросу не характерны для Толстого. Конечно, антисемитизм был ему совершенно чужд, но он смотрел на еврейский вопрос поверх текущего момента. Для него самого вопрос этот был безаппеляционно решен в высшей инстанции, не терпящей никаких политических обжалований — в христианстве.

Сатирический бич Щедрина не пожалел и евреев. Не как евреев собственно, а как еврейскую разновидность тех классов, групп, типов, которых обличала его беспощадная сатира. Но у евреев особенно обостренная и обнаженная чувствительность, и когда сатира Щедрина била по еврейским спекулянтам, гешефтмахерам, в особенности прибегая при этом к их специфически национальным чертам и особенностям, больным обнаженным нервам евреев казалось, что великий русский сатирик издевается над евреями вообще. Группа еврейских писателей даже обратилась к Щедрину с укором, что и он отдает дань антисемитизму. И Щедрин разъяснил в «Отечественных Записках», что его сатирические очерки, влагающие в уста его персонажей те или иные суждения, иногда отдающие антисемитизмом, совсем не выражают его личных мнений, и что он русских Колупаевых и Разуваевых также беспощадно бичевал, как и их еврейских собратий, но никому не приходило в голову на этом основании считать его руссофобом.

По существу же дела как раз Щедрин выступал в восьмидесятых годах против народнических писателей когда даже на страницах революционных народовольческих изданий появились пятна антисемитских выступлений.

В начале восьмидесятых годов после убийства царя по всему югу прошла кровавая волна еврейских погромов. Хотя погромы эти калечили, убивали и разоряли бесправных

еврейских бедняков, но этот суд и расправу якобы творил русский народ, «восставший против эксплуататоров»... И некоторая часть идолопоклонствующих перед народом народнических писателей усмотрела в этом как бы прелюдию к восстанию народа против капиталистов. В роли этой «капиталистической» мишени фигурировали еврейские лавочники и еврейские посредники, из которых одному нечего было продать, а другому не на что было купить. Но известная часть народнических писателей вообще недружелюбно относилась к евреям, не по антисемитским мотивам, а по народнически-социалистическим, как к народу, который не пашет и не жнет, не живет на земле трудом рук своих, а торгует посредничает и разносит капиталистическую заразу по всей патриархальной русской деревне, еще не совершившей своего капиталистического грехопадения.

Это послужило Щедрину толчком, чтобы уже не в порядке сатирическом, а как публицисту заняться еврейским вопросом.

В то время как нашлись отдельные русские революционеры, которые на страницах «Народной Воли» приветствовали еврейских погромщиков евреев, как глас народа, восставшего против «эксплуататоров», Щедрин летом 1882 года, когда прошла волна погромов, написал строки, полные скорби и сочувствия.

«История никогда не начертала, — говорит он, — на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. Нет более надрывающей сердце повести, чем повесть этого бесконечного истязания человека человеком».

На страницах «Отечественных Записок» Щедрин решительно отмежевался от тех отдельных народников, которые готовы были видеть в антиеврейских погромах пролог к революции. Не разделял Щедрин и рассуждений об евреях, как эксплуататорах мужика. Это не значит, конечно, что он отрицал существование среди евреев эксплуататорских элементов. Но, писал он, таких евреев ведь в России горсть по сравнению с русскими кулаками и русскими помещиками.

Щедрин пишет о «сосущих» евреях и жестоко их изобличает, но советует при этом не забывать и о «сосущих» русских и о не сосущих евреях. К тому же, пишет он, сосущий еврей никогда не бывает долго сыт, потому что «едва только еврей начнет порядком насасываться, сейчас же его к капитану исправнику: а ну, показывай, жид, что у тебя в

потрохах есть? Посмотрит капитан-исправник, посмотрит заседатель, много ли останется?»

И Щедрин пишет во многих отношениях замечательные строки для тех восьмидесятых годов, когда не только правительство развязывало погромы в целях подавления революции, но и находились отдельные революционеры, благословлявшие их как зарю этой самой революции.

«Когда я думаю о положении, созданном образами старой легенды, пишет Щедрин, которая преследует евреев из века в век на всяком месте, право мне кажется, что я с ума схожу. Сдается, что зияет безграничная и бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой и в этой пропасти мучится человек, у которого отняли все, даже право на смерть.

Вы скажете, может быть, театры, будуары самых дорогих кокоток кишат веселыми семитами, которые удивляют мир расточительностью и нелепою привередливостью своих вкусов и требований. Да, таких субъектов достаточно. Мы даже знаем их почти одних, но ведь это же не евреи, а просто тати, члены того международного общества, в которое каждая национальность приносит свой вклад. Однако же я убежден, что даже подобные личности имеют свои бесконечные горькие минуты. Даже во сне, находясь в постели, купленной на всемирной выставке, увидеть себя евреем, этого достаточно, чтобы заставить человека в ужасе метаться и посылать бессильные проклятия судьбе».

М. Щедрин не разделял благодушных надежд на то, что рост просвещения и образованности уничтожит всякий антисемитизм, питаемый преданиями и предрассудками.

«Уничтожить силу предания, говорит Щедрин, или ослабить ее — задача настолько запутанная, что только легкомысленные, очень простодушные люди берутся с легким сердцем за ее осуществление. Предание наслоялось и внедрялось веками и каждое новое предание прибавляло к нему новую лишнюю суровую черту. Даже поднятие общего уровня образованности едва ли принесет улучшения, потому что мы можем расчитывать только на относительное поднятие этого уровня, которое не обладает достаточною силою для борьбы. Современная Германия с ее резким антисемитским движением представляет этому вполне наглядное доказательство. Чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось, а когда это произойдет?

Ни один человек в мире, говорит далее Щедрин, не найдет в себе столько творческой силы, чтобы представить себя в положении не умирающей агонии, а еврей родился в ней. Стигматизированный он является в мир, стигматизированный агонизирует в жизни и стигматизированным же умирает. Или лучше сказать не умирает, а видит себя и по смерти бессрочно стигматизированным в лице детей и присных своих. Нет выхода из этой кипящей смолы, нет перспектив в будущем, кроме зубовного скрежета. Что бы еврей ни предпринял, он всегда останется стигматизированным. Делается христианином — он не христианин, а выкрест, останется при иудействе — он смердящий. Можно ли себе представить мучительство более безумное, более омерзительное».

Щедрин далее указывает, что русские писатели, толкующие о евреях, ничего настоящего о еврейском народе не знают.

«Что мы знаем о еврействе, пишет Щедрин, кроме концессионных безобразий и проделок евреев-арендаторов, евреев-шинкарей? Имеем ли мы хоть темное понятие о той бесчисленной массе евреев-мастеровых и евреев-мелких торговцев, которая кишит в грязи жидовских местечек и неистово плодится, несмотря на вечно присущую угрозу голодной смерти? Испуганные, доведшие свои потребности до минимума, эти люди ничего не просят, кроме забвения и безвестности, а им дают поругание».

Ценность рассуждений Щедрина по еврейскому вопросу заключается в том, что он в числе немногих русских публицистов признал, что в сущности никто из них не знает жизни широкой еврейской массы и судит о евреях по накипи из спекулянтов и гешефтмахеров. Он понял далее, что ни ассимиляция, ни равноправие сами по себе еще не гарантируют даже от возврата к средневековым гонениям и воззрениям и он при этом проницательно сослался на просвещенную Германию. Признавая все огромное значение для евреев равноправия, в особенности в такой стране, как Россия, Щедрин вместе с тем глубоко и скорбно задумался над мировой трагедией еврейского вопроса, этим равноправием не разрешаемой. И он выразил это в ярких и сильных словах, не частых в устах христиан-писателей.

Новейшая русская беллетристика хотя и не создала никаких, представляющих длительную художественную ценность еврейских типов, но все же больше стала уделять и внимания, и понимания, и сочувствия евреям. Чехов в расска-

зе «Тина» зарисовывает малоправдоподобный еврейский персонаж. Но в драме «Иванов» еврейка фигурирует, как одно из центральных действующих лиц и ее облик нарисован мягкими теплыми чертами, что не мешает тому, что в минуту раздражения ее сумасбродный муж бросает ей в лицо слова: «Замолчи, жидовка». Евг. Чириков пишет проникнутую симпатиями к евреям драму «Евреи». Вл. Короленко в ряде рассказов в чрезвычайно теплых тонах рисует быт и персонажей еврейства, хорошо ему знакомых, как уроженцу Украины. Этот писатель наиболее чутко и ярко отразил в себе тип писателя-правдоискателя и он, конечно, не мог остаться глух к еврейской трагедии. Когда начинается процесс Бейлиса, Короленко всецело отдается этому делу. Защитник Бейлиса Грузенберг так рассказывает в своих воспоминаниях «Вчера» о Короленко: «прилепился к нему (к делу Бейлиса) всем сердцем и стал моим сотрудником, вернее — вдохновителем. Это он организовал мощный протест русского общественного мнения, это его воззвание, собрав и сплотив вокруг процесса Бейлиса русских писателей, ученых, общественных деятелей, перекликнулось с заграницей. Пока шло следствие — свыше года — он горел этим делом. Никто из публики, ни один из журналистов, даже не все защитники могли с ним сравняться в аккуратном посещении судебных заседаний и в той напряженности с какой он следил за ходом дела. А когда вынесен был оправдательный приговор, Короленко, по словам Грузенберга, «радовался, как ребенок».

Из русских беллетристов нового времени с наибольшим интересом и наибольшей симпатией останавливался на евреях Максим Горький. Это было не только сочувствие к гонимому и бесправному народу, но и глубокое к нему уважение и даже чрезмерное его восхваление.

Встречавшийся близко с Горьким Я. Тейтель рассказывает в своих воспоминаниях, что Горький чрезвычайно интересовался жизнью евреев и это «как-то особенно, не слегка, не по обязанности либерального писателя, а старался понять самую жизнь евреев». Одно время Горький, подобно Л. Толстому, даже принялся за изучение древне-еврейского языка, не особенно преуспев в этом.

О. Грузенберг в своих воспоминаниях «Вчера» пишет: «Какое отношение Горького к еврейскому вопросу? По моему, самое правильное — такое же, как у Короленко, Милюкова, Михайловского — он для них не существует — евреи обездолены в правах, значит на защиту их должны встать

все порядочные люди. Помню, когда он читал в Куоккала нескольким приятелям свою новую пьесу, я обратил внимание на то место, где герой с ужасом о ком-то говорит — ведь он антисемит. Я сказал Горькому, «выбросьте это место — а то девки засмеют. Не в России попрекать антисемитизмом, вещь обыденная — артикль де С. Петербург». Горький посмотрел на меня с удивлением и не выбросил. Прав оказался я. Когда на премьере дошло до этого места, в публике пронесся почтительно сдержанный, добродушный смешок. Помню, как Горький рассказывал мне о нижегородском погроме. Прошло около 30 лет, а звук его голоса, выражение его лица живут во мне, как если бы это было вчера. Говорил он тихо, раздумчиво, вглядываясь вдаль, с усилием подавляя волнение: в звуке голоса слышались и боль и стыд».

Горьким сделана была любопытная попытка обратиться с горячим словом убеждения по еврейскому вопросу к широкой массе. Попытка эта была сделана в первые годы захвата власти большевиками. Большевики с самого начала объявили суровую войну антисемитизму. А Горький с благословения или даже по инициативе Ленина решил написать по еврейскому вопросу листовку, предназначенную для распространения в самых широких кругах населения. Яркий талант Горького, его негодование против антисемитской травли, казалось бы, должны были дать полную огня и обличения брошюру. Но получилось нечто иное. Листовка Горького, взявшая чрезвычайно высокую дифирамбическую ноту, вызвала протест прежде всего со стороны самих... евреев, высказавших опасение, что она может послужить к обострению антисемитизма. Еврейский коммунистический деятель из Евсекции, Диманштейн, прочтя листовку Горького, поморщился от ее слишком дифирамбического тона по адресу евреев. «Максим Горький, рассказывает Диманштейн, пел невероятные дифирамбы еврейскому народу, хвалил его свыше меры, так что получалось впечатление, что революция держится только на евреях, особенно на их среднем слое. Я был того мнения, что это не только не соответствует действительности, но может даже оказаться на пользу нашим врагам в их антисемитской борьбе против революции. Ленин согласился со мною лишь в том, что листовка Горького крайне неудачно формулирована и что в крестьянской стране надо порою считаться с таким позорным предрассудком, как антисемитизм».

Большой интерес, который Горький всегда обнаружи-

вал к еврейскому народу, объясняется не только его гуманизмом или его личными симпатиями, но и сильною переоценкою им роли евреев в русском революционном движении и в общей эволюции русской интеллигентской мысли. Горький, как известно, был чужд народнических настроений, владевших умами русских беллетристов и публицистов. Он был увлечен волною русского марксизма, заставившего его занять иную позицию и по отношению к русскому крестьянству и в оценке социально-экономической эволюции России, чем это делали беллетристы прежних поколений, а в связи с этим он и к евреям подходил иначе, чем народнические публицисты и беллетристы.

Но вернемся к нашему основному вопросу. Как же могло это случиться, что гуманнейшая в мире реалистическая русская беллетристика классической эпохи либо прошла совершенно мимо еврейского народа либо же уделила ему мимолетное рассеянное внимание, проникнутое часто к тому же каким то недоброжелательством?

Нет ничего легче и вместе с тем ничего неправильнее как объяснять это антисемитизмом русских писателей-классиков, как это склонен делать В. Жаботинский в своих блестящих «Фельетонах». На самом деле это явление гораздо более сложное, неразрывно связанное с обстановкой всей жизни и деятельности как русских писателей, так и всей тогдашней еврейской массы. И в неменьшей мере это объясняется и всей эволюцией русской общественной мысли.

Еврейский мир был отделен от русского народа прежде всего территориально «чертою оседлости», которая включала в себя главным образом польские, литовские, белорусские земли, где коренное русское население было сравнительно слабо представлено. Большие русские писатели за единичными исключениями были уроженцами коренных русских мест и выходцами из дворянских гнезд.

В польских и литовских поместьях русские писатели, если и встречали евреев, то это по большей части были мелкие торговцы или посредники или шинкари, которые арендовали у помещиков шинки и этим брали на себя весь одиум спаивания населения, вместе с тем заслоняя в этом отношении помещика.

Мария Башкирцева, всегда жившая заграницей, приехала погостить в имение, расположенное в «черте оседлости». Она записывает в своем «Дневнике»: (18 авг. 1876 г.) на устроенном в имении пикнике «пустили несколько ракет

и заставляли жида говорить глупости. Жид в России занимает среднее положение между обезьяной и собакой. Жиды все умеют делать и их употребляют на все».

Талантливая художница, вращавшаяся заграницей в избранном обществе артистов и художников, замечает, что «жид» в польских имениях занимал положение между собакой и обезьяной, проходит мимо этого, ничем никак на него не отзываясь, как будто она просто наткнулась в России на особую разновидность животных «между собакой и обезьяной», именуемых «жидами» и издевательство над ними ее не покоробило. И при этом достаточно прочесть ее «Дневник», чтобы убедиться, что у нее никогда и ни в чем не проявлялся антисемитизм. Мы здесь имеем случай, так сказать, махрового незнания еврейства и дикого представления, сложившегося о нем на основании тех жалких загнанных, потерявших облик человеческий евреев, которых она встретила в польских имениях. Мы знаем, что столкнувшись с подобным же явлением в отношении к крепостному крестьянству, русская беллетристика и публицистика прониклась тем более горячим и возмущенным гуманизмом и тем сильнее подняла голос в защиту униженных и оскорбленных. Почему же не случилось этого по отношению к евреям? К униженному и обиженному русскому Антону Горемыке у русского писателя было не только чувство жалости, но и глубокое уважение. Русский Антон Горемыка работал на земле, т. е. нес тот труд, который русскими писателями разного направления в течение долгого времени признавался единственным праведным трудом, он зарабатывал свой хлеб в поте лица своего, и этим праведным трудом не только кормил себя, но и все государство, позволяя тем самым представителям дворянских гнезд «погружаться в искусства, науки, предаваться мечтам и страстям». Еврейский же Антон Горемыка не только по языку, по крови, по роду был чуждым, но он еще не возбуждал социальных симпатий, а наоборот — отталкивание. Евреи, с которыми в поместьях и деревнях приходилось встречаться русским писателям классической эпохи за малыми исключениями были мелкие торговцы и посредники, а в большинстве, в те времена, — всевозможные арендаторы. Евреям тогда отдавали помещики в аренду не только кабаки, но и церкви и монастыри. Вся та прибыль, которую собирали с крестьян евреи-арендаторы кабаков, монастырей и церквей, шла в широкие карманы помещиков, евреям же оставались крохи. Но в глазах и крестьян и русских писателей фигура еврея-арен-

датора заслоняла фигуру его эксплуатировавшего помещика и в роли эксплуататора крестьянской нищеты и горя выступал еврей-арендатор, который усердно доил и пьющего и молящегося крестьянина. В народных песнях семнадцатого века «жиды-рандари» неизменно выступают в роли эксплуататоров крестьян.

Русские писатели, сталкивавшиеся с этого рода еврейскими горемыками, могли еще иногда их пожалеть, видя их нищету и забитость, но к этому чувству не примешивались чувства симпатии и уважения, как по отношению к русскому Антону Горемыке. Других же евреев, тех, которые густо населили города «черты оседлости» и жили там в страшной нищете, темноте и обиде, русские писатели почти не знали. Если мы еще прибавим к этому, что евреи в то время и сами чурались русской среды и русской культуры, то нам станет понятным, почему случилось, что русские классики-беллетристы так глубоко обидно прошли мимо еврейского горя. Слова великого Толстого, что нельзя давать художественное отображение той среды, которую не знаешь, находят тут свое полное подтверждение.

Мы видим, как сложны были причины, которые долгое время мешали и русским публицистам и русским беллетристам рассмотреть подлинный лик еврейства и как неверно сводить эти мотивы к антисемитизму. Как мы уже отметили, даже русские писатели, проникнутые глубокою симпатией к обездоленным и бесправным евреям, оставались далеки от них и от понимания этих переживаний. В этом отношении особенно знаменателен пример В. Короленко. В новой русской литературе этот писатель наиболее чутко и проникновенно воплотил гуманистическое начало, голос совести, не знающей различия между эллином и иудеем. В своих беллетристических произведениях он всегда рисовал евреев и еврейский быт ласковыми, теплыми тонами. Мы знаем, как он весь ушел в борьбу за оправдание Бейлиса. Но вот что он сам рассказывает о себе в своих «Записках современника». Уроженец Украины Короленко одно время очень увлекался украинским эпосом, ярко раскрашивающим былое боевое прошлое украинского казачества. С увлечением он читал и перечитывал поэму Шевченко «Гайдамаки», воспевавшую славные подвиги удалых казаков. «Однажды в воскресенье, рассказывает он, я залучил товарища, еврея Симху. Я угостил его чтением «Гайдамаков». Читал я на этот раз недурно, голос мой стал гибким, выразительным, глубоким. Однако, вскоре я почув-

ствовал, что живая связь между мною и слушателем оборвалась и не восстанавливается. Я взглянул на симпатичное лицо моего приятеля и понял: я читал *еврею* (курсив Короленко), а там герой шевченковской поэмы Галайда кричал в Лисянке — «давайте ляха, давайте жида, мало мне, мало», и гайдамаки «точат кровь жидовочек в воду» и т. д.».

Было бы смешно и просто глупо говорить об антисемитизме Короленко. Не в антисемитизме тут дело, а в том, что все прошлое, все происхождение, все ассоциации двух приятелей — русского Короленко и еврея Симхи — были совершенно разны. Воспевая подвиги родных ему украинцев, Короленко ни минуты не задержал своего внимания на том, что в подвиги эти неизменно и всегда входили и издевательства и убийства «жидов» и точение крови «жидовочек». Настолько не заметил этого Короленко, что решил даже угостить этой поэмой своего приятеля еврея Симху, фантазию которого молодецкие похождения гайдамаков больно и глубоко задевали и возмущали. И Короленке, этому бесконечно чуткому и гуманнейшему писателю, понадобились недоумевающие, укоризненно устремленные на него глаза приятеля-еврея, чтобы спохватиться.

Долгое время русские и евреи жили отделенные друг от друга не только «чертою оседлости» и всем историческим прошлым, но и несмешиваемостью, почти несоприкосновением двух культур, двух цивилизаций, двух исканий. Русскому беллетристу надо было перевоплотиться в жизнь народа, которого он не знал, не понимал. В Западной Европе в этом отношении гораздо раньше и шире образовалась между евреями и христианами общая почва совместной культурной жизни и общий культурный язык. В России же еврейская масса в течение долгого времени почти не выделяла из своей среды элементы, творчески входящие в русскую культуру и знакомящие русских людей с тем, что же такое еврей.

К сожалению, русская беллетристика не создала и в новое время широкого художественного полотна, изображающего быт и душу евреев. Но евреи в русских беллетристических произведениях перестали быть какою-то неведомою экзотикой и при всех своих национальных особенностях стали такими же людьми, как и другие.

П. Берлин

*

Тироль, долина Инна,
экспресс Германия — Турин,
такси на плавных белых шинах,
туман в долинах
и на вершинах
зеленоватый альпийский дым.

Туманы и серые дни
утонули где-то за Иннсбруком,
только горные родники,
ручейки,
водопады одни
выбегали за белым призраком.

Я все ждал итальянской Падуи,
когда два итальянских мальчика
продавали эспрессо в стаканчике,
напевая, кривляясь, радуясь.

Я держал горячее кофе,
— еще было по-раннему зябко, —
сигарету немецкой марки
и о мелкой забыл катастрофе.

«ГАВАЙИ»

Под вечной вышкой нефтяной
меж музыки и песен
стоит пустой содом —
две пальмовые ветки
в кадушках под окном —
и тесен и не тесен.

Жара скатилась в норы
приморской стороны,
«Гавайи» жалко стонут
с заржавленной струны,
все смуглое от нефти, —
и омут и не омут.

Потертые скамейки
обочиной шоссе,
где кто-то острой бритвой
«люблю ее до смерти»
изрезал как молитву, —
и битва и не битва.

Яков Бергер

О ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО*

I

Первым сравнительно крупным произведением, написанным Достоевским после каторги, был «Дядюшкин сон». Сюжет повести — забавный анекдот о старом жуире, князе К., дряхлом и почти выжившем из ума, но все еще желающим жить и казаться молодым, скрывая свою дряхлость разными искусственными способами (парик, фальшивые зубы и т. п.). Он приезжает в провинциальный город, и т. к. он богат и знатен и проявляет большую слабость к женским чарам, местные дамы наперерыв стараются использовать эту слабость. Энергичной и предприимчивой Марье Александровне Москалевой, пользующейся большим авторитетом в городском обществе, удается завладеть старым князем и заманить его к себе в дом. После роскошного завтрака, за которым князю усердно подливают шампанского, Марья Александровна заставляет свою дочь, красивую двадцатилетнюю Зину, петь князю романсы. Дряхлый старик настолько опьянен и шампанским, и красотой Зины, что опускается перед ней на колени и, запинаясь, предлагает ей руку и сердце. Мать сразу же дает свое согласие — она в восторге, что ей удалось помолвить дочку с таким знатным и богатым женихом. Старик уходит к себе в комнату и ложится спать, чтоб отдохнуть от пережитых волнений. Проснувшись, он рассказывает обо всем происшедшем своему племяннику Мозглякову, который перед тем сам безуспешно сватался за Зину. Мозгляков приходит в бешенство и, чтобы отомстить, убеждает своего слабого разумом дядюшку в том, что все это ему только приснилось. Когда вечером у Марьи Александровны собирается все городское общество и она уже хочет объявить о помолвке дочери, князь начинает рассказывать о том, какой

---

* См. кн. 48, 60, 61 «Н. Ж.».

у него был необыкновенный сон. Напрасно Марья Александровна старается ему доказать, что это было не сном, а действительностью, старик остается при своем, поддержанный собравшимися городскими дамами, которые все ненавидят хозяйку дома, завидуют ей, и в восторге, что могут ей насолить. Марья Александровна теряет самообладание, начинается страшнейший скандал, и наконец выступает Зина, открыто заявляя пред всеми, что мать ее нарочно напоила старого князя и злоупотребила его слабостью.

Весь рассказ выдержан в юмористическом тоне. Главные действующие лица — комические фигуры, каррикатуры. Властолюбивая и лицемерная Марья Александровна, изображающая из себя благородную натуру, но на самом деле фальшивая и способная ради своей выгоды на всякую низость, если и не прямая каррикатура, то во всяком случае сильно преувеличенный образ. Ее разговор — настоящий шедевр высокопарной и сентиментальной реторики, которой она старается прикрыть свои неблаговидные поступки и придать им благородную видимость. Истинная, неприглядная сущность ее натуры нет-нет да и проглядывает сквозь реторику, более явно прорываясь наружу в минуты волнения и уже вполне обнаженно выступая в разговорах с мужем, с которым она обращается самым грубым, возмутительным образом. Контраст между двумя аспектами ее личности — наружным благородством и внутренней низостью, слишком велик, и уже один он создает каррикатурное впечатление. Как в ее высокопарных речах, так и в ее брани и криках, когда она дает себе волю, есть что-то нарочитое, преувеличенное; к тому же смешными выражениями и оборотами, обильно вкрапленными в ее разговор обоих стилей, автор постоянно напоминает читателю, что он имеет дело с персонажем из комического рассказа.

Еще ярче выступает каррикатурная техника в изображении старого князя. Описание его наружности — неприкрытая каррикатура. Его разговоры, в которых каждая вторая фраза содержит какую-нибудь непредумышленную двусмысленность или каламбур, созданы для юмористического журнала; нужно признаться, что комический эффект их часто довольно плоский, и что многое в речах князя действительно заимствовано из подобных журналов, или же повторяет ходячие анекдоты о выживших из ума старых сановниках. Настоящую каррикатуру представляет собой также муж Марьи Александровны, Афанасий Матвеевич, который до того глуп, что жена

сослала его в деревню, чтобы он не срамил ее в городе своей глупостью. Когда она его привозит в город на помолвку дочери со старым князем, она ему категорически запрещает говорить. Если кто-нибудь обратится к нему он имеет право в ответ только улыбнуться или солидно кашлянуть. Окружающие Марью Александровну городские дамы тоже чистейшие каррикатуры. Таким образом вся повесть носит юмористически-сатирический характер.

На этом фоне ярко выделяется фигура Зины, дочери Марьи Александровны. Этот образ нисколько не каррикатурен, в нем нет никаких сатирических черт, он задуман вполне серьезно. Достоевский подчеркивает, что она совершенно не подходит к своей среде, и история ее является самостоятельным мотивом, лишь внешне соприкасающимся с главным сюжетом. В то время как описание предшествующей жизни других действующих лиц кратко, и не выходит за пределы сатиры на жизнь провинциального города, жизнь Зины довольно длинная сентиментально-романтическая история. Несколько лет раньше она познакомилась с молодым школьным учителем, очень бедным и из простой семьи, увлекающимся поэзией и полным высших интересов. Они полюбили друг друга, но Марья Александровна, разумеется, и слышать ничего об этом не хотела и заставила дочь порвать отношения с молодым человеком. Глубоко оскорбленный учитель совершил некрасивый поступок: чтобы отомстить «гордой» Зине, он передал одно из ее писем даме, враждебно настроенной против Марьи Александровны. Разумеется, вся история немедленно сделалась достоянием городских кумушек и Зину со всех сторон забросали грязью. Молодой человек вскоре понял всю некрасивость своего поступка: от раскаяния и несчастной любви он заболевает, затем у него делается чахотка и когда разыгрывается история со старым князем, он уже при смерти. Соглашаясь на уговоры матери выйти замуж за старика, Зина имеет единственной целью воспользоваться богатством мужа, чтобы спасти от смерти своего возлюбленного. При этом она вполне сознает, что совершает постыдный поступок, стараясь использовать в своих целях умственную слабость дряхлого князя; ее прямая и гордая натура с трудом мирится с этим, и когда слабость старика уже слишком явно проявляется в истории со сном, она не выдерживает и выступает с публичным признанием. После большой скандальной сцены из-за несостоявшейся помолвки, Зина получает известие, что ее возлюбленный умирает; она

спешит к нему, мирится с ним, и после его смерти навсегда уезжает из города.

Образ Зины вносит в сатирически-каррикатурную картину серьезную, даже трагическую ноту и этот контраст по-иному освещает все произведение. Контрастирующая роль Зины выдержана во всей повести. Еще до первой сцены с завтраком и помолвкою, у нее с матерью происходит разговор, во время которого явно выясняется разница между обеими женщинами. Напыщенной реторикой мать старается убедить дочь, что выходя замуж за богатого старика она совершает благородный поступок. Дочь не дает себя обмануть и откровенно высказывает свое отношение к морально-отталкивающим намерениям матери, и только когда Марья Александровна указывает ей на возможность спасти умирающего возлюбленного при помощи денег князя, Зина соглашается на постыдный поступок, не скрывая нисколько от себя его неблаговидности. Весь диалог построен на контрасте между напыщенным лицемерием матери и прямотой и искренностью дочери. Тот же контраст выступает и в сцене со скандалом, когда Зина своим честным и открытым поведением разрушает хитрые планы своей матери, не обращая никакого внимания на злорадство собравшегося общества. Но хотя она и положительный образ, а не каррикатура, Зина все же очень схематична: она «героиня», в понимании сентиментально-романтической традиции.

Среднее место между каррикатурами и романтическими образами занимает отверженный претендент Мозгляков, изображенный совершенно реалистически, без идеализации и без каррикатуры. Это человек безхарактерный, легкомысленный, тщеславный, хорошо помнящий свою выгоду, но в то же время доступный и благородным чувствам. Узнав о помолвке Зины со стариком, он приходит в бешенство, делает ей грубейшие упреки, и диалог построен опять-таки на контрасте между обиженным честолюбием и вульгарными чувствами Мозглякова с одной стороны и тонкой душой и благородной гордостью Зины с другой. Положение осложняется тем, что Зина действительно совершила некрасивый поступок которого стыдится, в то время как Мозгляков упрекает ее совершенно не с моральной точки зрения, а лишь дает волю своему оскорбленному самолюбию. Непосредственно за этим следует разговор между Мозгляковым и Марьей Александровной, в котором она пускает в ход все свое лицемерное красноречие, чтобы доказать ему выгоду создавшегося

для него положения: под покровом пышных фраз она дает ему понять, что он может после свадьбы вступить с Зиной в любовную связь, использовать протекцию старого князя для своей карьеры, и после его смерти — которой недолго придется ждать — жениться на богатой вдове. Этот циничный план нравится Мозглякову и на время успокаивает его. Зина к аналогичному разговору с матерью отнеслась диаметрально противоположно и это еще сильнее подчеркивает контраст между ней и Мозгляковым. Но когда Зина своим выступлением раскрывает и разрушает планы матери, высоко поднимаясь этим поступком над моральным уровнем окружающей среды, она увлекает Мозглякова за собой — он испытывает раскаяние и открыто признается в том, что это он обманул дядю и уверил его что все происшедшее с ним — сон. После смерти молодого учителя он заявляет о своей готовности жениться на Зине, но благородный порыв уже ослабел, и он связывает свое предложение с условием: так как Зина теперь скомпрометирована, свадьба должна состояться тайно и после свадьбы они должны немедленно исчезнуть из города. Зина гордо отклоняет это предложение. В эпилоге рассказано, что когда три года спустя Мозгляков встретил в большом обществе Зину, ставшую женой высокого сановника, она его даже не узнала.

Итак, «Дядюшкин Сон» дает целую гамму образов, начиная с откровенных каррикатур (старый князь, Афанасий Матвеевич) и кончая романтически-сентиментальным, идеализованным образом Зины, промежуточную ступень занимают сильно-преувеличенная, но не совсем каррикатурная, Марья Александровна и реалистически обрисованный Мозгляков. Каждое действующее лицо внешне охарактеризовано своим особым языковым стилем, что особенно ясно выступает в диалогах. Стиль, которым автор излагает события, тоже не везде одинаков, представляя собой постоянную смену сатирически-юмористического — реалистически-нейтральным. Композиция рассказа сравнительно проста и ясна: основной принцип, на котором он построен — противоположение сатирически-каррикатурного и серьезно-морализирующего элементов, как в образах действующих лиц, так и в самой фабуле. Посещение Зиной умирающего учителя после скандальной сцены является заключительным контрастом и бросает новый свет на образ Зины, дополняя то, что уже известно о ней читателю. Рассказ кончается эпилогом, выдержанным в спокойных тонах бесстрастного повествования.

Если сравнивать «Дядюшкин Сон» с предыдущими произведениями Достоевского, можно найти в них много общих черт. Влияние Гоголя все еще ясно чувствуется. Вся первая глава, с описанием провинциального города, с характеристикой Марьи Александровны и ее супруга, написана совершенно в гоголевских тонах. Высокопарная реторика Марьи Александровны пародирует патетический стиль Гоголя. Так же ясно видна и сентиментальная традиция: умирающий от чахотки бедный юноша, любящий богатую и социально выше него стоящую девушку, посещающую его в последнюю минуту его жизни — излюбленный мотив сентиментальных романов. Как и в предыдущих своих произведениях, автору удается придать известную глубину и внутреннюю жизнь гротеску, путем вскрытия серьезной моральной стороны внешне смешного анекдота.

В то же время многое в «Дядюшкином Сне» связывает его с позднейшими произведениями Достоевского. Отдельные образы напоминают персонажей из позднейших произведений; так, напр., старый князь очень похож на князя Сокольского из «Подростка». Особенно большое сходство с позднейшими произведениями можно заметить в композиционной технике. Длинные диалоги, в которых, благодаря взаимному противопоставлению говорящих, раскрывается их индивидуальное своеобразие, а также и вся техника контраста, типичны для больших романов писателя. Еще типичнее композиционная роль массовых сцен со скандалом. Такие сцены, в которых кто-нибудь из действующих лиц говорит именно то, чего в данном обществе говорить нельзя, или делает то, чего именно нельзя делать, мы встречаем во всех больших романах и всегда они представляют собой кульминационный пункт действия, за которым напряжение ослабевает и наступает некоторое успокоение.

Кроме черт, связывающих «Дядюшкин Сон» с прошлым и будущим, есть в нем и нечто своеобразное, свойственное всем произведениям переходного периода — это схематичность изображения действующих лиц и простая, ясная структура.

II

В том же 1859 г. появилось «Село Степанчиково и его обитатели». Центральное место в повести занимают две фигуры: полковник в отставке Егор Ильич Ростанев и Фома Фомич Опискин. Ростанев живет помещиком в своем имении

Степанчиково. Его основные черты — безграничная доброта, полное отсутствие эгоизма и добродушие, связанные с некоторой ограниченностью и очень небольшим образованием. Он во всех людях видит только хорошее, просто не замечая дурного, готов простить всякий недостаток, кроме своих собственных, большей частью воображаемых недостатков. Он очень строг к самому себе, постоянно упрекает себя в недостатке внимания к другим, постоянно боится обидеть или огорчить, легко готов отказаться от собственного счастья, если думает, что это нужно для счастья других, и все это не в силу отвлеченных принципов, а по природной склонности. Ростанев со всеми простодушен и откровенен, и считая себя самого недостойным и ничтожным, легко восхищается другими, даже когда они на самом деле стоят много ниже его по своим душевным свойствам.

Фома Фомич является полной противоположностью Ростаневу. Он смолоду был очень беден и хотя не получил достаточного образования, любит изображать из себя ученого и употреблять ученые слова. Его честолюбие безмерно; всю жизнь он мечтал о власти, почестях и славе, и всю жизнь должен был выносить унижения и обиды. Наконец он попал в дом генерала Крахоткина, женатого вторым браком на матери Ростанева. Это был грубый и вспыльчивый тиран, циник, терроризовавший всех домашних. Фома Фомич сделался его домашним шутом, ему приходилось молча выносить капризы и насмешки, и забавлять генерала шутками и кривляньем. Каким-то образом Фоме Фомичу удалось приобрести большое влияние на генеральшу; когда ее муж умер, это влияние еще усилилось, и вдова Крахоткина, переселившись с целым штатом приживалок к своему сыну в имение, привезла с собой и Фому Фомича. Здесь, в Степанчикове, Фома Фомич, уже старый человек, стал неограниченным властителем и деспотом. Его честолюбие и властолюбие, подавляемые и скрываемые в течение всей жизни, расцвели пышным цветом. Теперь он мог вымещать на других свои прежние унижения, тиранить и мучить окружающих, беззастенчиво эксплуатируя обожание генеральши и добродушие ее сына, требуя к себе уважения, почитания и полного послушания. Все должны были чувствовать его власть над собой, подчиняться его капризам, унижаться перед ним. Ему хотелось, чтобы все его считали великим мыслителем, гениальным человеком и даже святым. Во всем он видел недостаток уважения к себе и находил повод обижаться и оскорбляться, заставляя «обидчика»

просить прощения и прощал его лишь вдоволь натешившись его унижением.

На контрасте этих двух образом, Ростанева и Опискина, построен весь рассказ.

Содержание «Села Степанчикова» несложно. Жадная генеральша и Фома Фомич из корыстных расчетов требуют от Ростанева, чтобы он женился на богатой и слабоумной Татьяне Ивановне. Ростанев любит молодую и симпатичную гувернантку своих детей, Настеньку Ежевикину, но он готов отказаться от своего личного счастья и согласиться на уговоры матери сделать это «ради семьи». Все же у него не хватает духа совсем расстаться с Настенькой, ему хочется сохранить ее в кругу своих близких, и потому он уговаривает своего племянника жениться на ней. Тем временем романтически настроенная Татьяна Ивановна дает себя похитить некоему Обноскину, молодому и бессовестному искателю богатых невест. Ее скоро удается освободить из рук ее похитителя, но этот скандал делает невозможной женитьбу Ростанева на ней, и он решается дать волю собственному чувству и жениться на Настеньке. О своем решении он уведомляет Фому Фомича письменно и тот приглашает Ростанева явиться к нему. У Фомы Фомича собираются все домашние, и когда Ростанев приходит, Опискин начинает осыпать его упреками и позволяет себе грубо и оскорбительно отозваться о самой Настеньке. Ростанев, терпеливо переносящий сам всякое оскорбление и унижение, не может стерпеть оскорбления Настеньки — он выкидывает Фому Фомича из дома и запрещает ему когда-либо опять показаться у него. На дворе страшная гроза, генеральша в истерике, Ростаневу скоро делается жалко Фому Фомича и он велит его вернуть. Фома Фомич понял, что на этот раз перетянул струну и, вернувшись, поворачивает свои слова так, будто он только хотел испытать Ростанева, и видя теперь всю искренность его любви к Настеньке, просит генералышу благословить сына на брак. Ростанев и Настенька безгранично счастливы и так же безгранично благодарны Фоме Фомичу, который до самой смерти остается у них в доме, в качестве любимого и уважаемого домашнего тирана.

Число действующих лиц в «Селе Степанчикове» довольно велико, каждое из них специально охарактеризовано автором, при чем характеристика отдельного лица получает свой особый индивидуальный отпечаток лишь из сопоставления своего с другими. Либо двое или больше действующих лиц

обладают каким-нибудь общим признаком, и именно этот общий признак выявляет индивидуальные особенности каждого из них; либо двое или больше из них находятся в одинаковом положении и различием своего поведения проявляют различие своих характеров; либо, наконец, действующие лица приходят в столкновение друг с другом, и тогда разница в их поведении определяется нетолько личными индивидуальными свойствами каждого, но и свойствами «партнера» в столкновении. Так напр. характеристика Ростанева определяется нетолько его глубочайшей противоположностью Фоме Фомичу, но и сравнением напр. с помещиком Бахчеевым, который тоже добрый и добродушный человек, но раздражителен, вспыльчив, возмущается недостатками своего ближнего и довольно безтактно свое возмущение высказывает. Далее, напр., Ростанев и Обноскин оба соглашаются на уговоры своих матерей жениться на Татьяне Ивановне, но именно одинаковость их положения в этом отношении особенно ярко показывает разницу их натур. Разница отношения действующих лиц к вопросу о женитьбе на Татьяне Ивановне проявляется не только из контраста Ростанев — Обноскин, но и Обноскин — Мизинчиков. Последний — бедный родственник Ростанева, тоже надеющийся женитьбой на богатой невесте поправить свои дела и замышляющий ее похитить. Обноскин просто подленький человек, мелкий мошенник, неспособный придумать ничего в оправдание своего поступка, тогда как Мизинчиков, человек с убеждениями, придумывает целую сложную казуистическую теорию, чтобы оправдать свои намерения. Но богатство Татьяны Ивановны не достается никому из них — она дарит треть своего состояния Настеньке, в качестве приданого, инстинктивно чувствуя, несмотря на свое слабоумие, что Настенька и Ростанев единственные из всех обитателей Степанчикова, которые относятся к ней сердечно и без корыстолюбивых намерений. Таким образом все эти лица охарактеризованы противопоставлением друг другу и разницей реакции на одинаковые внешние обстоятельства.

Самоотверженность и кротость как Ростанева так и Настеньки, выступают яснее, не только из противопоставления их Фоме Фомичу, но и из их взаимоотношений с некоторыми второстепенными фигурами, напр. с дочерью Ростанева, Сашенькой, которая обожает отца и его невесту и горячо становится на их защиту, или с приживалкой старой генеральши, девицей Перепелицыной, совершенной фурией, ненавидящей Ростанева и Настеньку и всячески старающейся подве-

сти их под гнев Фомы Фомича. На фоне всех многочисленных второстепенных фигур, личность Ростанева вырисовывается особенно ярко.

Не менее рельефно выступает и Фома Фомич из своих отношений с второстепенными лицами, с одной стороны с роем поклонниц, со старой генеральшей во главе, с другой стороны с некоторыми индивидуально-очерченными лицами из числа прислуги. Это старый почтенный дворецкий, Гаврила, с которым Фома Фомич обращается грубо и презрительно, и которого заставляет, ради издевательства, учиться французскому языку; полный самомнения, напыщенный и глупый Видоплясов, которому Фома Фомич покровительствует и, наконец, придурковатый и очень красивый малый, Фалалей, которого Фома Фомич ненавидит за то, что его господа его любят.

Для характеристики действующих лиц Достоевский пользуется прежде всего разговорами. У каждого из них свой особый стиль, своя манера говорить; их основные черты раскрываются перед читателем в диалогах; каждый из них говорит и рассказывает о других: Ростанев рассказывает своему племяннику о Фоме Фомиче и Настеньке, о ее отце и т. д. со своей точки зрения; Бахчеев говорит ему о них же — со своей; Мизинчиков тоже со своей и т. д. Племянник Ростанева нужен в повести только для роли слушателя.

Наибольшее значение имеют конечно, те разговоры, в которых участвуют главные действующие лица, Ростанев и Фома Фомич. Ростанев почти всегда старается успокоить, сгладить, смягчить раздражение или недовольство своих собеседников; Фома Фомич, напротив, ищет повода для раздражения и всегда умеет найти, в самых безобидных словах, что-нибудь злокозненное, обидное для себя или постыдное для говорящего, которому немедленно же начинает читать нотации. Наибольшей яркости достигает контрастическая техника в диалогах между Ростаневым и Фомой Фомичем, который перевертывает все его слова, а когда Ростанев пытается оправдаться, объяснить свои намерения, набрасывается на него все с бóльшим ожесточением, впадая в патетическую реторику, т. ч. бедный Ростанев все больше путается, смущается и, наконец, сам убеждается в справедливости делаемых ему упреков и просит прощения. Тут красноречие Фомы Фомича достигает своего апогея — из него буквально льется проповедь, которой автор, обыкновенно не передает полностью, ограничиваясь словами и т. д., и т. д. Прием пе-

ревертыванья слов для придания им другого смысла особенно характерен для Фомы Фомича. И когда Ростанев его выгоняет, он убедившись в том, что зашел слишком далеко, перевертывает свои собственные обидные слова, придавая им характер благожелательного намерения. Эффект этого заключительного перевертыванья и подмениванья смысла слов усиливается тем, что оно происходит в направлении обратном тому, к которому привык читатель.

Повесть построена по интересному плану. Сперва — длинное введение, в котором изложена предшествующая история и дана характеристика главных действующих лиц, Ростанева и Фомы Фомича. Затем следует сам рассказ, в котором излагаются происшествия двух дней, и который соответственно этому распадается на две части; в каждой из них кульминационным пунктом служит массовая сцена со скандалом. В первой части кульминационный пункт подготовляется постепенным нарастанием настроения против Фомы Фомича: племянник Ростанева приезжает в Степанчиково и все время слышит разговоры о Фоме Фомиче — все по очереди рассказывают ему невероятные вещи о тираническом поведении Опискина в доме его дяди, и наконец он сам убеждается в справедливости этих рассказов и высказывает Фоме Фомичу открыто свое мнение о нем, что и вызывает грандиознейший скандал. Этим исчерпывается тема характеристики Фомы Фомича и начинается новая — любовная драма Ростанева. В рассказ включены еще две сцены, подготовляющие похищение Татьяны Ивановны.

Вторая часть начинается с самого похищения, за ним следует развитие темы любви Ростанева и Настеньки и все заканчивается массовой сценой с изгнанием Опискина. Когда повествование достигает высшей степени напряжения, наступает развязка — хитрая уловка Фомы Фомича. Повесть заканчивается эпилогом, где быстрым темпом и в спокойном тоне рассказывается о дальнейшей судьбе действующих лиц. Как видно, обе части построены совершенно симметрично.

Сравнивая «Село Степанчиково» с «Дядюшкиным Сном» можно установить несомненное сходство обоих произведений в технике изображения. Общими чертами в них являются использование массовых сцен со скандалом в качестве кульминационного пункта действия и широкое применение диалога, того специфического диалога, который служит для характеристики действующих лиц. Эти две особенности изобразительной техники придают обеим повестям характер драматических

произведений: ту и другую очень легко превратить в театральные пьесы, чего никак нельзя утверждать ни об одном из прежних произведений Достоевского.

Говоря о «Дядюшкином Сне» мы уже указывали на карикатурность изображения действующих лиц; то же самое можно сказать: и о «Селе Степанчикове». Все персонажи в этой повести не что иное, как каррикатуры, все черты их характеров преувеличены, искажены, представлены комически: Фома Фомич, генеральша с приживалками, Татьяна Ивановна, Видоплясов; племянник Ростанева неоднократно спрашивает себя, не попал ли он в сумасшедший дом? Даже и сам Ростанев скорее комический образ — симпатичные черты характера в нем преувеличены до комизма. В первом издании у «Села Степанчикова» был подзаголовок — «юмористический роман», который автор вычеркнул при втором издании.

Сходство «Села Степанчикова» с «Тартюфом» Мольера бросается в глаза, но оно ограничивается одной ситуацией: лицемер и ханжа живет в доме доверчивого и умственно ограниченного человека, имеет беспредельное влияние на него самого и на его мать, в то время как остальные домашние его ненавидят. Но психологическая характеристика действующих лиц и фабула в обоих произведениях не имеет ничего общего, и между самим Тартюфом и Фомой Фомичем единственное сходство — ханжество. Поэтому попытку исследовательницы Маргариты Хааз провести полную параллель между «Селом Степанчиковым» и «Тартюфом» нельзя считать удавшейся.

Для основной темы повести — жизни домашнего пророка в доме ослепленного почитателя — не нужно было искать образцов в литературе: такая ситуация была известна в то время из жизни. Почти у всех еще были в памяти последние годы жизни Гоголя, когда он, отойдя от литературной деятельности и решив стать философом и учителем жизни, поселился в доме обожавшего его писателя Аксакова; он жил там, окруженный толпой восторженных почитателей и почитательниц, преимущественно старушек, принимавших каждое его слово за пророчество и исполнявших все его капризы и прихоти. Сам Гоголь был убежден в своем пророческом призвании и в то же время исполнен сознания своей греховности, проводил время в остентативном покаянии и молитве, читал всем знакомым мораль и обличал их пороки. Все это постепенно перешло в душевную болезнь, в род религиоз-

ного помешательства, приведшего к полному помрачению разума. В этом состоянии Гоголь и умер.

В своей статье «Достоевский и Гоголь. К теории пародии» Юрий Тынянов рассматривает речи и проповеди Фомы Фомича как пародию на знаменитые в свое время «Избранные места из переписки с друзьями» Гоголя, и видит в самом Фоме Фомиче каррикатуру на писателя в последний период его жизни. «Избранные места» содержали в себе рассуждения на всевозможные моральные, религиозные и политические темы, изложенные в патетически-реторическом стиле, но очень банальные по содержанию, строго-консервативные и не выходящие за пределы официальной идеологии того вермени. Они были встречены всей прогрессивной частью русского общества с большим возмущением, и Белинский написал Гоголю то самое «Открытое письмо», чтение которого привело Достоевского на каторгу.

Конечно, известную аналогию между Гоголем и Фомой Фомичем установить можно, но только аналогию, не больше; что же касается напыщенных и плоских речей Фомы Фомича, то их можно действительно принять за пародию на «Избранные Места», главным образом, на их патетический тон. Если Достоевский при создании образа Фомы Фомича и думал о Гоголе в последнее время его жизни, то это была интимная мысль, которую он не хотел показывать явно. Если принять во внимание, с одной стороны, что все первое время своей литературной деятельности Достоевский стремился преодолеть влияние гоголевской традиции, с другой — что «Избранные Места» сыграли в жизни Достоевского фатальную роль, гипотеза Тынянова становится очень правдоподобной, но все же о прямой пародии или каррикатуре говорить нельзя, в лучшем случае можно говорить о намеке на пародию.[1]

Во всяком случае очень интересно, что такой намек на личность Гоголя мы встречаем как раз в том произведении Достоевского, в котором наиболее ярко выступает применение той самой гоголевской схематически-каррикатурной техники изображения, против которой писатель так усиленно боролся прежде. Конечно, и при этой технике Достоевский

---

[1] Леонид Гроссман, написавший подробное предисловие к изданию «Села Степанчикова», (Москва 1935), старается доказать, что Фома Фомич был каррикатурой на Белинского, но его доказательства мало убедительны.

остается своеобразным и независимым, но она не соответствует его особенностям, его творческой личности, тогда как к гоголевской творческой системе она подходила как нельзя лучше. Достоевский должен был сам ощущать эту манеру писания как недостаток. Долгий перерыв в литературной работе привел его к потере своего писательского «Я», своей своеобразной индивидуальности, и все произведения первых годов после Сибири характеризуются исканием потерянного «Я». При такого рода поисках ошибки и ложные шаги неизбежны, и манеру изображения в «Селе Степанчикове» и «Дядюшкином Сне» следует считать именно такой ошибкой, ложным шагом. Достоевский сам понимал это и в самом своем большом произведении переходного периода, в романе «Униженные и Оскорбленные» стал на совершенно иной путь, который, кстати сказать, тоже оказался ложным.

В заключение следует еще подчеркнуть, что если Фома Фомич действительно каррикатура на живое лицо, то каррикатура эта скрыта и не является литературным приемом, в противоположность тем каррикатурам, которые мы встречаем позднее, напр. в «Бесах» (Тургенев) или в «Крокодиле» (Чернышевский), которые повышали интерес читателя к произведению благодаря своей актуальности. Но самый факт появления каррикатуры на существующее лицо, как бы он скрыт и ослаблен ни был, нов — он не встречался в произведениях первого периода. В нем можно видеть первое проявление той едкости и озлобленности, которые делали Достоевского столь непопулярным в среде современных ему писателей.

III

В следующем произведении писателя, большом романе «Униженные и Оскорбленные», в двух параллельных историях развивается тема девушки, покинувшей родительский дом для любовника, которую отец проклинает, а любовник покидает. Это история Наташи Ихменевой, ушедшей к молодому князю Алексею Валковскому и безымянной дочери старика Смита, уехавшей в свое время за-границу с отцом Алексея, князем Петром Валковским; покинутая им, она вернулась в Петербург и умерла в нищете, непрощенная отцом. Первая из двух параллельных историй развивается перед нашими глазами, вторая — уже в прошлом; она живет лишь в памяти некоторых ее участников, о ней рассказывается отрывочно, иногда только намеками. Драма Смита служит как бы фоном

для драмы Ихменевых, постоянно проступая в последней и отчасти влияя на нее.

При всем внешнем сходстве обе истории сильно отличаются друг от друга, главным образом потому, что характеры действующих лиц в обеих совершенно различны. Семейная драма Ихменевых протекает среди добрых, безобидных, слабых людей, в то время как участники драмы Смита отличаются сильными, непреклонными характерами. Князь Валковский — просто бессердечный, низкий злодей, для которого при похищении возлюбленной главную роль играла не любовь, а корыстные мотивы: при ее посредстве он получил какие-то документы, доставившие ему крупные деньги, так что он лишил старика Смита не только дочери, но и значительной части его состояния. Смит тоже отнюдь не безобидное существо. Его любовь к дочери носила тиранический характер, он всегда хотел ее иметь около себя, не позволял ей выходить замуж; когда покинутая и нищая дочь вернулась к нему, он ее оттолкнул и проклял, и никогда не простил, хотя и знал, что она тяжело больна и живет подаянием. Только когда он узнал, что она при смерти и хочет с ним проститься, он поспешил к ней, но уже не застал ее в живых. Это настолько его потрясло, что он с тех пор стал полупомешанным. Что касается самой несчастной дочери Смита, то несколько раз автор подчеркивает ее гордость. Правда, по отношению к отцу она проявила много смирения, несколько раз пытаясь примириться с ним, несмотря на то, что он каждый раз ее отталкивал, но по отношению к другим она была непомерно горда, и ничего не соглашалась предпринять хотя бы для того, чтобы обеспечить лучшее существование своей маленькой дочери. Эта резкость и непреклонность характеров придает всей истории мрачный колорит; к тому же она всегда остается на заднем плане, и носит отпечаток таинственности — читатель до самого конца не узнает ее во всей полноте и многое в ней для него загадочно.

В истории Ихменевых, напротив, всё светло и ясно, т. к. все ее непосредственные участники добрые, благородные и вместе с тем по-человечески слабые люди, с которыми читателя автор знакомит очень подробно. Такая односторонняя положительная характеристика не дает возможности создаться подлинной трагедии, т. к. из столкновения между одними только благородными и добродушными людьми ничего весьма трагического произойти не может. Необходимо поэтому ввести их в соприкосновение с людьми злонамеренными и низ-

кими, и для этой цели автор вводит в их среду князя Валковского. Отец Наташи, старый Ихменев, ничего не имел бы против брака своей дочери с Алёшей Валковским, если бы он не был глубоко оскорблен и унижен князем, Алёшиным отцом, имением которого он прежде управлял, и с которым его когда-то связывали дружеские отношения. По неясным причинам, князь обвинил его в недобросовестности и краже, а также в стремлении «поймать» Алёшу для своей дочери. Оскорбленный Ихменев начал против своего обвинителя процесс, закончившийся неудачно для него, благодаря связям и влиянию богатого князя. Поэтому, когда между Наташей и Алёшей действительно начался роман, Ихменев не мог допустить этого; но любовь Наташи была так велика, что она покинула родителей и ушла к Алёше. Последний, очень порядочный и благородный человек, непременно на ней женился бы, если бы отцу не удалось своим коварным влиянием удалить его от нее. Князь хотел женить его на падчерице своей любовницы, очень богатой девушке, во всех отношениях достойной и привлекательной; ему удается влюбить Алёшу в нее, и Наташа тогда сама от него отказывается. Таким образом Алёшин отец, единственный дурной человек во всей истории Ихменевых, во всем виноват — без него вместо драмы была бы идиллия. Он же является связующим звеном с историей Смита, т. к. он был соблазнителем его дочери.

Конечно, одного вмешательства злого и коварного князя еще недостаточно, чтобы придать трагический оборот событиям — этому должны были способствовать и известные личные свойства остальных действующих лиц. Старый Ихменев слишком доверчив — он сперва идеализировал князя, и тем сильнее было потом его разочарование; он очень самолюбив и упрям; самое сильное чувство в нем — любовь к дочери, и в борьбе между этой любовью и оскорбленным самолюбием, происходящей в душе доброго, честного и прямодушного человека, заключается психологическая роль отца Ихменева в романе. Свойства Ихменева определяют и его социальное положение: автор делает его мелким помещиком, т. к. к традиционному образу чиновника, умевшего глотать обиды и скрывать свои чувства, откровенность и доверчивость не подходят.

Особенно трудной задачей для автора был образ Алёши. Поэтому Алёшу пришлось изобразить хотя и добрым, и благородным, но безмерно легкомысленным человеком, слабым, всегда подпадающим под чье-нибудь влияние, не вполь-

не ответственным за свои поступки — словом — полуребенком.

Разумеется, и образ кн. Валковского должен был быть внешне подогнан к этим добрым, благородным людям, иначе и Ихменев в свое время с ним не подружился бы, и Алёша не поддавался бы так его влиянию. Поэтому кн. Валковский изображен человеком двуличным, ведущим двойную жизнь: внешне он глубоко порядочен, высказывает благородные чувства, вращается в высшем обществе, на самом же деле он низок, жаден, безнравственен, зол и труслив. Эти свойства в нем лишь изредка прорываются наружу, но сын ничего не замечает и питает к отцу безграничное доверие и уважение. Лицемерие кн. Валковского является, таким образом, необходимым следствием характеров его сына и старого Ихменева.

Характер Алёши, в свою очередь, делает очень трудной характеристику Наташи. Если бы она была лишь глупенькой легкомысленной девушкой, все было бы очень просто, но тогда не было бы трагедии. Для последней необходим был серьезный, глубокий характер, благородные чувства, что очень трудно было сочетать с легкомыслием и детскостью Алёши: как могла такая серьезная, глубоко чувствующая девушка, полюбить такого детски-легкомысленного, безвольного и безхарактерного человека? И полюбить настолько сильно, чтобы покинуть родительский дом и всем пожертвовать для него? О чисто-чувственной страсти здесь не могло быть и речи, она изменила бы всю окраску истории Наташи. При этом, если уже такая странная комбинация характеров состоялась, то можно было бы подумать, что более сильная женская натура подчинит себе всецело своего слабого партнера, между тем как на самом деле Алёша бросает Наташу и легко освобождается от ее влияния. Все эти психологические загадки должны были быть разрешены в характеристике Наташи и в анализе ее любви к Алёше. Созданный автором образ Наташи — настоящий психологический фокус. С одной стороны, ее любовь носит ярко выраженный материнский характер, связанный с сознанием Наташей своего духовного превосходства — всё это находит свое выражение в жалости, умилении, готовности жертвовать собой; с другой стороны, мы видим в этой любви все признаки нормальной женской любви, с сильно выраженной ревностью. Материнское самоотвержение и ревность постоянно вступают в конфликт между собой, или вследствие легкомысленных поступков

Алёши или в силу сознания несоразмерности между безграничной, сильной любовью Наташи и поверхностным ответным чувством Алёши. Наташа страдает от ревности, но когда Алёша раскаиваясь в том, что заставил ее страдать, в отчаянии упрекает и винит себя, материнское чувство заглушает ревность и утешать его для нее наслаждение — в эти минуты она счастлива. Таким образом, Наташино чувство представляет собой сложный комплекс переживаний, центр тяжести которого лежит в известном наслаждении страданием и в потребности и радости утешать — т. е. переживать с любимым человеком е г о страдание. Это сложное психологическое построение является прямым результатом характера Алёши, но и все остальные свойства Наташи приобретают по той же причине особый отпечаток.

Кроме лиц, судьба которых определяет содержание истории Ихменевых, есть в романе и другие, принимающие в ней прямое участие. Одно из этих лиц Нелли, тринадцатилетняя девочка, внучка Смита и незаконная дочь князя Валковского. Она терпела горькую нужду с матерью, пережила ее смерть, была свидетельницей жестокости деда и помрачения его рассудка; затем попала в руки злой женщины, Бубновой, жестоко обращавшейся с нею и пытавшейся торговать ею. Все это сделало ее замкнутой, недоверчивой и гордой, хотя в глубине души это был любящий, добрый ребенок, с сильными чувствами. Она больна — у нее падучая и болезнь сердца. Нелли — живое напоминание об истории Смита и, как таковое, она вмешивается в историю Ихменевых. Когда она в присутствии Ихменева рассказывает о своей матери и о деде, рассказ ее производит такое впечатление на старика, что он прощает дочери. Таким образом создается живая связь между обеими историями: воспоминание об истории Смита становится действующей силой в истории Ихменевых, и притом действующей силой с решающим значением.

Образ рассказчика, Ивана Петровича, играет чисто связующую роль — роман написан в форме его воспоминаний. Иван Петрович — одновременно и конфидент Наташи, и ее родителей, т. к. рассказ ведется в первом лице, ему приходится присутствовать или принимать участие во всех самых важных моментах романа, что создает для него особое положение. Его близость с наташиными родителями объясняется тем, что он воспитывался в их доме. Отношения его с Наташей более сложные: он был прежде ее женихом, но когда она отказала ему ради Алёши, он остался ее другом и

доводит свое самопожертвование до того, что во всем помогает своей прежней невесте и ее возлюбленному. Связь его с историей Смита начинается с того, что он случайно присутствует при смерти старика, затем поселяется на его квартире и берет себе его внучку, вырвав ее из рук сводницы Бубновой. Отношение Нелли к нему дает возможность яснее обрисовать ее сложный характер. Иван Петрович вступает в сношения и с князем Валковским, который — без достаточной мотивировки — откровенничает с ним. Наконец, он знакомится и с Алёшиной невестой, Катей, которая просит у него совета. Таким образом, он связующее звено между всеми действующими лицами романа, и этим роль его исчерпывается. Индивидуальных черт у него почти нет — это схематически очерченный образ, полный добродетелей: жалости, благородства, самоотвержения и т. д.

Мать Наташи — воплощенная материнская любовь, прощающая всё своей дочери; роль ее в романе — роль фотографического проявителя: характер ее мужа особенно ярко выступает в разговорах с ней и в ее рассказах о нем Ивану Петровичу. Катя, счастливая соперница Наташи, является как бы двойником последней: она не только добра и благородна, но и умна, и серьезна; несмотря на это она влюблена в легкомысленного, безхарактерного Алёшу и как у Наташи, ее любовь носит материнский характер, хотя она сама еще очень молода. Единственное ее отличие от Наташи — наивность и детскость, специально подчеркнутые автором, быть может для того, чтобы показать, что она все-таки больше подходит Алёше, чем Наташа. Роль частного сыщика Маслобоева в романе заключается в том, что он сообщает рассказчику все собранные им данные о прежней жизни Валковского, а также помогает ему вырвать Нелли из рук Бубновой. Эпизодическая фигура добродушного старого врача дает повод раскрыть перед читателем сложный характер Нелли.

Таковы все действующие лица. Как видно, их немного, ровно столько, сколько нужно для фабулы романа; их психология и взаимоотношения довольно просты и естественным образом вытекают из их роли в тематической схеме романа. Схема эта тоже проста и ясна, так же как и вся структура романа. Во всем повествовании очень мало действия — схема дана с самого начала и почти не развивается. Это характерно для сентиментальных романов, в которых центр тяжести лежит в изображении душевных переживаний, и в «Униженных и Оскорбленных» мы как раз видим возрождение той

сентиментальной традиции, которая играла такую важную роль в юношеских произведениях Достоевского. Многочисленные нити связывают этот роман с произведениями первого периода. Сцена в первой части, где влюбленный в Наташу рассказчик сопровождает ее на свидание с Алёшой, живо напоминает сцену из «Белых Ночей». Рассказчик сам писатель, и из всего, что он говорит о своем первом произведении видно, что это была сентиментально-романтическая повесть, вроде «Бедных Людей», которая была очень благоприятно принята публикой, причем особенно горячо отнесся к ней некий критик Б.; дальнейшие же его произведения успеха не имели. Все это явно автобиографические черты. Описание самого себя, которое дает рассказчик, очень похоже отчасти на героя «Белых Ночей», отчасти на самого автора в молодые годы. Сама фабула — мотив добродетельной и благородной девушки, соединяющейся против воли родителей со своим возлюбленным, покинутой им и возвращающейся, прощенной, в родительский дом, очень часто был использован в сентиментальной литературе, так же как и мотив сироты, попавшей в руки сводницы («Бедные люди»). Да и вся трактовка характера действующих лиц стоит очень близко к традиции сентиментальной школы.

Таким образом мы вправе назвать «Униженных и Оскорбленных» сентиментальным романом, и связь его с произведениями первого периода наводит на мысль, что он был реакцией против каррикатурного жанра, возвращением к традиции сороковых годов. Правда, в романе мы находим и выпады против сентиментализма, «прекраснодушия», «шиллеризма». Эти выпады вкладываются главным образом, в уста кн. Валковского, который иронизирует над «прекраснодушием» (во время своего разговора с рассказчиком в ресторане) и называет отношения между своим сыном и Наташей «пасторалью». Так же иронически относится к «шиллеризму» и Маслобоев, и хотя оба эти лица не принадлежат к положительным персонажам романа, все же в их взглядах выражены и авторские взгляды, самокритика автора, который несомненно чувствовал недостатки сентиментализма и испытывал потребность извиниться за них перед читателем, посмеяться над ними. Достоевский не идет дальше легкой иронии, смущенной улыбки, он все еще сам находится во власти сентиментальной традиции и, несмотря на все его старания, действующие лица этого произведения все же получились несколько слащавыми. И даже князь, который должен был слу-

жить контрастом, противовесом этим образам, всецело остается в рамках той же традиции: это мелодраматический злодей, обладающий одними только дурными свойствами. Только в образе Нелли можно найти черты, независимые от сентиментальной традиции. Болезненно неуравновешенная психика, сеть стыдливо скрываемых чувств, истерическая смена противоположных настроений, всему этому нет образцов в произведениях сентиментальной литературы. В Нелли есть что-то своеобразное, специфически «достоевское», напоминающее лучшие места из «Неточки Незвановой».

Достоевский, вероятно, сам чувствовал, что «Униженные и Оскорбленные» были не особенно удачным произведением. После каррикатур «Села Степанчикова» и «Дядюшкиного Сна» он надеялся, вероятно, найти в сентиментализме верное направление для своего творчества, но и в этой области ему удалось создать только схематические образы. Прогрессом в его творчестве это не было: схема остается схемой, безразлично, юмористическая она или сентиментальная. Казалось, Достоевский в то время совершенно потерял дорогу к живому человеку. Только в образе Нелли ему удалось создать что-то живое и несхематическое, и это знаменательно: Нелли была **больным** существом. Этим как-бы указывалось Достоевскому направление для его поисков пути к живому человеку: изображение и углубление болезненной, ненормальной психики. В этом лежала для писателя возможность преодоления схематизма, господствовавшего в его произведениях по возвращении из Сибири.

Другое обстоятельство, важное для дальнейшего развития его литературного творчества, заключалось в том, что Достоевский в это время усиленно занимался публицистической деятельностью, той особой философствующей журналистикой, которая была столь характерна для издававшихся братьями Достоевскими журналов. Влияние этой публицистической деятельности на литературное творчество стало вскоре сказываться в последующих произведениях писателя.

IV

В 1861 и 1862 гг. в журнале «Время» печаталось следующее крупное произведение Достоевского, «Записки из Мертвого Дома». Это не роман, не повесть, не сборник рассказов и не автобиография, а скорее собрание наблюдений над жизнью сибирской каторги. Центр тяжести произведения лежит в изображении психологии каторжников и в общих

рассуждениях, примыкающих к психологическим наблюдениям. «Записки» написаны как личные воспоминания бывшего политического каторжанина, что придает им характер литературного произведения; отдельные главы написаны в повествовательной форме, иногда в форме законченных рассказов, как напр. рассказы отдельных каторжан о самих себе. Это произведение занимает особое место в творчестве писателя, находясь вне чисто-литературной линии его развития.

Появившиеся в 1863 г. «Зимние заметки о летних впечатлениях» — впечатления от поездки в Европу — уже почти нельзя причислить к литературным произведениям писателя: это скорее журналистические очерки, в жанре философствующей публицистики журналов «Время» и «Эпоха». Описания конкретных впечатлений или переживаний из европейской поездки автора занимают в них наименьшее место, являясь только отправной точкой для общих рассуждений. Можно даже сказать, что европейской поездки вовсе и не нужно было для этого произведения, т. к. изложенные в нем мысли и рассуждения могли возникнуть точно так же и без всякой поездки. В них Достоевский говорит о европейской цивилизации, подвергая ее безжалостной критике, а также об отношении к ней русского человека, и призывает к побуждению русского самосознания, к отходу от рабского подражания и восхищения. «Впечатления» написаны легким разговорным языком, полны саркастических замечаний и полемических выпадов. В качестве художественного приема, полемика в литературно-разговорной форме находит себе впоследствии широкое применение в больших романах автора.

Итак, в периоде, названном нами «переходным», к уже выработанным ранее литературно-художественным приемам прибавились новые (контрастическая техника, усиление роли диалога); выяснилось также, что лучше всего автору удается изображать не вполне нормальную душевную жизнь. В это же время выкристаллизовался и особый характер публицистики Достоевского, в которой центр тяжести лежал в полемике, причем противник опровергался главным образом путем преувеличения и доведения до абсурда его собственных взглядов. Как мы уже упоминали, полемику на отвлеченные темы писатель применял впоследствии и в литературных произведениях. Дальнейшим этапом на пути творческого развития должен был быть синтез всех выработанных на протяжении многих лет приемов и способов изображения. Первым шагом в направлении к такому синтезу был юмористический рассказ

«Скверный анекдот», в котором основные особенности нового направления еще только слегка намечаются, почти еще незаметны. Достоевский часто пробовал новые художественные приемы или новые установки в юморесках, с тем чтобы впоследствии применять их в серьезных произведениях.

«Скверный анекдот» был нетолько юмористическим, но и актуально-сатирическим рассказом. Шестидесятые годы были временем так называемых «великих реформ» — отмены крепостного права, введения гласного суда, выборных самоуправлений в городах и в деревне, ослабления цензуры и т. д. Все это должно было заменить старое чиновничье управление, что, в свою очередь, требовало изменения психологии и самих чиновников. Пароль «либерализма» шел сверху и чиновники, соперничавшие прежде друг с другом в реакционности своих взглядов и в строгом соблюдении чинопочитания, теперь должны были вдруг стать либералами. Прежде чиновник был одетым в мундир и увешан орденами (речь идет, разумеется, о высших представителях сословия, а не о мелких канцеляристах типа Девушкина), был автоматом, частью строгой, недоступной человеческим чувствам государственной машины; теперь он должен был сделаться живым, благожелательным человеком, работающим вместе с обществом в одном и том же деле строительства. Разумеется, такое глубокое изменение не могло произойти со дня на день, «новый дух» проникал в среду старого чиновничества медленно и с трудом, но во всяком случае являлся в то время злободневной темой. В рассказе «Скверный анекдот» изображен сравнительно молодой, довольно высокого ранга чиновник, пытающийся провести «новый дух» в жизнь, и попадающий благодаря этому в глупейшее положение.

Герой рассказа, Иван Ильич Пралинский, идет домой после ужина у сослуживца, во время которого шел разговор о новом направлении; Пралинский пытался убедить старших и скептически настроенных собеседников в том, что необходимо действительно упразднить старую бюрократическую систему, заполнить пропасть между начальниками и подчиненными и встать на путь человеческого и либерального отношения к последним. Пралинский очень дельный и способный чиновник, достигший уже довольно высокого положения, несмотря на свой еще молодой возраст, заведующий большой канцелярией. За ужином пили шампанское, и Иван Ильич, не привыкший пить, слегка охмелел. По дороге он замечает ярко-освещенный небольшой деревянный дом, видит через

открытые окна собравшееся там многолюдное общество, слышит доносящуюся оттуда музыку; он спрашивает что такое, и узнает, что в доме празднуют свадьбу чиновника Пселдонимова. Пралинский вспоминает, что Пселдонимов служит у него в канцелярии с окладом 10 руб. в месяц и ему вдруг приходит в голову мысль попробовать применить на деле свои теории о необходимости установления сердечных отношений между начальством и подчиненными, и осчастливить маленького канцеляриста своим посещением. Хмель придает ему смелости, он направляется к дому и входит.

Его появление в зале, где весело и без стеснения танцуют знакомые и друзья молодых, вызывает всеобщее смятение: гости перестают танцовать, все замолкают, жених дрожит от страха. Иван Ильич старается его подбодрить, вообще объяснить как-то свое появление; но слова его звучат неискренно, он чувствует, что сделал глупость, но уже не знает, как отретироваться. Через несколько времени ему приносят бутылку шампанского, стоившую хозяйке дома ее последних денег, и один из приглашенных, несколько старше Пселдонимова чином, и потому считающийся почетным гостем, получает задание занимать Его Превосходительство. Оба собеседника смущаются, не знают о чем говорить, и им не остается ничего другого, как пить. Пралинский хмелеет все больше и больше. Тем временем общество несколько оправилось от первого испуга; в соседней комнате поставлен стол с водкой, к которой гости усердно прикладываются, и веселье постепенно становится все более шумным и безудержным, танцы переходят в прыжки и топанье, разговор в крик; Иван Ильич чувствует, что теперь самое время ему уйти, но он не решается встать, т. к. не вполне уже может управлять своими движениями. Всех приглашают к ужину, Пралинского сажают на почетное место; в первый раз в жизни он выпивает большую рюмку водки и чувствует, что совершенно пьян. Остальные гости еще пьянее и ведут себя соответственно. Когда Иван Ильич, пытаясь произнести тост, может только пробормотать бессмысленные отрывки фраз, хмельные гости прерывают его выкриками, и один из них, журналист, видимо радикального направления, вступает с ним в спор; его выкидывает из комнаты перепуганный Пселдонимов. Пралинский пытается встать, падает на пол и тут-же засыпает. Гости в панике разбегаются.

Затем описывается ужасная ночь. Пралинского переносят на кровать, предназначавшуюся для молодых, т. к. это

лучшая кровать в доме. Вскоре он начинает страдать от последствий выпитого алкоголя и мать молодой проводит всю ночь у его постели, ухаживая за ним, осыпая в то же время зятя бранью и упреками; новобрачная делает мужу ужасную сцену за то, что его начальник испортил праздник и причинил массу расходов. Пселдонимов в отчаянии и ломает себе голову, откуда ему достать деньги, чтобы заплатить за выпитые Пралинским две бутылки шампанского; к тому же для него ясно, что ему придется подать прошение о переводе на другую службу, т. к. его начальник осрамился у него в доме и, наверное, не захочет больше его видеть.

На следующее утро Пралинский просыпается от мучительного стыда и бежит из дома Пселдонимова ни с кем не простившись. Он несколько дней остается у себя, никому не показываясь, мучась стыдом и раскаянием. Когда он наконец идет в свою канцелярию, он находит там прошение Пселдонимова о переводе на другое место. Иван Ильич исполняет его желание и дает себе слово отныне поддерживать лишь строго-официальные отношения со своими подчиненными.

Основу всего рассказа составляет почти не прекращающаяся «массовая сцена со скандалом», того же типа, как в «Дядюшкином Сне» или «Селе Степанчикове». Мы уже упоминали, что такие сцены у Достоевского похожи на дурной сон — это особенно ярко выступает в данном рассказе. Скандальное поведение Ивана Ильича не зависит от его воли — он пришел с лучшими намерениями, но все идет не так, как он хотел, а иначе, несуразно и бессмысленно, и вместо того, чтобы показать благородство своих чувств, он срамится. Скандал как бы навязан ему извне, Пралинский скользит в него как в пропасть, не имея возможности ни за что ухватиться, что бы удержаться: это тоже характерное для сна явление. Такое напоминающее сон состояние психологически мотивируется тем, что Иван Ильич пьян и тут мы встречаемся с приемом, уже известным нам из прежних произведений: состояние Пралинского описано в непосредственной близости, развитие скандала обрисовано с его точки зрения, читатель видит происходящее **его** глазами. В какой-то части своего «я» Пралинский полон самых лучших намерений, но эта часть бессильна — он напрасно пытается бороться с другой половиной своего «я», до последней минуты стараясь себя уверить в том, что всё еще можно исправить, хотя в глубине души

сам этому не верит — он с ужасом сознает, что совершенно пьян и потерял всякий контроль над своими действиями.

Психология пьяного изображена с необыкновенным мастерством, причем Достоевский пользуется в этом случае теми же приемами, которые он применял для изображения раздвоенной душевной жизни своих героев. Так же пользуется он здесь и другим своим приемом — противопоставлением двух точек зрения, имеющих одинаковое право на существование: когда Иван Ильич теряет сознание, Достоевский оставляет его и описывает внутреннее состояние домашних новобрачного и его самого. Все то, что читатель до сих пор видел глазами Пралинского, для которого происшедшее было в конце концов лишь странным приключением в неизвестном ему мире, рассматривается теперь с точки зрения несчастного Пселдонимова, для которого всё случившееся — горькая проза, грозящая ему печальными последствиями.

Итак, мы видим, что в этой повести инвентарь психологических приемов тот же, что и в «серьезных» произведениях писателя, но эффект достигается ими юмористический. Можно с уверенностью сказать, что «Скверный Анекдот» — самое лучшее юмористическое произведение Достоевского. В нем нет и следа того каррикатурного преувеличения, которое так неприятно действует на читателя в комических сценах «Дядюшкина Сна» или «Села Степанчикова», а также в юморесках первого периода. В этом рассказе жизненная правдивость и тонкий психологический анализ сочетаются с подлинным юмором. Для современников эффект усиливался еще благодаря элементу актуальной сатиры.

Рассказ «Скверный Анекдот» занимает особое положение в литературном развитии Достоевского. Он связан и с прошлым, и с будущим его творчества, с прошлым, пожалуй, сильнее чем с будущим. Как «Униженные и Оскорбленные» были последним аккордом отзвучавшей уже сентиментальной традиции, так «Скверный Анекдот» является последним отзвуком традиции Гоголя. В некоторых местах можно заметить следы влияния гоголевской стилистики и техники изображения (напр. при описании смятения, вызванного появлением Пралинского, или при описании жителей Петербурга вообще и т. д.), но главное, что связывает рассказ с гоголевской традицией — это тематика, сюжет из жизни чиновников. Но в этой повести видно, насколько Достоевский эмансипировался от Гоголя. О борьбе с ним нет более и речи — влияние Гоголя было уже переработано и «переварено», т. ч. отношение

к нему уже не было проблемой и Достоевский мог теперь, когда хотел, пользоваться гоголевской стилистикой или тематикой, не боясь этим нанести ущерб своей самостоятельности. Новым в «Скверном Анекдоте» является актуальность сатиры, что было результатом журналистической деятельности. Писатель работал в журналах, которые занимались актуальными проблемами русской жизни, он работал в атмосфере полемики, которая явно дает себя чувствовать в «Скверном Анекдоте», как в высмеивании поверхностного либерализма, так и в изображении пьяного журналиста из радикального лагеря.

«Скверный Анекдот» заканчивает второй период творчества Достоевского, и в то же время указывает путь, который приведет писателя к произведениям третьего периода его творчества: это сочетание полемики между различными идеологиями, (философскими, религиозными и моральными) со всей психологической техникой, выработанной в прежних произведениях, а также с приемами изображения и с полифонической структурой. В разобранном рассказе этот путь еще только намечается, но автор на него уже встал, и потому можно сказать, что «Скверный Анекдот» стоит на границе между вторым и третьим периодом творчества Достоевского.

Н. С. Трубецкой

СТИХИ ИЗ СССР*

АКАДЕМИК

Художник болен. Скоро год
Корпит над плохеньким этюдом.
И сердце с каждым днем сдает,
И жив еще каким-то чудом.
Стал желчным и капризным он,
Жену придирками измуча.
Лицо, что выжатый лимон,
Худые руки точно сучья.
То глухо кашляет в кулак,
То требует себе поллитра.
И сохнет в тюбике краплак
За перевернутой палитрой.
О, если б мог он перенесть
На холст свое больное тело!
И все, что здесь на свете есть,
И чем душа его горела.
Но пламенное мастерство,
Дышавшее в работах прежних,
Теперь оно уже мертво,
А он — смирившийся мятежник.
Да, юность... не вернешь ее...
Тогда казался труд забавой.
Где тот огонь? Где то чутье?
Остались только злость и слава.
Остались метры полотна,

---

* Стихи этого поэта мы уже печатали в кн. 69 «Н. Ж.». Мы их получили из СССР. РЕД.

Измазанные разной краской,
Да постаревшая жена,
Да смерть — нежданная развязка.
Портреты в рамах золотых
Для выставок и для продажи,
Сейчас он променял бы их
На несколько былых пейзажей.
Но даже мысль об этом — бред.
Подрезаны таланта крылья.
И сам он и его мольберт
Покрыты юбилейной пылью.
О, Боже мой, окончить дни
Средь титулованных ничтожеств,
И величаться, как они —
«Член Академии Художеств!»

1951 г.

ВЫБОР

Образ твой наперекор разлуке
Не бледнеет в памяти моей.
После дней тоски и смертной скуки
Я люблю тебя еще сильней.

Ничего я позабыть не в силах
И во сне мне снишься только ты.
Значит правда то, что на могилах
Вырастают лучшие цветы.

1952 г.

ВЫЗОВ

Скорей туда! Под влажный шорох!
Под иго капель дождевых,
Где молнии — как синий порох,
А в наших взорах — отблеск их.

Скорей туда! От знойной лени
Все пожирающей земли —
На покаянье, на колени,
На облачные корабли!

Скорей туда! На эти тучи,
Под Бога огненную плеть.
И быть испепеленным лучше,
Чем в гнили медленно истлеть.

Стряхни с себя остаток дрёмы
И всем оставшимся в укор,
Скорей туда! Навстречу грому,
Самой судьбе наперекор!

1952 г.

АРЛЕКИНАДА

Проваливай живей! Довольно!
Мне профиль твой осточертел.
Пойми: бессмертным душам больно
В испорченных футлярах тел.

Изношенно скрипят шарниры
Твоих, марионетка, ног...
Закончить представленье мира
Из ножен просится клинок.

1956 г.

ПЕСНЯ О ЛЮДЯХ

Мне нравятся люди — они хороши.
Во всех отраженье единой души.
Ну, что ж, что убийца? Хотя б и убил —
Вновь ангелом будет, кто ангелом был!

Слепое страданье не знает стыда.
Любой человек — золотая руда.
Нет хуже, нет лучше на небе звезды.
И слезы и дождь — только капли воды.

Различные лица похожи в одном.
Но каждый боится проснуться в другом.
Мечтая о чуде, мы копим гроши...
Мне нравятся люди — они хороши!

1955 г.

УБИЙЦЫ

Не стоит торопиться.
Что можем сделать мы,
Когда придут убийцы
На цыпочках из тьмы?

Их мягких рук в перчатках
Коро́ток краткий суд:
На горле отпечатков
У трупа не найдут.

1956 г.

СОЦРЕАЛИЗМ

Сведем концы, составим табель
Стихами полных трудодней,
Где с Каином вобнимку Авель
Адаму ближе и родней.

И так, вступив в колхоз вселенной,
Собрав высокий урожай,
Еще Прекрасную Елену
Дояркою изображай!

1956 г.

ВЕТЕР С ВОЛИ

Нет, милая, не привкус боли
В моих рискованных стихах.
В них скован март, в них ветер с воли
И слезы на твоих щеках.

Стучи о стенку кулаками,
Разбей чердачное окно —
Там лебеди над облаками,
Тебя забывшие давно.

Он прошумел, крылатый ливень,
Внезапный, как гроза любви.
И мир мятежно осчастливив
Взрывают нежно соловьи.

И настежь распахнув все двери,
Ты прыгаешь с порога чувств
Туда, где я себе не верю
И за тебя не поручусь!

1955 г.

САВИНКОВ*

Авторский перевод с польского.

ВАРШАВСКИЙ ПЕРИОД

23 декабря 1918 года, после четырех с половиной лет отсутствия, я приехал в Варшаву. В то время я был уверен, что мои усилия, пусть даже в самой скромной степени, но могут поставить и поднять проблему польско-русского сближения.

Я надеялся что так называемый «славянский спор» — подходящий сюжет для поэтического словоизлияния, но бессмысленный и вредный политически — перестанет быть неравным спором с той минуты, когда обе стороны в поисках развязки его забудут о пушкинском рецепте слияния славянских ручьев в русском море, а изберут путь указуемый разумом, совестью и необходимостью понимания не только взаимной пользы, но и значения солидарности перед лицом общей опасности.

Я думал о себе, что ни я не являюсь представителем «кичливых ляхов», ни мои русские друзья не претендуют быть «верными россами», удерживающими — с казацкой нагайкой в руке и с перспективой виселицы на всякий случай — кичливых ляхов в повиновении.

Поэтому, вернувшись на родину, я осматривался среди своих и искал тех, которые уже освободились от ложного слогана о «победителе в неравном споре». Я надеялся и верил, что и на нашей польской стороне найдутся люди, понимающие смысл необходимости переступить порог вражды и отчужденности к русским. Я пользовался каждым случаем, каждым знакомством, встречами с общественными деятелями и частными людьми, чтобы выступать за это безнадежное, чуть ли не фантастическое, дело. Я указывал на возможность

---

* См. «Нов. Жур.» кн. 68, 70.

использования исторической конъюнктуры, облегчающей разрешение и окончание этого спора не поэтически, не публицистически, а основательно, справедливо и разумно, по-хозяйски прочно, с перспективой не на годы, а на столетия.

Как я уже упоминал, я выехал из Киева снабженный доверительной и очень секретной (от большевиков) грамотой Союза Возрождения России, уполномачивающей меня, как члена соревнователя Союза, действовать и ознакомлять польскую общественность и польских политических деятелей и правительственные круги с идеями русско-польского сближения, являющимися основным пунктом программы Союза Возрождения в области будущих внешних сношений России со своими соседями, во главе которых из-за духовной, культурной и территориальной близости шла Польша.

В качестве деятельного члена весьма широкой и конспиративной патриотической организации P. O. W. (Polska Organizacja Wojskowa) я имел легкий доступ не только к польской общественности, но и к правительственным кругам, возглавляемым тогда нашим высоким естественным начальником, который в то же время был Главою Государства с почти безграничным моральным авторитетом.

Через рядовых членов организации P. O. W., равным образом при благожелательном ко мне отношении многих влиятельных лиц, состоящих членами традиционного исключительного общества мне удалось в течение сравнительно короткого срока, трех-четырех месяцев, сконцентрировать на своей русско-польской деятельности внимание общественных либеральных и консервативных кругов, а также заручиться благосклонным поощрением Главы Государства. Вскоре я был ему представлен, а так как по происхождению мы оба были представителями древних польско-литовских родов, то в отношении ко мне маршала Пилсудского установился совершенно особый род благоволения, в котором дух родства крови, пожалуй, играл не меньшую роль, чем симпатия и сочувствие старого революционера и государственного деятеля к молодому активисту русской революции и пионеру в плане большой русско-польской политики.

Мои польские друзья по Киевскому моему призыву на службу в P. O. W., незабвенные: Богуслав Медзинский, впоследствии Председатель Сената; Андрей Струг, большой польский писатель; Болеслав Венява-Длугошевский, последний посланник Речипосполитой при правительстве Муссолини; Михаил Сокольницкий, историк и посол в Анкаре; Владислав

Гюнтер, наш посол в Греции и Т. Шетцель, будущий товарищ министра иностранных дел, — все они вместе и каждый порознь, все их друзья и знакомые, уже вросшие в политическую жизнь возрожденного государства, оказали мне, если не всегда полное понимание, то всегда полное товарищеское содействие и помощь.

Когда наступил соответствующий момент, я написал Борису Викторовичу в Париж письмо. В этом письме я ставил проблему возрождения в непосредственную связь с вопросом освобождения отдельных народов России от имперской и навязанной грубой силой зависимости от нее. Я провел параллель между освобождением самой России от кровавой большевицкой неволи и освобождением нескольких национальных меньшинств, которые вопреки своей воле оказались включенными в совершенно чуждое им по целям владычество России над миром. Я писал дальше, что лозунг «единая неделимая» Россия, брошенный романтическими рыцарями белых движений, стал пагубным, прежде всего, для этих движений и таким пребудет навсегда, хотя в борьбе за такую Россию, за ее свободу, отдали свои молодые жизни сотни тысяч белых воинов и погибли многие миллионы крестьян и рабочих, втянутых в водоворот междоусобной борьбы. «Вы Борис Викторович, — писал я в своем письме, — сами мне когда-то сказали, что лозунг «единая неделимая» принес вашей работе больше вреда и потерь, чем большевицкий «мир хижинам, война дворцам». Если вы попрежнему убеждены в необходимости борьбы с красными — как в начале пути к возрождению вашей родины, — если вы в дальнейшем признаете благородные принципы манифеста Союза Возрождения, — приезжайте к нам, отстаивающим в неравной и тяжкой борьбе нашу свободу и по восточной стороне наших окопов и позиций защищающим доступ врагу в границы нашей родины, начинайте отвоевывать, освобождать и возрождать вашу, верста за верстой, уезд за уездом, но не только с пулеметами и саблями в руках, но также и с новым и всем понятным уставом неопровержимой правды, что все люди обладают одинаковым правом на свободу и исходящим из нее правом на счастливую жизнь. Мы вам поможем в разумении общей пользы».

В дальнейшем я сообщил Борису Викторовичу, что я прибыл в Варшаву с полномочиями Союза Возрождения подписанными Д. (Демидовым), О. (Одинцом) и Х. (не помню фамилии) и, хотя моим местным друзьям пришлось несколько раз ре-

абилитировать меня от подозрений здешних простаков в моем шпионстве в пользу империалистического Союза Возрождения России, я не только приобрел полный иммунитет от дальнейших подозрений, но и стяжал некоторый авторитет, в особенности после моего приема у Главы Государства, который меня принял как политического деятеля, а попрощался со мной как с родным.

Я писал, что я представил Главе Государства картину современных русских общественных и политических группировок и характер их эволюции в связи с переменчивым и очень неустойчивым положением в вооруженной борьбе на юге. Глава Государства задал мне несколько вопросов относительно Добровольческой Армии. Мои ответы совершенно совпали с его предположениями, что будущее этой геройской, но неравной и неумело организованной, борьбы не оставляет, к сожалению, никаких сомнений относительно ее результатов. Движение на Волге сперва показалось маршалу заслуживающим внимания, но когда я его ознакомил с именами, маршал с укором заметил: «Но ведь это те же люди, что погубили Демократическую Республику и Временное Правительство».

И наконец, я изложил Савинкову некоторые обстоятельства и подробности моей деятельности. Я сообщил о проектируемой организации польско-русского комитета культурного общения, в котором с польской стороны организаторами были: профессор Петражицкий, граф Владислав Тышкевич, Стефан Оссовецкий и я. Я не скрыл от Савинкова, что я никак не согласился с моими менее осведомленными польскими коллегами, чтобы русскую группу этого комитета возглавил господин Любимов, бывший Виленский губернатор, впрочем, не отвергая его нисколько в качестве рядового члена.

Ответ Савинкова не заставил себя долго ждать. Он очень сердечно меня благодарил, был рад, что я вышел невредимым из Киевского котла, трогательно воздал должное доброте великой княгини Ольги Александровны и усилиям моих русских друзей, спасших меня от немецкой виселицы. В политической части пространного письма, он представил мне полную картину русского эмигрантского разнобоя в Париже, являвшемся в то время несомненным центром русской политической эмиграции. Картина была невеселая, но для меня вполне понятная. В отношении моей инициативы Савинков выказал сдержанное и выжидательное настроение, но я понял, что в этом случае над личным отношением его к сущно-

сти вопроса доминировала политическая тактика хорошего и опытного игрока, тем более, что Савинков горячо настаивал на необходимости нашего свидания, не указывая, впрочем, деталей — где и когда.

Вскоре после получения письма Савинкова я был вызван к Главе Государства. Очевидно он разделял мои взгляды на русскую действительность и соглашался с моим определением возможности русского возрождения, потому что после всестороннего обсуждения политического и стратегического состояния белых фронтов, Пилсудский, без всяких иллюзий относительно их преуспеяния, выразил одобрение идее консолидации русской общественности в Польше, представленной весьма разнообразно, но количественно внушающей оправдание организации политического и военного русского антибольшевицкого движения. Сколько в этом одобрении Главы Государства было благожелательности к идее возрождения России и сколько расчета на стратегическую диверсию по отношению к врагу, с которым Польша была в тяжелой войне, — судить не мне. Вопрос, который я имел основание считать своим, был решен положительно и во исполнение этого широкого плана мне было предложено отправиться в Париж.

Париж

Да, это, по всей вероятности, было в августе 1919 года, когда я впервые в моей жизни вышел из вагона на Северном Вокзале столицы мира. С любопытством осматриваясь в этом вселенском городе, я ехал по окрестности Трокадеро, где на улице Анри Мартэн, жил недавний товарищ моих странствований по стране «взбунтовавшихся рабов», Б. Савинков.

Я не имел намерения воспользоваться гостеприимством его дома. Это по многим причинам не входило в программу наших отношений, но я полагал, что прежде чем бросить свой якорь в этом каменном море, разумнее было бы спросить совет у такого несомненно опытного шкипера и знатока его, каким был Борис Викторович, старый парижанин.

Радость Савинкова искренняя и сердечная меня тронула, как явление для него не совсем обычное, так как я знал до точности все оттенки его сдержанного холода и дипломатических имитаций, имевшихся в распоряжении этого знаменитого артиста, симулятора и художника всяческих жестов и подделок. Мне тоже показалось, что я вновь увидел не только старого знакомого и политического единомышленника, и

это сознание связи обыкновенными человеческими чувствами придало нашей встрече много молчаливой и естественной радости.

Тем не менее было забавно видеть в «этом» Париже безукоризненно элегантного джентльмена, живущего в великолепном апартаменте, того самого Савинкова, с которым еще так недавно приходилось то пробираться капустными огородами в Пскове, убегая от большевицкой «стенки», то колесить в тарантасе зимней ночью по бездорожью донских перелесков в поисках лазейки через красно-белый фронт.

Воспоминания и картины недавнего прошлого были еще так свежи, что впечатление от встречи значительно перешло границы светского, дипломатического и товарищеского обычаев. По крайней мере у меня, в особенности, когда промелькнула мысль, что политика политикой, но азарт общей игры на жизнь и смерть имеет, пожалуй, большие права, во всяком случае, более прочные, чем всё остальное в отношениях людей.

Борис Викторович представил меня Евгении Ивановне, своей жене, очень красивой, элегантной, а главное, симпатичной и безыскусственной даме, еще так недавно деятельной революционерке-террористке, на которую глядя, не хотелось верить, что эти самые, изысканные по форме и нежности руки и пальцы, созданные, казалось, лишь для вышивания или клавишей рояля, еще так недавно заряжали конфетные коробки бомб безжалостным динамитом.

Борис Викторович тотчас-же послал прислугу за моими чемоданами, так как Евгения Ивановна пригласила меня к завтраку, а Савинков обещал после завтрака устроить меня в знакомой, недорогой, но хорошей гостинице, около Опера́.

Как увертюра к «Кармен» вдохновляет и располагает к восприятию героической песни торреадора и способствует лучшему пониманию самоуверенной и распаленной вожделением хабанеры, точно так же артистически и умело приготовленные закуски в совершеннейшем петербургском стиле, подтверждающем на парижской почве философическое значение замороженной водки в жизни сознательного смертного, возбудили, заострили и облагородили аппетит к великолепному французскому завтраку.

Потом последовали задушевные разговоры на все животрепещущие темы. Мое письмо, по собственному выражению Савинкова, было голосом архангельской трубы в пустыне, направляющей паломника на верный путь. Я оценил ди-

пломатическую и светскую сдержанность Бориса Викторовича, который ни прямо ни косвенно не спросил меня, что означают в моем письме загадочные слова: «мы вам поможем». Он имел право спросить, так как это были, повидимому, наиболее значительные слова... но не спросил. Он оказал мне доверие, что это «мы» не значит семья, друзья, партия, класс, что это не левые, и не правые, не лысые, не кудрявые, — но, хотя это звучало туманно, все же должно было иметь свой единственный, пусть засекреченный, смысл.

Спросить не спросил, но в соответствующем месте разговора, в политический и совершенно публицистический текст общих положений, он вставил явно провокационный и совершенно личный пассус...

— Вы затеяли большое дело и я уверен, что прежде чем оно найдет свое оправдание в масштабе исторической удачи или неудачи, ваш Глава Государства первый поймет и оценит его значение.

— Уже понял и оценил, — ответил я кратко.

Так как в этом месте наступила пауза, полная внутреннего смысла, Савинков наполнил бокалы золотым «Жюль Робэн» (конечно, «резерв»), мы чокнулись и одновременно сказали:

— За успех.

Потом мы сообща набросали вчерне план наших общих выступлений, наметили программу встреч и разговоров каждого из нас по мере развития нашей деятельности и прививки нашей идеи на еще не разведанной местной почве.

К нашим общим выступлениям мы решили отнести наши усилия убедить наиболее широкие политические и общественные русские круги, что борьба белых генералов на Дону, в Сибири и во всех других местах с красными войсками Московского Совета Народных Комиссаров ведется из рук вон плохо, не обещает быть понятой, одобренной и принятой широкими народными массами, как лишенная ясных, понятных и приемлемых для народа целей.

Что она не возбуждает и вне России доверия, ибо она никому не представляется борьбой строителей новой жизни за лучшее будущее, а все больше и определеннее кажется карательной экспедицией отчаянных мстителей за уничтожение форм старой жизни. Что ни у Деникина (или Врангеля), ни у Колчака и ни у кого из им подобных голос русских демократов и ведущие идеи мировой демократии не имеют

никакого значения и не предвидится в этом направлении никаких перемен к лучшему. Разве что к худшему.

Что необходимо создать совершенно новую политическую концепцию, вполне независимую от аполитической романтики генералитета, настолько реалистичную и связанную с жизнью, чтобы она могла объединить весь здоровый контрреволюционный потенциал не только русской культурной общественности, политически незначительной и не решающей, но и русской массы, которая, независимо от своего культурного и идеологического уровня, довольно низкого и хаотического, является все-таки, стихией, решающей участь будущего.

Имея в виду эти общие очертания будущей программы, мы решили провести целый ряд встреч. В то время в первой шеренге русской эмиграционной демократии несомненно стояли эсэры, не только по традиции их руководящей роли в русской демократической республике, но и по удельному весу многих членов этой партии, которые далеко не все были только буквоедами революционной грамоты.

После встречи с членами Центрального Комитета партии с-р, находившимися в Париже, мы проектировали разговор с группой социал-демократов, главным образом, имея в виду правых с. д. В дальнейшем мы хотели установить благожелательную связь с представителями партии к-д, с ее парижской экспозитурой с П. Н. Милюковым во главе. И, наконец, мы имели в виду использовать все личные контакты и связи Бориса Викторовича с отдельными влиятельными общественными русскими деятелями, находившимися в Париже, или время от времени появлявшимися здесь: Н. В. Чайковский, В. А. Маклаков, В. Л. Бурцев и другие, хотя бы даже и более правого лагеря, но которым идея русско-польского сближения была бы понятна, как первый этап к развитию идеи польско-русского мира. Мы искали людей понимающих, что польский плацдарм, моральный и территориальный, по обстоятельствам текущего момента является вполне подходящим для организации русского вооруженного патриотического освободительного движения и что это соответствует основным тезисам учредительного манифеста Союза Возрождения России, стремящегося и к возрождению России, и к установлению вечного мира с братской по крови Польшей.

Равным образом Савинков хотел ввести меня в круг своих друзей французов: политиков, журналистов, литераторов, предвидя полезность этих знакомств для наших планов.

Уже спустя несколько дней я познакомился в доме Савинковых с группою англичан, очень активных и достаточно осведомленных в области русских текущих дел и отлично ориентированных в сложностях всех основных проблем. Это были: генерал Спирс, вероятно военный агент при английском посольстве в Париже, его жена, писательница, автор занимательных романов и психологических повестей, капитан разведочной службы Бродерик, сослуживец генерала и друг семьи, и гений английской разведки, таинственный капитан Рейли, все видящий, все знающий, всем интересующийся и притом великолепно владеющий русским языком. До Парижа Рейли несколько лет жил в Москве, знал массу людей, разбирался во всех тонкостях революции и во всех последствиях октябрьского переворота и генеральской контрреволюции. Позднее он опять вернулся в Москву и долгое время был неуловим, но под конец чекисты его схватили и уничтожили.

Англичан очень заинтересовала идея русской организации в Польше для вооруженной борьбы с большевиками, но они не скрывали своего полного равнодушия, как мне казалось даже приправленного тенденцией саботирования, к более широким планам насаждения новых и дружеских отношений между Россией и Польшей. Мое положение по отношению к симпатичным англичанам было более сложным, чем Савинкова. В его личных интересах, а в некоторой степени и в интересах русского дела, англичанам надо было сказать значительно больше того, что я считал полезным и необходимым им говорить, но я не мог рекомендовать Савинкову эту конфиденциальность, ибо это умаляло бы его роль в организации дела и его значение среди русских. Но Савинков, как опытный игрок и вежливый хозяин, отлично понимая мое щекотливое положение и не желая мне делать неприятности, лишал англичан удовольствия полной информации, компенсируя эту внешнюю сдержанность многозначительными полусловами и намеками, тем более разжигающими их любопытство к так заботливо окружаемой туманности. Впрочем я вскоре понял, что как бы я ни желал действовать кулуарно, практически это было неосуществимо.

Излагая политические факты с которых началась подготовительная работа для будущей савинковской организации в Польше, я в дальнейшем буду придерживаться хронологического порядка.

Итак, возвращаюсь ко второму дню моего пребывания в прекрасном Париже, закончившемуся хорошим ужином в ре-

стороне «А ля Бекассе», где-то неподалеку от «Мадлен». Именно тогда я познакомился с ближайшим сотрудником Савинкова по части печати, информации, пропаганды и даже представительства, господином Дикгоф-Дерентальем и его супругой, тоже русской, но еще более загадочного происхождения, прекрасной госпожей Эмэ, с давних пор жительницей Парижа.

В условиях банальной действительности г-жа Эмэ производила впечатление отсутствующей и погруженной во внутреннее созерцание своей поистине необыкновенной и отталкивающей красоты. Если память мне не изменяет, девичья фамилия Любови Ефимовны Дикгоф-Дерентaль звучала необычно: не то Монморанси, не то Монтгоммери, но во всяком случае гордо и древне-аристократически.

Я, быть-может, в своих воспоминаниях и не затронул бы этой светской пары, если бы я мог в течение моего почти трехлетнего знакомства с нею подавить в себе отвращение к ним обоим, или если бы я мог прикрыть равнодушием совершенно необъяснимую отчужденность от них и даже враждебность к ним, и если бы еще не фатальный эпилог знакомства и сложных отношений с ними моего друга Савинкова, стоивших ему жизни в 1925 году в Москве. Я бы мог об этом и не писать, но если бы я умолчал о совершенно непонятной слабости Савинкова по отношению к своему сотруднику и к своей любовнице, тогда образ описываемого мною человека был бы неполным, банализированным его непогрешимостью и, по-моему, неинтересным.

Из сопоставления пост-фактум всех обстоятельств, подробностей и неоспоримых фактов, следует короткая по времени, но мрачная по содержанию история. Г-жа Дикгоф-Дерентaль сперва увлекла Бориса Викторовича в упоительный роман, которому г. Дикгоф-Дерентaль и вблизи, и издали покровительствовал. Для нее Савинков покинул жену и сына и, вопреки предостережениям, не дал убедить себя, что и «она» и «он» сознательно его обманывают и издалека ведут его по заранее предписанному маршруту к далекой цели, на Московскую Лубянку. Когда уже приблизились сроки, сперва супруги «по распоряжению» Савинкова отбыли в Россию на «антибольшевистскую работу» и для приготовления поля деятельности своему патрону, другу и любовнику. Вскоре после этого они вызвали его издалека (Париж — Варшава — Вильно) для того, чтобы тут же в окрестностях Двинска, на якобы

безопасном и заранее вытрассированном направлении, передать его агентам Че-Ка.

Нет никаких сомнений, что уже в то время, в Париже и элегантный «барон», и прекрасная Эмэ, что значит «любить», были самыми обыкновенными сотрудниками чрезвычайки, необыкновенно пошлыми лапсами, приставленными большевиками к опасному врагу с определенным заранее планом действия. И я не могу себе объяснить эту непонятную слепоту и почти детскую доверчивость человека, чей острый ум и проницательность были в течение десятков лет его руководящим инструментом в жизни.

Но в тот тихий осенний вечер в симпатичном углу ресторана, за великолепным ужином еще все было покойно, еще не было мысли, что измена и предательство плетутся тут же рядом. Тайный, еще не осознанный, голос инстинкта о чем-то предостерегал, но его не хотелось слушать и понимать, чтобы не нарушать общего настроения. Красивая и подлая до глубины лживого сердца Люба была тогда лишь прекрасной дамой, концентрирующей на себе взоры многих присутствующих в ресторанном зале. А изящный барон блистал французско-русским светским лоском, любезностью дипломата и излучал аристократическое очарование гран-сеньора, играющего роль демократа, сотрудника и друга грозного террориста и революционера. Савинков из любезности ко мне решил, что в часы свободные от политики Деренталь будет мне показывать Париж. Я должен был сделать над собой усилие, чтобы скрыть свое к нему отвращение, но я сумел это сделать, потому что отказаться я не мог.

Несколько дней спустя Савинков уже успел подготовить нашу встречу на довольно многолюдном собрании с русскими политическими деятелями демократического лагеря. В богатом доме М. О. Цейтлина, под руководством гостеприимной хозяйки, М. С. Цейтлиной, урожденной Тумаркиной, по первому браку Авксентьевой, собрался цвет российской партии социал-революционеров. Кроме них было много выдающихся лиц из других политических группировок и несколько беспартийных интеллектуалов и друзей семьи, принадлежащих к постоянным посетителям этого высоко-культурного дома.

Салон Цейтлиных в Париже был не только местом встречи и общения литераторов, поэтов, художников. Цейтлины, как и Высоцкие, Гавронские, Фондаминские и многие другие принадлежали к той передовой русской — в этом случае мос-

ковской — фаланге состоятельных граждан, которые покровительствовали русской революции не только идейно, но и практически, снабжая революционное движение материальными средствами и всячески опекая революционеров.

Я не могу вспомнить всех, кто был на этом собрании. Помню только, что собралось больше сорока человек, из которых почти каждый представлял известный вес и имел определенное значение по своему имени, революционной или общественной деятельности. Цейтлины были дружны с Савинковым и, независимо от того, совпадали ли его политические планы с их убеждениями, они предоставили Борису Викторовичу все возможности выступления перед авторитетной, хотя и очень сдержанной, а по началу даже холодной, аудиторией.

Некоторую сенсационность собранию придавало и мое присутствие. Многим казалось любопытным послушать странного поляка, который еще так недавно был высоким представителем всероссийского революционного правительства в действующей армии и мандатарием Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов, а теперь прибывшего из Польши в качестве секретного эмиссара польско-русской организации в связи с продолжением вооруженной демократической борьбы с московским правительством.

На собрании присутствовали многие члены Ц. К. партии с. р., несколько кадетов, несколько беспартийных публицистов и писателей. Собралось общество довольно разнородное по своему политическому составу, но однородное в смысле культуры и традиции русской демократии. Эта традиция характеризовалась, в частности, нерешительностью действий, вытекающей из внутренней борьбы идеалистического понятия начала «свободы» с практической необходимостью насильственного обуздания страстей народных масс, легко теряющих в революции не только голову, но и совесть. Это типичное свойство русской демократии сами же русские характеризовали в поговорке: «Не Богу свечка, не чорту кочерга». Пожалуй, в этом проявлялся природный идеализм многих русских, склонность их к метафизическому подходу ко всем проблемам реальной жизни, что конечно часто являлось прискорбным и вредным практически, оставаясь всегда почетным духовно.

Из всех присутствовавших в тот вечер у Цейтлиных я к сожалению уже многих не помню. Из социал-революционеров помню И. И. Фондаминского-Бунакова, Владимира Зензино-

ва, «бабушку» Брешко-Брешковскую и старого эсэра, народовольца Иванова, пожалуй, единственного, кроме хозяев дома и Савинкова, к которому можно было бы применить слово «полякофил». Из этого не следует, конечно, что все остальные были «полякофобами». Были, конечно, и такие, но большинство состояло из далеких и равнодушных, а среди них, по-моему, немало было и таких, кто про себя думали: «что такое Польша, поляки, подумаешь, тридцать миллионов на территории одной Архангельской губернии», и этим глубоким сопоставлением разрешали незначительность польской проблемы вообще.

В то время среди социалистов Савинков был уже на плохом счету, в особенности в глазах членов Ц. К., как более ортодоксальных, которые не прощали ему антикеренской позиции в последние дни республики, но главным образом отворачивались от него за первородный грех его сотрудничества с Добровольческой Армией на Дону, предводительствуемой контрреволюционными генералами. Из-за этого и моя связь с Савинковым, всем хорошо известная, не предвещала для меня особого благоволения собравшихся. Я это чувствовал, но так как все они, как мне казалось, были людьми хорошо воспитанными, а к тому же М. О. Цейтлин, представляя меня собравшимся, очень лестно подчеркнул мои революционные заслуги, то я не терял надежды на благоприятный исход собрания, хотя оно, без сомнения, обещало быть трудным.

Но оно оказалось более трудным, чем я предполагал. Если бы я встретил не завуалированный, определенно враждебный фронт, мне, пожалуй, было бы легче. Потому что значительно легче отбить лобовое нападение противника, нежели защищаться от коварных «апрошей» мнимых друзей, атакующих из-за угла общественного и социалистического приличия.

Все любезно улыбались бывшему военному комиссару Временного Правительства, — их правительства, — а одновременно почти все явно солидаризировались с товарищем В., подвергшим меня явной публичной пытке за смертный грех моей принадлежности к недостойному племени с одной стороны и за дерзость и вызывающую смелость Правительства моей родины противопоставлять какие-то ничтожные силы — большевицкой армии.

Господин В. очень строго и совсем не по-товарищески меня упрекал за мой оптимизм в отношении польско-больше-

вицкой войны, сообщая собравшимся совершенно ошеломительные подробности о польском войске, предводительствуемом барчуками, наряженными в попугайные формы, побрякивающими сабельками, которыми они преимущественно обрезают бороды старым евреям...

— Разве возможно — говорил г. В. — чтобы эти почти опереточные солдаты могли противостоять большевицкой армии...

Так возвещал человек, якобы благожелательный ко мне, но явно не сознававший, что обращается не только к революционеру, но прежде всего к поляку, являющемуся гостем в русском доме. Ему все время казалось, что он исправляет бывшего комиссара революционного правительства, по отношению к которому не требуется подыскивать образы и слова, удовлетворяясь тем более грубыми, чем они эффектнее и чем более соответствуют презрительному выражению лица, не скрывающего отвращения к «барчукам» переодетым в попугайные формы и обрезающим «сабельками» бороды старым евреям.

Как потом оказалось, нападение В. мне не причинило вреда, напротив, в некотором отношении даже помогло, ибо вызвало отпор со стороны некоторых присутствовавших. Это выступление В. порой переходило в шарж, в нем было слишком много эмоции, выходящей за границы светского приличия и это многих оттолкнуло от основных положений В.

Но так как мне — совершенно неосновательно — показалось, что В. выражает мысли всего собрания, я почувствовал желание каким-нибудь подходящим замечанием или шуткой на него ответить. Но выступление старого русского революционера Иванова изменило и мое настроение и настроение присутствующих. Иванов вовсе не был политическим или интеллектуальным авторитетом, ни влиятельной личностью на революционном фронте, но, как это часто бывало в России, его партийный вес определялся количеством лет каторги, страданий и лишений, что покрывало все недочеты таланта и духа.

Иванов прежде всего обратил внимание присутствующих, на то, что обоснование мнений, оскорбительных для нашего друга и польского товарища, на каких-то сплетнях не является ни целесообразным, ни приличным. Он сказал, что единственным, заслуживающим доверия, источником проверки всего сказанного является именно «наш польский товарищ, революционер и наш гость». Ввиду этого Иванов и обращает-

ся ко мне с просьбой, чтобы я, не стесняясь настроением присутствующих, вызванным сообщением товарища В., информировал собрание об истинном облике польской армии, борющейся с большевиками, не только за свою родину, но и за свободу мировой демократии, а в первую голову — русской.

Я еще не успел открыть рот, как вдруг из глубины зала, где на низком диване и в глубоких креслах покоилась возрастная и заслуженная элита, раздался охрипший голос бабушки русской революции — Екатерины Брешко-Брешковской, которая сказала, что Пилсудский — Глава Польского Государства, несмотря на то, что происходит из старой дворянской семьи, является истинным, убежденным и заслуженным социалистом, демократом и защитником трудящихся масс. В этом месте я, воспользовавшись паузой Брешко-Брешковской, поспешил «включиться», начав с учтивой благодарности уважаемой революционерке за лестный отзыв о Главе Польского Государства, и заверил всех, что в Польше, среди польской интеллигенции, конечно, не найдется никого, кто бы из-за аристократического происхождения семьи Брешко-Брешковских усомнился в ценности социалистических, демократических и гражданских качеств здесь присутствующей представительницы этой заслуженной русской семьи.

— Впрочем, — добавил я назидательно, обращаясь в сторону, где дворян, как мне казалось, не было, — в истории освободительных движений, одинаково российского, как и польского, фамилии старинных и больших родов повторяются часто.

В ответ на мое вступление много голов в этом социалистическом и демократическом собрании поощрительно наклонились, понимая значение моих слов, отдающих должное заслугам в борьбе за свободу и тем, кто по рождению и состоянию имели этой свободы столько, сколько хотели и тем не менее боролись за чужую свободу. Затем я дал волю моему красноречию, отвечая г. В., опровергая его нетактичные поклепы и стараясь рассеять впечатление от его невоздержанного выступления.

В частности я сказал примерно так: «А не кажется ли вам, товарищи русские демократы, что история каждого народа представляет собой маятник побед и поражений? Кто мог бы знать, что для уравновешения таинственного закона метафизической справедливости за двухлетнюю оккупацию православной русской Москвы заклятым ляхом и латинистом

паном Станиславом Ходкевичем, гетманом и мечтателем, позднее пришел черед русской оккупации Варшавы на протяжении другой сотни лет. Никто не может предвидеть будущее, но что касается нас, то мы привыкли ждать, сохраняя даже в поражении утешение в уверенности, что за нами не малая, не короткая, а быть-может более старая, чем русская, боевая слава, хотя в истории уже минувшая, но в природе и глубине души затаившаяся в нас побежденных, в наших сердцах и в духе народа. Мне лично кажется, что у нас нет оснований завидовать кому-либо в отношении этой славы и хотя ее не хватило для сохранения нашей свободы, как государства, дружно расхватанного тремя могущественными соседями, лично каждый из нас — тридцати миллионов живых людей — сохраняет в своем сердце чувство сопротивления вполне достаточно, чтобы сознание свободы удержать в душе навеки. И если мы понесем поражение над Вислой, то и вы, товарищ В., будете побеждены здесь над Сеной, в этом самом «картье» которое сегодня кажется вам таким недосягаемым даже для русской большевицкой армии. После нашего поражения уж никто и ничто не преградит дороги на запад победоносным красным полчищам, усиленным миллионами насильно мобилизованных, но озлобленных польских, венгерских, австрийских и немецких рабочих и крестьян. Эти полчища прокатятся уничтожающим всякое сопротивление валом через беззащитную Европу и будут встречены с воодушевлением и горячими симпатиями мировым пролетариатом, совершенно не понимающим истинной сути своей трагической судьбы. Мы, поляки, это хорошо знаем и мы хотели бы верить, что и здесь, в Париже, это знают. Это не мое мнение, это убеждение и здесь присутствующего русского революционера Б. В. Савинкова, который, я думаю, заслуживает того, чтобы его взгляд на действительность был принят во внимание. Борис Викторович подробнее и точнее очертит схему будущей организации политической и военной власти и наметит начальные и основные элементы практического развития наших усилий. Специалисты политики из вашей среды совместно с военным командованием могли бы практически выработать основы отвечающие демократическому характеру предпрития, чтобы не повторились все трагические ошибки диктатур: генеральских, адмиральских и атаманских. Политический комитет, составленный из решительных и опытных политических деятелей будет единственным источником политической и военной власти. Главнокомандующий буду-

щей армией освобождения в вопросах политики будет подчинен Президиуму или Председателю Политического Комитета».

Все это я изложил перед собранием с подъемом и хотя я еще не мог отчетливо осознать, кого я убедил, а кого еще больше восстановил против себя, но инстинктом я уже почувствовал вокруг себя перемену. Почти все поглядывали на меня с бóльшим вниманием, избегая смотреть на товарища В., погруженного в раздумье. Хозяин дома подошел ко мне и горячо пожал мне руку. Поэтому я, обращаясь лично к нему, громко добавил: «Никто не может претендовать на безошибочность, но для реализации своих идей, социалистических и демократических, надо обладать той решимостью, которой так нехватало нашим вождям в 1917 году».

После меня выступил Савинков. Он говорил терпеливо, увлекая сердца и мысли слушателей, как он умел это делать на высокой ступени психологического и ораторского искусства. Прикрашенными образами моего революционного прошлого, он умело превознес мой уездный идеализм до уровня какого-то провиденциального вдохновения и взял в плен присутствующих евреев моим юношеским усердием в обучении членов союза еврейской самообороны боевой стрельбе в Вильно в 1904-1905 году, что по тогдашним условиям было довольно рискованным проявлением революционности. Савинков, как и подобало тонкому психологу и опытному оратору, развеял всякое предубеждение против меня и подогрел любопытство присутствующих, как лично ко мне, так и к нашей задаче. Затем после убийственного анализа генеральских контрреволюционных выступлений Савинков предложил слушателям основы будущей борьбы с большевизмом. Он говорил примерно так:

«Я представляю вашему вниманию, как представителям русской демократии, совершенно конкретную возможность реализации борьбы за будущее России не во имя реставрационных целей русской реакции генеральского толка, а во имя новой демократической идеи устройства судьбы русского народа силою и волею этого же народа через людей, представляющих его стремления и вожделения к новой честной и справедливой жизни, свободной от насильственных и кровавых методов. Эта возможность состоит в том, что повидимому нам обеспечено согласие польского правительства на организацию русской воинской силы из русских добровольцев, силы, которая составит кадры для последующих пополнений при переходе на российскую территорию.

При организации политического центра, предназначенного руководить политической и военной стороной нашего предприятия, мы ждем, что русская демократическая общественность не откажет нам в своей помощи личным участием своих представителей и идеологической поддержкой, что не только внутренне усилит наши возможности, но и придаст им извне должный образ русской демократической инициативы в борьбе за свободу своей родины».

Савинкова все слушали, как говорится, с затаенным дыханьем. Его речь, аргументы, голос, кажущийся зловещим шепотом, на всех производил впечатление, а пронзительный блеск его напряженных глаз приковывал взгляды присутствующих, друзей и врагов в одинаковой степени. Наблюдая эту интересную картину сосредоточения внимания молчащего собрания на ораторе, я ясно понял давно уже предполагаемое мной правило, что не то более важно что оратор говорит, а то, как он говорит и в этом-то и есть ораторское искусство.

Быстро текли дни и недели моего пребывания в Париже. Они преимущественно проходили в встречах с нужными людьми. Мы с Савинковым действовали то сообща, то порознь, в зависимости от целесообразности. Мне было необходимо приобрести благорасположение Романа Дмовского, авторитетного лидера польских националистов, для обезоружения очень влиятельной в стране политической партии народных демократов, за которых стояла часть польского мещанства, р-к, клир и более зажиточное крестьянство.

Дмовский отнесся к моей идее вполне благожелательно, оценил независимость моего решения встретиться с ним, ибо в силу очень сложных причин Р. Дмовский был определенным антагонистом политики Пилсудского, который, в свою очередь, не столько политически, сколько лично, Дмовского не переносил. Дмовский вскоре устроил мне встречу с Огюстом Говэн, редактором влиятельного «Журналь де Деба», человеком широких взглядов, одинаково благожелательным как к России, так и к Польше, который, выслушав мой сжатый доклад о сущности наших намерений, обещал помощь и покровительство, что и не замедлило выразиться в двух обстоятельных и убедительных статьях в «Журналь де Деба».

Вместе с Савинковым мы несколько раз были у маститого Н. Чайковского, который сначала довольно холодно отнесся к проекту русской военной организации в Польше, но будучи непримиримым и страстным врагом большевиков, в конце

концов поощрил нашу идею и согласился на участие в Политическом Комитете.

По желанию Дмовского познакомиться с Савинковым я пригласил их обоих на завтрак. Приглашенный мною одновременно посол Временного Правительства, В. Маклаков, к завтраку не явился, сославшись на болезнь. Савинков понравился Дмовскому, как представитель нового течения в русской демократии, лишенного тех характерных свойств старой думской демократии, с которой Дмовский был знаком, как долголетний депутат Государственной Думы. Но Дмовский Савинкову не подошел, ни самоуверенностью старого политического деятеля с громким мировым именем, ни нетерпимостью по отношению к еврейскому меньшинству, ни довольно упрощенным взглядом на большевицкое будущее России. Но так как благоволение Дмовского к идее русской организации в Польше нам было интересно лишь имея в виду польских националистов, личные качества их лидера не имели большого значения.

Вскоре Савинков устроил большой ужин у «Прюнье», на который пригласил многих своих французских знакомых и друзей во главе с известным Пертинаксом, Полем Буре из «Л'Ордр» и несколькими другими журналистами. Было двое или трое русских, считая и Дерената, организовавшего этот ужин со стороны хозяйственной. Савинков хотел представить вниманию французов наши идеи, складывавшиеся из двух положений: одно — вооруженная борьба с большевиками, как временное, и другое — польско-русское согласие, как постоянное, меняющее в корне польско-русские отношения.

Узнав что я поляк и одновременно русский революционер, Пертинакс настоял на том, чтобы я сделал сжатый доклад о сущности большевизма и о непонятной для современных французов его привлекательности для русских масс. Из моего краткого «экспозэ», которое незачем повторять перед русскими, ибо каждый может произнести такое же, самым важным я считал привлечь внимание слушателей к моему убеждению, что доктрина большевизма, хоть и является глубоко антидемократической, сущностью своего кровавого насилия над имущими классами настолько эмоционально увлекает волю пролетариата, что не требуется никакого разумного и идеологического обоснования ее с точки зрения политической и экономической; она, как яркий и извечный сон униженных и оскорбленных; она в момент своего появления уже в сердцах и душах.

Французы призадумались, что дало мне возможность обратиться к Пертинаксу с просьбой вникнуть в наши идеи и планы и оказать нам содействие не как чужим, а как союзникам, уже находящимся в первой линии борьбы. Пертинакс, торжественный и величественный, поблагодарил меня от имени всех очень сердечно, задал несколько умных вопросов, потом задумался и на мою просьбу выразить более конкретно свои взгляды на проблему помощи русской борьбе за свободу России ответил следующее: «Если бы мы могли и сумели показать нашим пролетариям представленную вами картину и убедить их в ее действительности, мы бы избавились от половины наших внутренних забот, и только тогда мы могли бы подать нашим братьям русским крепкую руку помощи».

Торжественное молчание повисло над этим одним словом — «если бы...»

В краткой речи, без всяких прикрас и литературных ужасов Савинков повторил свою излюбленную схему: большевики побеждают Польшу, переходят в Германию, где их восторженно встретят спартаковцы и озлобленные поражением в мировой войне генералы немецкого Генерального Штаба, мобилизуют при их помощи новые полчища, и... продвигаются беспрепятственно на запад. Кто и где их остановит?

Целью Савинкова было показать, что борьба молодой Польской Республики с большевизмом, это борьба за судьбу и свободу Европы, а может быть и демократии всего мира. Указание на польскую оборонную войну давало Савинкову возможность говорить о проблеме русско-польского согласия, как об историческом вопросе, чрезвычайно важном и неотвратимом ввиду большевицкой агрессии.

Некоторый пропагандный успех эти усилия Савинкова, имели уже на третий день после ужина у «Прюнье», в газетах «Матэн», «Пари Суар», «Журналь де Деба», «Л'Ордр» и в нескольких других появились статьи и информационные заметки, общий смысл которых заключался в предостережении общества и правительства от опасности весьма разносторонних и искусно закамуфлированных большевицких влияний и в подчеркивании пользы для Франции окончания вековой русско-польской распри разумным и долговечным миром, основанным на взаимной дружбе двух этих свободных народов. Для схемы международной политической стратегии Франции польско-русское соглашение являлось вопросом первоклассного значения.

Одновременно происходили частые встречи Савинкова с русскими политическими деятелями демократического лагеря. Там велись не только разговоры, но и горячие, страстные споры, были и принципиальные разногласия, основанные очень часто на предубежденном отношении русских к Польше, все еще в их глазах лишенной исторического прошлого и собственного современного лица. Но и из этих встреч все явственнее вырисовывалась более благоприятная перспектива для практического осуществления плана Савинкова. С одной стороны это свидетельствовало о его разумности, с другой — было несомненным доказательством существования в эмигрантской общественности здравомыслящих элементов.

В этих встречах и разговорах я почти не принимал участия, не желая своим присутствием стеснять русских в их откровенных высказываниях. Когда же совершенно конкретно определились формы новой русской организации, ее связи и согласованность с общественным эмигрантским мнением, мы установили с Борисом Викторовичем уже некие предварительные сроки и этапы ее реализации. Решено было, что я уеду в Варшаву первым, чтобы подготовить наиболее благоприятный климат для зарождающегося русского политического и военного дела и, в зависимости от этого, я или вызову Савинкова в Варшаву, или он будет ждать моего возвращения в Париж.

Варшава

На следующий день после моего возвращения в Варшаву я был принят Главою Государства в присутствии подполковника Богуслава Медзинского, руководителя Политического Департамента Военного Министерства.

На основании материалов, привезенных мною из Парижа, были заслушаны и одобрены общие основные принципы будущей русской организации, определены условия вербовки русских граждан в ряды русских воинских частей и указаны общие границы их автономности и их зависимости от гражданских польских властей и военного командования. Тут же, по моей просьбе, были в общих чертах намечены компетенции различных министерств, их причастность и вхожесть в русское дело, при чем для избежания излишней бюрократической сложности и в целях упрощения сношений Глава Государства предоставил подполковнику Медзинскому право замещать военного министра во всех текущих и практических вопросах русской организации и ее деятельности в

Польше. Равным образом Глава Государства поручил мне официально присутствовать при всех стадиях развития нового русского дела, в качестве его доверенного представителя.

Во исполнение желания Главы Государства я написал Савинкову обстоятельное письмо, сообщая что «по моему мнению» его приезд в Варшаву не только желателен, но и необходим. Конечно, Савинков понял значение этого «моего мнения» и не прошло недели, как Борис Викторович в сопровождении своего генерального секретаря и Любови Ефимовны Дерепталь прибыл в Варшаву.

Пилсудский принял Савинкова сердечно и просто, вовсе не как представителя нового чужестранного политического направления, а как товарища и старого революционера, чем совершенно его очаровал и тронул, тем более что и взгляды Главы Польского Государства на животрепещущие вопросы политической современности, в особенности же российской, убеждали своей простотой и точностью понимания, подтверждая все мнения Савинкова относительно путей ее развития.

После двухчасовой беседы с Пилсудским Савинков так формулировал мне свои впечатления: — если бы все государственные люди на Западе так же понимали задачи и цели борьбы русской демократии за свободу России, как он, самая важная проблема Европы, а быть может и всего мира, была бы уже разрешена.

Дальше Савинков говорил:

— У вас, в Польше, любят повторять, что Пилсудский сошел с поезда социализма на станции «Родина». Одни говорят это с укором и осуждением, или даже с иронией, другие с удовлетворением, одобрением и пониманием глубокого смысла этой фразы, но ни те, ни другие не сознают, что не Пилсудский переменил свои взгляды с социалистических на патриотические, а социализм Пилсудского, реального строителя и государственного деятеля, из теоретического, книжного и революционного стал государственным и народным, ибо иным он не мог быть после того, как стал применяться к живому организму государства и народа.

Савинков с восхищением подчеркивал удивительную способность этого человека просто и, вместе с тем, всеобъемлюще охватывать вопросы мировой политики, чувствовать дух времени и формулировать свой взгляд. Его программа в отношении молодой республики, лишенная всякой крикливой демагогии, сводилась к простой формуле: чтобы всеобщему благоденствию граждан были подчинены все частные, группо-

вые и классовые интересы, чтобы осуществилась широкая земельная реформа, без разрушения высоко-культурных хозяйств, чтобы рабочее законодательство обеспечивало каждому право на труд, чтобы был установлен общественный контроль над частной предприимчивостью, чтобы было введено всеобщее образование и, конечно, осуществлено всеобщее равенство всех граждан без всякого исключения не только перед законом, но и в обычаях повседневной жизни, чего можно достигнуть, и что можно регулировать не столько законом, сколько общественной совестью.

И вот, не прошло и двух недель, как Русский Политический Комитет стал живой действительностью.

(Продолжение следует)

К. Вендзягольский

СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

1901 — 1909 г.г.

Вернувшись в Петербург из Мюнхена, после двухлетних занятий живописью, я был полон желанья прежде всего и тут продолжать учиться на натуре, но сразу же понял, что заниматься с такими же удобствами и свободой, как в Мюнхене, нечего было и думать. В Мюнхене, как и в Париже, было сколько угодно дешевых ателье, в Петербурге же такие студии были наперечет, а брать на дом модель было бы совсем недоступно.

Как вообще «образуется» моя новая петербургская жизнь мне было совершенно неясно, и я находился в полном тумане. Теперь прежде всего нужно было серьезно думать о «земном», о том, какой и где найти источник заработка. Давать уроки рисования? Но у меня слишком маленький опыт (на четвертом курсе университета я занимался с одной девочкой, дочерью сенатора П.) и это занятие мне казалось ужасно скучным; рисовать карикатуры и опять иметь дело с пошлыми юмористическими журналами после Мюнхена мне представлялось уже каким-то позором. Мне не приходило и в голову заняться **портретом,** хотя к этому я, казалось, уже был достаточно подготовлен в Мюнхене — да и как получать заказы на портрет? При этом я все еще тогда витал в облаках и порой мне казалось вообще профанацией «менять творчество на деньги» (как это понять современному художнику!), поэтому я решил, что лучше всего найти постоянный заработок — какую-нибудь работу, службу, занятие, должность, но только чтобы это было делом совершенно посторонним искусству и даже, чтобы никто и не знал, что я ху-

---

* Эта глава воспоминаний М. В. Добужинского прислана нам его сыном Ростиславом Мстиславовичем. Воспоминания М. В. см.: «Н. Ж.» кн. 3, 5, 11, 15, 21, 26, 52. РЕД.

дожник. А у себя «в тиши» делать то, в чем был весь смысл моей жизни...

Тут и стали рождаться планы поступить именно на государственную службу. В те времена, можно сказать, «все служили». Это была старая традиция, которая еще крепко держалась в России, особенно в «чиновничьем городе» Петербурге. Служили потому, что это было «принято» и давало общественное положение, а в будущем какую-то пенсию. Конечно, я думал не об этом, а лишь о жаловании... Я утешал себя тем, что чиновниками были по воле судьбы многие люди искусства, и служба не мешала им быть писателями, поэтами, музыкантами. Служили (иные недолго, другие и всю жизнь) в Министерствах и Глинка (в Министерстве Путей сообщения!), и Чайковский, и Островский, и Салтыков-Щедрин (который был даже вице-губернатором), и Тютчев. Лермонтов, Федотов и Мусоргский — все были офицерами, а Римский-Корсаков морским офицером. Даже Пушкин числился на государственной службе и должен был в иных случаях надевать ненавистный ему камер-юнкерский мундир.

* * *

Хотя в материальном отношении у нас с женой петербургская жизнь, как было и в Мюнхене, была более или менее обеспечена, я знал как не легко моему отцу было поддерживать меня. Это меня тяготило. И еще в Мюнхене я подумывал о заработке. Там только раз я попробовал послать мою акварель в «Югенд», но к моему конфузу получил ее обратно, хотя и с любезным письмом.

Самой интересной и симпатичной и мне и моему отцу, с которым я обо всем советовался, казалась служба в Эрмитаже или в Министерстве Иностранных дел (перспектива консульской службы заграницей!). Но ни там, ни тут не было никакой протекции.[1] Вдруг по наивности мне пришло в голову: Министерство Народного Просвещения («просвещать народ»)! Но когда об этом я написал отцу, он лишь посмеялся над моей наивностью, говоря, что ничего путного в этом Министерстве «Народного обалдения» не видит и видеть не советует!

---

[1] Через несколько лет я попытался поговорить об Эрмитаже с А. И. Сомовым, хранителем картинной галлереи (отцом Кости Сомова, с которым я дружил), но понял, что это невозможно: требовались очень большие знания в истории искусства, которых тогда у меня не было.

На государственную службу я решил поступить исключительно потому, что знал, что в Петербурге чиновники являлись в свое Министерство не раньше 12 час., а то и к часу, значит, я имел бы всегда свободные утренние часы, чтобы заниматься своим делом.

Впрочем, я решился на это с тяжелым сердцем — одно слово «чиновник» меня угнетало. При моем свободолюбии стать «человеком 20-го числа» казалось мне кабалой и чем-то почти позорным. Мне хотелось только видеть себя в учреждении наиболее нейтральном и безобидном.

Однако куда-либо поступить оказалось вовсе не так просто: чтобы быть принятым на казенную службу, было недостаточно моего университетского диплома, даже 1-ой степени, дающего сразу чин X класса — нужна была личная рекомендация. И тут она случайно и нашлась, чтобы нежданно-негаданно поступить... в Министерство Путей Сообщения. Оно как раз и было «безобидным» и казалось вне политики, чего мне и хотелось. Кроме того, было немного забавно: я считал себя с детства «путешественником» и эти «пути сообщения» мне были даже симпатичны.

Все же в связи с моим зачислением на службу пришлось пережить много неприятного, даже угнетающего. Протекция оказалась в лице приятеля всегдашнего моего «Гения покровителя», моего дяди Феди, — Н. С. Терского, который меня знал еще гимназистом и к которому я и был направлен.

Терский был в Министерстве видной фигурой — был тайным советником, вице-директором канцелярии министра и управляющим «отделом по отчуждению имуществ». И в этот самый «отдел» я благодаря ему и мог поступить — но далеко не сразу: там вакансии не было и я сначала попал в другой департамент, находившийся на Итальянской, в красном старинном доме рядом с Пассажем и носивший неуклюжее и тоже, вероятно, старинное название «Управление внутренних водных путей, шоссейных дорог и портов». Очутиться под такой вывеской было неожиданно и смешно, но на деле оказалось вовсе не забавно. Несмотря на протекцию, пришлось с визитной карточкой Терского дожидаться приема у директора этого учреждения много дней подряд. Изнывая от скуки я дежурил часами, слонялся по темным углам коридора, изучал шкапы с пачками «Дел» в синих обложках, перевязанных веревочкой, карнизы, покрытые паутиной и тусклые стекла перегородок. Меня бесила эта дурацкая роль просителя и я казался самому себе униженным и не-

известно за что оскорбленным в своем длинном сюртуке, жалко украшенном университетским значком в петлице, который я зачем-то нацеплял...

После почти целого месяца этого подлинного «хождения по мукам», я был зачислен на службу «сверх штата» и без всякого жалования, но еще с предупреждением, что оное может быть мне назначено через год, а то и через два, когда откроется вакансия на «штатное место»...

Обстановка канцелярии, куда меня посадили, как нарочно была самая удручающая и мне показалось, что снова вернулась гимназия с ее уроками, даже было что-то еще худшее и я себя чувствовал каким-то испытуемым, каким-то разжалованным и точно опороченным.

В огромной, унылой полутемной комнате, где вероятно никогда не мылись окна, и низко свисающие лампочки под зелеными абажурами горели иногда и днем, сидело множество чиновников и мне чудилось, что я среди сослуживцев Акакия Акакиевича. Чиновники были какие-то безликие, старые, поношенные, забытые и забитые, высиживавшие тут свою пенсию и геморрой. Точно это было свалочное место всех этих «чернильных душ», «крапивного семени».

С первых же дней меня вздумал дрессировать на должность мой столоначальник Прозенко (наверное, в прошлом бурсак и попович). Он задавал мне задачи, совсем как уроки, — составлять резолюции по каким-то делам Управления. Эта премудрость была не Бог весть как велика, но я ничего не смыслил ни в шоссейных путях, ни в приморских портах, и проекты моих резолюций вызывали его ехидные замечания и шуточки. Я принимал все слишком всерьез, эти испытания мне были отвратительны и порой все казалось кошмаром.

Дома я избегал даже говорить о том, что окружало меня на службе, я буквально отрясал ежедневно прах, возвращаясь к себе, и понятно, как дорог был мне каждый час моей свободы. Как я хотел иметь хоть лишний часок — сколько бы я успел сделать! Я даже иногда мечтал с отчаяния — будь я в ссылке или в заключении, до какого совершенства я мог бы довести тогда свою графику! (Это было задолго до революции и **тогда** могли быть еще естественны подобные наивные мечтания...)

В сущности, я не должен был жаловаться: злачное место, куда я попал, давало как раз именно то, чего я и ждал от казенной службы: тут действительно не было ничего об-

щего с тем, чем был полон мой внутренний мир. И утро и вечер у меня были, к счастью, совершенно свободны и за те месяцы, когда я томился в этой канцелярии, я очень много успевал рисовать у себя дома. Тогда именно я и начал делать мои первые петербургские рисунки.

* * *

Глупее всего было то, что закабалив себя ради жалования, я на своей службе не получал пока ни копейки! Полагалось выдержать какой-то законный срок.[2] Но как раз именно под крышей этого допотопного учреждения неожиданно открылся источник небольшого постороннего и постоянного заработка. Среди моих скучных и сонных геморроидальных сослуживцев оказался один жизнерадостный молодой человек Мазуркевич, круглолицый и румяный, с эспаньолкой и в золотом пенснэ со шнурком, хохотун и анекдотист, и вдобавок стихотворец — совсем роза среди чертополоха. (Злые языки говорили, что это он автор стишков на шоколадных этикетках, вроде: «как и русский, так и эст, шоколад охотно ест»). Этот добродушный весельчак скоро познакомился со мной (я упорно держался в стороне от всех) и я узнал от него, что он постоянный сотрудник «Шута». От скуки я раз не утерпел и нарисовал в карикатурном виде одного из чиновников. М. подглядел карикатуру и ему пришла блестящая мысль делать вместе со мной еженедельную страницу в «Шуте» «не-дельные (это казалось, вероятно, ужасно остроумно) наброски», и стал меня соблазнять верным заработком. И, увы, как меня не коробило сотрудничество в этом пошловатом издании, я скрепя сердце согласился.

Гонорар был не блестящий — тот, что я получал в том же самом «Шуте», когда был студентом... — 7 р. 50 коп. за страницу, но в месяц я мог все-таки заработать 30 рублей. Эти «тридцать серебренников», за которые я себя продавал, при дешевизне тогдашней петербургской жизни были некоторым подспорьем.

Рисовал я «инкогнито» — вместо подписи ставил монограмму «М. Д.», которая походила на шляпу, и хотя злободневные темы были самые плоские, меня занимало выдумывать общую страничную композицию и упражняться в чи-

---

[2] Только почти через 2 года я стал получать настолько приличное жалованье, что, наконец, мог не пользоваться той субсидией, которую получал от моего отца.

стоте штриха. Приходилось рисовать литографской тушью, острым пером на тонкой кальке и это требовало большой акуратности. Потом я стал изобретать и новую технику, брал литографский карандаш, подкладывал под кальку разные шероховатые поверхности и проч. Некоторые рисунки были все-таки довольно живы и орнаментальны (таких несколько я сохранил).

* * *

Как раз в это время, когда все было так отвратительно (и эта служба и «Шут») приехал в Петербург Грабарь и в моем «падении» я ему сейчас же признался. Он отнесся к сотрудничеству в «Шуте» очень неодобрительно посоветовал это бросить и даже стращал, что если я мечтаю о «Мире Искусства» (это были еще мечты), то там это будет очень «mal vu» (но я и не знал, что сам он в прошлом, студентом, грешил тем же «Шутом», а также «Стрекозой» и «Нивой» — он это скрывал...)

Когда я начал, наконец, получать маленькое жалованье на службе, я смог последовать его совету и на совести стало легче...

* * *

Как это не было досадно и мучительно, но часть своего времени я и после вхождения в «Мир Искусства» продолжал уделять министерской службе, но там для меня произошла большая перемена к лучшему. В начале 1902 года открылась вакансия в «отделе по отчуждению имуществ» при канцелярии Министра Путей Сообщения, я был переведен туда, в главное здание Министерства (Фонтанка, 117) и обстановка моей службы значительно улучшилась.

Было удобно, что Министерство находилось близко от нашего жилища в Измайловском полку, всего в 12 минутах ходьбы (я дорожил каждой минутой утреннего времени и высчитал это). Как сказано, раньше часу никто на службу не приходил, сидели же в канцелярии до 5-ти часов, лишь очень редко задерживались позже и на дом дел брать не полагалось. Но я и тут продолжал тянуть служебную лямку без жалования. Моя должность была «И. О.» (исполняющий обязанности) младшего помощника делопроизводителя. И первое жалование — 45 р. в месяц — было назначено только через полтора года, когда я перестал быть «И. О.» и был «осчастливлен» утверждением в должности и в чине коллежского се-

кретаря. Многие находили, что все это редкое по быстроте начало служебной карьеры и даже поздравляли!!

При этом как-то случилось, что я никакой присяги, как всегда делалось при поступлении на государственную службу, не приносил, и в моем паспорте не было отмечено, что я чиновник. Я продолжал быть окончившим университет с дипломом «1-ой степени и сыном генерал-майора» — что мне давало в дальнейшем право получать заграничные паспорта без спроса у своего начальства.

* * *

Мои сослуживцы в Отделе по отчуждению имуществ были теперь другие, все это были, за редкими исключениями, люди с высшим образованием и молодые. Эта канцелярия считалась как бы «штатской гвардией» в Петербурге, хотя и не была столь «шикарным» местом службы, как Министерство Двора, Иностранных дел и др., но и тут была «золотая молодежь», много бывших лицеистов и правоведов здесь тоже делали карьеру. В общем это были люди хорошего воспитания и то, что называется «люди общества», они были отлично одеты и ношение формы считалось плохим тоном. Виц-мундир надевался лишь в случае личного доклада в Совете Министра, но так наряжались лишь «делопроизводители» и «чиновники особых поручений», которых было мало.

Хотя теперь всё окружающее меня было «чином выше», я чувствовал себя и здесь совсем чужим. Разговоры, которые велись на службе (за стаканом неизменного чая), клонились обычно к картам, скачкам, бегам, клубным происшествиям, злословию и к анекдотам. Взгляды царили, конечно, «нововременские» и снобические. Принимать участие в подобных разговорах мне претило и я держался в стороне, молчал и рисковал прослыть гордецом или чудаком. Года три никто из сослуживцев и не подозревал во мне художника.

Дела, которыми занимались в нашей канцелярии, касались вознаграждения за отчуждавшуюся землю, отходившую под новые жел.-дор. линии. Когда между собственниками земли и жел.-дор. Управлением добровольного соглашения не достигалось, дело поступало в наш отдел и тут решался спор или в пользу владельцев или в пользу жел. дорог. Министерство, конечно, мирволило последним — резолюцию утверждал Совет Министра. В некоторых же более сложных случаях дела передавались на заключение Госуд. Совета. Собственно эта процедура являлась канцелярским судопроизвод-

ством, вроде дореформенного суда. И была настоящей «волокитой».

Помощники делопроизводителей, каким был я, должны были приготовлять по таким делам доклады в Совет Министра, т. е. излагать «обстоятельства этих дел», и составлять проект «заключения» — все это с трафаретными канцелярскими выражениями, чему научиться было нетрудно.

Так как «обстоятельства» этих дел бывали довольно сложные и дела довольно толстые, то чтобы приготовить экстракт из множества документов, надо было иногда порядочно над ними покорпеть. В своих «заключениях» я старался быть «судьей праведным», чтобы не потворствовать «эксплуататорам» — управлениям жел. дорог, которые наровили, конечно, платить как можно меньше за отчуждаемые земли, особенно крестьянам, часто тут одурачиваемым.

Мой прямой начальник, делопроизводитель, доклад этот проверял и обычно жестоко кромсал и от моей резолюции часто ничего не оставалось — шли насмарку все мои старания о справедливости.

Особых юридических знаний эти канцелярские упражнения не требовали и не стоило, конечно, кончать Университет, чтобы вершить подобные дела, и меня удивляло, как люди могли посвящать всю свою жизнь такому скучному занятию.

К счастью, дела по отчуждению не бывали однообразными (мой «стол» ведал отчуждениями под Рязанскую и Московско-Виндаво-Рыбинскую жел. дор.) и моя «работа» монотонной и отупляющей не была. Меня развлекали иногда корявые прошения крестьян — одни самодельные, жалко наивные, другие витиеватые — произведения сельских писарей и «аблокатов» (помню, один стараясь почтительней выразиться, написал: «снисходительно ходатайствую перед вашими сиятельствами»). Бывали и почерки столь забавные и замысловатые, что я копировал буквы, как образчики порой замечательной каллиграфии.

Но как все, что меня окружало и все, чем приходилось заниматься, было далеко от главного интереса моей жизни за стенами Министерства. И какой бессмыслицей казалась эта пустая трата времени! Иногда в этой канцелярии решительно нечего было делать и приходилось лишь высиживать положенные часы, к счастью, не очень долгие. Тогда я тайком порисовывал. И тут за моим канцелярским столом (покрытым зеленым сукном и со многими ящиками) сделано

было много маленьких рисунков, идей разных виньеток, букв, обложек, первых мыслей будущих композиций — и шаржей на моих сослуживцев. И когда я наконец ушел из Министерства все эти ящики оказались полными моих набросков.[3]

* * *

Первые годы моим начальством («делопроизводителем») был А. А. Венценосцев, хлыщеватый, энергичный и быстрый молодой человек в пенснэ и с холеной бородкой, начинавший делать большую карьеру: в петлице его виц-мундира висел Владимир. Он был попович и наверное гордился, что его громкая фамилия рифмовала с Победоносцев (тот тоже был «кутейник»). Отец мой в письме как-то спросил: «Ну, что твой «Звездочетов»? Я проговорился моим сослуживцам и так за ним это прозвище и осталось. Как начальник со своими подчиненными он держался вполне прилично и скоро вознесся от нас в какие-то очень большие бюрократические высоты. Его заменил милейший Мих. Вас. Луначарский, старший и сводный брат будущего Наркома.

Он был типичный украинец, похожий на Тараса Григорьевича Шевченко своей лысиной и усами, был с барской ленцой и громко зевал в своем кабинете. Ко мне и к моему наступившему тогда крайнему нерадению (это было уже на 5-й год моей службы) он относился очень благодушно и с его согласия я даже стал два раза в неделю уезжать из Министерства преподавать в школу живописи Званцовой. Так как школа была очень далеко, то обычно в тот день я и не возвращался обратно.

В громоздкой министерской машине многие винты и колеса просто бездействовали, при чем без всякого вреда для тяжелого и медленного хода этой государственной машины. Она действовала так, как ей и полагалось, ибо всегда находились «без лести преданные» и ревностные служаки, которые работали за двух. Никаких «угрызений совести» от собственной нерадивости, будучи одним из маленьких колесиков машины, я не испытывал, так как служил не хуже и не лучше большинства моих сослуживцев. Иногда, впрочем, Михаил

---

[3] В отставку, как это ни невероятно, я ушел, прослужив почти 7 лет, в 1909 году, когда у меня начались большие театральные работы. Уже три последние года перед этим я решил это сделать, но еще не мог найти в себе мужества бросить службу. Жалование мое тогда было 150 руб. в месяц...

Васильевич меня стыдил: «М. В., голубчик, вы все-таки как-нибудь закончите мне этот докладец». Как можно было после этого жаловаться на службу?

Надо упомянуть, что этот почтенный статский советник был недурной певец — бас, и выступал в концертах и в опере — кажется, в Панаевском театре, и всегда под своей собственной фамилией, Луначарского. Говорили, что он был хороший Борис Годунов в до-шаляпинское время.

Более высоких начальствующих лиц никогда почти не было видно, изредка появлялся приветливый Г. Г. Гильшер, бывший, кажется, камергер и мой добрый Терский, а совсем редко А. А. Ермолов, начальник канцелярии министра, элегантный, слегка согбенный старец. Самое же высшее начальство: министр и члены совета — уже совсем были скрыты от глаз облаками, окружающими вершину Олимпа.[4]

Теперь, на склоне лет, я вспоминаю все те годы моей службы уже без всякой злобы. И как всегда в памяти всплывает больше хорошего, чем дурного... Но тогда, когда все это было ежедневной реальностью и изо дня в день повторялось, я не находил в себе благодушия, не мог примириться и порой во мне подымалась настоящая ненависть и презрение ко всему, что меня окружало на службе. Но все — и угнетающие и отрадные впечатления на ней и люди, с которыми мне приходилось изо дня в день встречаться — всё это было лишь небольшой частью моей тогдашней жизни, а то, чем я жил за стенами министерства и было самое настоящее. Но все-таки эта двойная жизнь не мешала моему искусству. Даже, может быть, наоборот. Я носил в себе скрытый от других мой любимый мир и в этом, конечно, была своя романтика. И как я зачитывался тогда Гофманом...

К счастью, у меня было природное чувство юмора и оно помогало не принимать «кошмара действительности» слишком всерьез. Надо отдать справедливость и тем людям, которыми я был окружен на службе: мои сослуживцы, как я говорил, были тактичны, благовоспитаны и сдержаны, как и

---

[4] При мне переменилось три министра. Я застал еще кн. Хилкова, которого непочтительно прозвали «Хилкач», хотя непочтительного отношения он, кажется, не заслуживал: он был человек «американской складки» — ездил в Америку изучать пути сообщения и, говорят, служил там машинистом на жел. дорогах. В подражание Аврааму Линкольну он брил усы и носил такую же бородку.

полагалось настоящим петербуржцам, и мне нравилось, что они мной мало интересовались, а когда гораздо позже всем стало известно, что я художник, я видел как это импонировало им, начальство же, как я говорил, стало мне давать разные поблажки. Понемногу — «рыбак рыбака видит издалека» — я нашел в той же канцелярии и настоящих моих единомышленников, как и я тяготившихся службой и имевших то или иное отношение к искусству и литературе, что было совершенно неожиданно и вообще замечательно для нашей петербургской жизни.

* * *

Впрочем, наша канцелярия, где делопроизводители пели в опере, а чиновники писали картинки или сочиняли стихи, не была исключением в чиновничьем мире С. Петербурга. В Государственном Контроле, самом бюрократическом и скучном учреждении, заведующий им знаменитый Тертий Иванович Филиппов был музыкант-любитель и много сделал в области хорового пения. В том же Контроле, как я потом узнал, был чиновником В. В. Розанов и тайком от своих друзей служил А. П. Нурок, постоянный сотрудник «Мира Искусства» и один из его столпов, и кто знал, что такое Контроль и знал взгляды «Силена» (как подписывал свои ядовитые статьи Альфред Павлович), это было совершенно парадоксально! Надо еще добавить, что в нашем Отделе по отчуждению имуществ, во главе Юрисконсульской части стоял Деларов, известный в Петербурге коллекционер и большой знаток искусства. (Этого сангвиника с бородой а ля Тинторетто можно было часто встретить на соседнем с Министерством Александровском рынке-толкучке, как и длинного с моноклем старика — барона Врангеля-отца, копающихся в старом хламе в поисках «Жемчужин», которые там действительно можно было находить).[5]

[5] Петербург был настоящее «золотое дно». Рерих и Браз, наприм. не выезжая из Петербурга, собрали замечательные коллекции старых фламандцев и бронз эпохи Ренессанса, выискивая их у петербургских старьевщиков. Александровский рынок притягивал и меня. Было соблазнительно, идя со службы, заходить в его галлереи, где за гроши можно было покупать разные курьезы и «скурильности», вышивки, гравюры, фарфор, и старинную мебель. Теперь даже непонятно, как при наших с женой маленьких средствах я мог собрать столько милой старины, коллекционировать и понемногу так красиво обставить нашу петербургскую квартиру!

* * *

Со мной в одной комнате сидели над такими же как я бумагами и куда-то часто исчезали бывшие правоведы — толстяк Офросимов и усач Зворыкин, — «два Аякса», потом оказалось, что они брали уроки гармонии и контрапункта в Консерватории у Лядова. Они кажется первые, когда я стал вылезать из своего футляра, узнали, что я художник. Как-то сам собой завелся обычай, что возле моего стола собирались «соседи» из других отделений канцелярии и получался род «клуба», что скрашивало унылые служебные часы. Больше всего шумел, ероша свою шевелюру, Н. Н. Евреинов (тоже, как многие другие, бывший правовед), тот самый Евреинов в будущем театральный бунтарь, режиссер, драматург и памфлетист, одно пребывание которого в стенах министерства и среди корректной компании его сослуживцев казалось абсурдом. И вся его фигура — грива волос, бритое лицо (что тогда было редкостью), какие-то клетчатые костюмы, его стучащие по коридорам «американские» ботинки, и громкий голос — всё будило сонное канцелярское царство.[6]

Самым старшим по возрасту среди всех был седоватый и глуховатый Н. Н. Вентцель, писавший в «Новом Времени» часто очень остроумные стихи и пародии под псевдонимом «Бенедикт», который был и превосходный переводчик. Появлялся иногда в этом же кружке и Вейкот, критик и тоже переводчик.

Ближе чем с другими я скоро сошелся с Константином Александровичем Сюннербергом. Он был «чиновником особых поручений» и опять же как и многие в нашем «Отделе», он окончил Училище Правоведения. Он был наредкость образованный человек и настоящий «европеец» (по крови швед). В нем было привлекательно какое-то внутреннее изящество и аристократизм, по внешности же он мог казаться «сухарем» и «человеком в футляре». Он был худ, почти тощ, носил аккуратно подстриженную бородку, был чистоплотен до брезгливости и у него были удивительно красивые руки. Он был весь как бы «застегнутый», даже его очки с голубоватыми стеклами были точно его «щитом», и когда он их снимал, пред-

[6] Он уже был знаменит: поставил в Суворинском театре свою невероятно претенциозную пьесу с ужасным названием «Красивый деспот» (!). Позже Евреинов издал забавную и парадоксальную книгу «Оригинал о портретистах», где вспомнил «Отдел по отчуждению имуществ» и меня среди своих сослуживцев.

ставлялся совсем другим человеком. Вскоре я понял, что ему не менее тяжко на службе и что у него та же двойственность жизни, и это нас еще больше сближало. С ним всегда было интересно беседовать, обоих нас интересовала современная поэзия (он сам писал стихи) и особенно увлекательны были наши беседы у него на дому, когда в них участвовал приезжавший из Ярославля его родственник Байков, профессор Демидовского Лицея. Он был неутомимый и задорный спорщик, и мы засиживались до поздней ночи. У Сюннерберга выработалась своя теория творчества, философски обоснованная, которую он развивал в своих критических статьях, а затем в своих книгах («Красота и свобода», «Цель творчества» и др.) Впоследствии для сборника его стихов «Плен» я нарисовал ему обложку.

Я любил бывать в пустой, приготовленной на лето квартире моего приятеля: без ковров и портьер в комнатах делалось гулко и сами они казались больше, а в окна глядело перламутровое небо белой ночи. Меня все время притягивал широкий вид из окна этой квартиры на огороды с зеленеющими грядами, на черные штабели дров, какие-то задние дворы и бесконечные заборы и на стены далеких разноцветных домов с фабричными трубами позади. И я много раз рисовал этот вид и на этом фоне через несколько лет я сделал его большой поколенный портрет.[7]

Когда я сблизился с кругом «Мира Искусства», я свел Сюннерберга с моими новыми друзьями, но у Бенуа он бывал редко он был там несколько чужим. Также я познакомил его с редакцией Московского журнала «Весы», в котором он и стал сотрудничать. Меня же он ввел в среду писателей и поэтов (Георгий Чулков, Федор Сологуб и Алексей Ремизов у него бывали). Впервые я также встретился у него с Мейерхольдом.

Константин Александрович был женат на очень милой, красивой, полной горения, Варваре Михайловне, с которой вскоре познакомилась и сблизилась моя жена. Их квартира была недалеко от нашей и мы часто ходили друг к другу за все время моей службы и жизни в Измайловском Полку. Он был в курсе всех моих работ. Когда мы переехали в 1909 году в другой район Петербурга, далекий от прежних мест, и я одновременно, наконец, оставил мою службу в министерстве,

---

[7] «Человек в очках», который находится в Третьяковской галлерее (название было придумано Грабарем).

встречаться с Сюннербергом приходилось редко. При этом я очень много времени стал проводить в Москве, в МХТ, и моя жизнь, как и вообще художественная жизнь тех лет чрезвычайно усложнилась — я «разрывался на части» (не помню даже встречался ли я с Сюннербергом в «Аполлоне» — редакция стала тогда художественным центром Петербурга), и дружба наша как-то незаметно и необъяснимо растаяла...

М. Добужинский

ИОГАНН ТАУБЕ, СОВЕТНИК ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА

Иоганн Таубе — участник Ливонской войны времени Ивана Грозного и связанных с ней международных политических комбинаций и интриг. В 1559 году Таубе был взят в плен русскими войсками. Когда четыре года спустя Иван Грозный решил восстановить Ливонское государство под русским протекторатом, Таубе сделался его советником по Ливонским делам. В 1571 году Таубе порвал отношения с царем и уехал в Польшу. Там, вместе с другим ливонцем, Элертом Крузе, Таубе написал записку об ужасах правления Ивана Грозного. Записку эту Таубе и Крузе представили Яну Иеронимовичу Ходкевичу, высшему представителю польско-литовского правительства в Ливонии (в одной из рукописей «Послания» Таубе и Крузе адресатом вместо Ходкевича назван герцог Курляндский Готхард Кеттлер). «Послание» это, несмотря на его полемический характер — один из важных источников по истории опричнины и Ливонской войны. Русский перевод послания напечатан с предисловием Ю. В. Готье в «Русском Историческом Журнале», книга 8 (Петроград, 1922). Перевод «Послания» и вступительная статья к нему принадлежат ученику Готье, Михаилу Григорьевичу Рогинскому (как пишет Готье «трагически погибшему летом 1920 года»).

Большинство историков эпохи Ливонской войны, упоминавших об Иоганне Таубе, основывались для его характеристики главным образом на «Послании».

В ниже печатаемой статье отдаленный отпрыск того же рода, барон Михаил Александрович Таубе дает биографический очерк «первого Таубе на русской службе», основанный на тщательном изучении многих исторических документов различного характера. Ввиду

Эта работа прислана нам проф. Г. В. Вернадским из архива покойного бар. М. Таубе. Мы печатаем ее с некоторыми сокращениями.

РЕД.

немаловажной роли Иоганна Таубе в событиях Ливонской войны и восьмилетней службы его царю Ивану, предлагаемая статья М. А. Таубе представляет значительный интерес для истории России и балтийского вопроса в эпоху Грозного.

Михаил Александрович Таубе, скончавшийся в Париже 29 ноября 1961 г. на 93-м году жизни, — талантливый русский историк и юрист, выдающийся знаток международного права, ученик Ф. Ф. Мартенса. По выходе своего учителя в отставку за выслугой лет, М. А. был избран его преемником по кафедре международного права в С.Петербургском Университете. На Западе признание ученого авторитета М. А. выразилось в избрании его членом Академии Международного Права в Гааге.

Михаил Александрович — автор многочисленных научных работ на русском, французском и немецком языках. Отметим здесь его «Этюды об историческом развитии международного права в Восточной Европе» (по-французски, 1926) и исследование об Аскольде и начале Киевского государства (по-французски, 1947). В 1955 г. в Париже вышла его монография «Император Павел I — великий магистр Мальтийского Ордена» (также по-французски).

До глубокой старости Михаил Александрович сохранил свою исключительную память и свежесть умственных сил несмотря на потерю зрения и сильную глухоту. Его неудержимо влекло к новым научным исследованиям и завершению ранее начатых трудов. В круг научных интересов М. А. входила история его рода, введением в которую и является прилагаемая статья. Михаил Александрович работал над ней когда уже почти ослеп так что статья не могла им быть вполне отделана.

После смерти Михаила Александровича дочь его Елена Михайловна Таубе, зная из моей переписки с ее отцом о моем интересе к его научной работе, любезно прислала мне машинопись этой статьи в мое полное распоряжение, за что я приношу ей глубокую благодарность.

Г. В. Вернадский

Предисловие

Ливонец Иоганн Таубе, родившийся около 1525 г. и скончавшийся в 1583 г. вошел в историю Восточной Европы главным образом только в качестве московского военнопленного, ставшего советником царя Иоанна Грозного и одним из ближайших сотрудников по созданию из ливонских земель, занятых московскими войсками, особого «Русско-немецкого королевства» под протекторатом Московского царя.

Между тем самое возникновение этого, весьма любопытного русско-немецкого политического плана, первая мысль о котором неверно приписывалась то Иоганну Таубе, то самому царю, остается с самого того времени и до настоящих дней недостаточно разъясненной, частью по общей плохой осведомленности балтийских историков и публицистов, частью из-за их принципиально недоброжелательного отношения ко всему русскому: так это было в XVI веке в широко тогда распространенной ливонской хронике ревельского лютеранского пастора Руссова, напечатанной в 1578 году (фанатичного протестанта и руссофоба), так было и в конце XIX столетия с грубым, тенденциозным памфлетом профессора Шиманна, брошюра которого под названием «Два изменника», направленная против Иоганна Таубе и его друга и постоянного сотрудника Элерта Крузе, была наполнена непростительными фактическими ошибками, как следствием его неумения или нежелания добраться до подлинных исторических первоисточников, оставшихся ему просто неизвестными. И весь этот публицистический хлам, в течение более трех веков так или иначе оставлял зловредные плоды в балтийской историографии, несмотря на отдельное фактическое опровержение Элерта Крузе, направленное против фантазии Руссова и напечатанное тоже уже в 1581 году, между тем как злобные фантазии Шиманна вызвали протест со стороны тогдашнего генеалогического главы всего рода Таубе, крупного эстляндского землевладельца, уважаемого и очень известного в свое время Оттона Таубе фон-дер-Иссен.

Чтобы объективно, научным образом разобраться во всем этом поклоннику исторической истины, оставалось только лично проанализировать возможно полное собрание подлинных исторических документов и актов обо всем этом ливонском вопросе XVI-го столетия, — что и попытался сделать автор настоящей критической работы, благо в его распоряжении были не только десятки томов различных исторических материалов XVI-го века, но и все документальные богатства прибалтийских, прусских, шведских, датских, польских и наконец русских архивов, с которыми в течение его долгой жизни ему удалось познакомиться частью лично, частью путем корреспонденции: Ревель, Дерпт, Рига, Митава, Кенигсберг, Стокгольм, Копенгаген, Варшава и Москва.

Эти многолетние архивные розыски дали в конце концов возможность составить богатую коллекцию документальных выписей о всей политической деятельности Иоганна Таубе, —

около ста наиболее важных экстрактов из самых разноязычных документов, на которые в дальнейшем и будут приводиться точные ссылки, могущие быть всегда проверены пока автор их жив, в его богатейшем семейном архиве (в свое время в значительной части вывезенном из Петербурга), а после его смерти в общем родовом архиве всего рода Таубе в отделе рукописей Упсальского университета в Швеции, куда они имеют быть переданными после его кончины.

Гл. I. Иоганн Таубе до взятия его в Московский плен, в 1559 г.

На естественный начальный вопрос настоящей семейной хроники русской ветви древнего балтийского рода Таубе, кто же, собственно, был первым по времени его членом на русской службе, имеется твердо исторически установленный ответ, что это был ливонец Иоганн Таубе, довольно неожиданно, в разгаре великой русско-ливонской войны XVI-го века оказавшийся советником царя Ивана Грозного по иностранным делам, в течение целых восьми лет (с конца 1563-го и по конец 1571 года), закончившихся, как и следовало ожидать, резким его разрывом с кровавым московским тираном и бегством подобно знаменитому князю Андрею Курбскому к польскому королю.

Этот Иоганн Таубе, родившийся в начале 1520-х годов, был сын знатного советника князя епископа Дерптского Вольмара Таубе, владельца тамошнего имения Фира и его жены Доротеи Розен, следовательно принадлежал к самой высшей феодальной знати.

Для иллюстрации выдающегося сословно-политического положения всей семьи Иоганна Таубе в Ливонии здесь интересно отметить, что прадед его Андреас Туве, также бывший вассалом князя епископа дерптского, скончавшийся в 1460 году, надгробный камень которого до сего дня сохранился (как в этом мог убедиться автор этой работы), был погребен в церкви святого Варфоломея в окрестностях Дерпта перед самым ее алтарем, что, конечно, указывает на его выдающееся положение и в светских и духовных кругах того времени. (К сожалению, документальных подтверждений этого предположения пока еще не найдено).

Но в 1558 году вспыхнула война с Москвой и Иоганн Таубе берется за меч, в рядах рижского рыцарского ополчения, которое однако, в следующем же году (в январе) терпит жестокое поражение в столкновении при Тирзене, причем Ио-

ганн Таубе попадает в русский плен. И оффициальная реляция (цитируемая Карамзиным) с торжеством отмечает: «Яна Туве взято, печатника арцыбискупова».

Гл. II. Вступление Иоганна Таубе на царскую службу

Тотчас по пленении Иоганн Таубе получает приглашение царя вступить к нему на службу, отвечает отказом, и вскоре начинает тяжелое странствование по московским тюрьмам, вплоть до конца 1563-го года, когда происходит неожиданная перемена в его судьбе, в связи с радикально изменившейся судьбою его ливонской родины: под ударами московского оружия старая Ливонская федерация пяти местных немецких государств распалась на части,* из коих одни были захвачены шведами и русскими, а ливонский немецкий орден при магистре Кетлере, сложившем с себя это звание, превратился в светское герцогство Курляндское, поступившее в зависимость от польского короля.

Совершенно ясный ответ о причинах этой перемены дает тот основной автобиографический документ, который сам Иоганн Таубе написал для осведомления своих ближайших родственников в Ливонии о своей судьбе в русском плену: это было в первых письмах его, написанных в Дерпт 24 ноября 1563 года (сохранившихся в Прусском Государственном архиве г. Данцига), и затем повторение существа этого письма по адресу его отца Вольмара Таубе, писанное в декабре того же года; близкие же родственники его с материнской стороны, о которых он вспомнил тотчас по принятии его на царскую службу были знатные ливонские дворяне — Генрих фон Тизенгаузен и Лоренц фон Офенберг.

Оказывается, что за указанные первые пять лет его пленения с ним неоднократно виделись, вели с ним политические разговоры и убеждали перейти на русскую службу такие два московские сановника, как известный начальник посольского приказа (то есть царский министр иностранных дел) Иван Висковатый и казначей царский (т. е. министр финансов) Фуников.

Несмотря на самые заманчивые их предложения от имени Иоанна Грозного, Иоганн Таубе еще в течение почти всего

---

* **Примечание:** Вплоть до конца XVI столетия фамильное имя рода конкурентно с верхне-немецким Taube останется еще с нижне-немецким Tuwe согласно с этим наречием употреблявшимся еще тогда в Ливонии.

1563 года отвечал категорически отказом, мотивируя его тем, что оба его прирожденных ливонских государя князь архиепископ рижский Вильгельм и князь епископ Герман были еще в живых и скончались только в течение именно этого 1563 года.

Отсюда следует, что Иоганн Таубе даже в тяжелых условиях плена и русских тюрем не забывал о принесенной им в свое время присяге, а затем следует и то, что и к своей новой присяге, принесенной им торжественно в Москве царю Ивану Васильевичу, он не мог принципиально относиться легкомысленно и, вступая в русское подданство, находился в полном сознании предпринимаемого им политического шага.

Этот акт, совершенный им в Михайлов день (по католическому календарю 29 сентября 1563 года) столь же ясно объясняется как действие сокрушительного политического гипноза, в который попал Иоганн Таубе под влиянием грандиозной картины международного великодержавия Российского Государства, которую он, по возможности кратко, но точно начертал в своих письмах, для убеждения своих влиятельных ливонских родственников и невозможности для раздираемой на партии Ливонии сколько нибудь успешно состязаться с колоссальным государством.

В августе 1563 года происходит необычный неожиданный политический акт.

Возмущенный предательским отступничеством ливонского магистра, Верховный магистр всего Тевтонского Ордена в Германии, престарелый рыцарь фон Вентхейн, согласившись как с германским императором (Максимилианом II), так и с Папой (Пием IV) о необычайно своеобразном новом своем проекте международного устройства, прислал в Москву чрезвычайное посольство со следующим по слухам предложением Ивану IV: русский православный царь, ненавидящий будто-бы «Лютерову ересь» не менее западно-европейских католиков, не примет ли на себя историческую почетную задачу создать из завоеванных им же ливонских земель, вместе с теми, которые он мог бы отторгнуть от захвативших их шведов и поляков, — новое особое «Королевство Ливонское», вполне автономное внутри, но поставленное под протекторат Московского царя, — с постепенным его возвращением к его прежнему рыцарскому католическому строю?

Тщеславный царь, польщенный перспективой сделаться сюзереном настоящего христианского короля, ответил согласием принять к исполнению этот политический проект. Он, со своей стороны, предложил взять на себя роль главы этого

Королевства Ливонского проживавшему в плену в г. Люблине бывшему магистру Ливонского ордена престарелому и высокоуважаемому Вильгельму Фюрстенбергу, смещенному в свое время по интригам того-же Кетлера. Но Фюрстенберг, как будет сказано еще дальше, в начале 1564 г. ответил отказом со ссылкой на свою присягу императору германскому, несмотря на то, что эта его присяга оказывалась в то время уже недействительной, ввиду состоявшейся уже после смерти князя архиепископа Вильгельма рижского новой присяги всего ливонского дворянства, принесенной тогдашнему архиепископу помощнику (коадютору) герцогу Кристофу Мекленбургскому.

Кроме этой первой — и основной политической неудачи в проведении плана «Королевства Ливонского» Ивана Грозного постигли в течении первой половины 1564-го года еще три весьма чувствительных, чисто военных неудачи. Во-первых, его грандиозно задуманный прорыв занимавших эту позицию поляков под его личным предводительством, во время которого он предполагал торжественно провозгласить бывшего магистра Фюрстенберга королем Ливонии, окончился бесплодно вынужденным отступлением русских войск; затем посланная им военная экспедиция в Литву под начальством воеводы князя Петра Шуйского понесла полное поражение от Николая Радзивилла, сам Шуйский остался на поле битвы убитым. И, наконец, — за это время личные отношения другого знаменитого русского воеводы князя Андрея Курбского к явно ненормальному, своевольному и жестокому царю настолько обострились, что Курбский, как известно, в самый разгар неудачной войны с поляками вынужден был перейти на сторону главных противников Ивана IV.

При этих условиях, естественно, что царь решился радикально пересмотреть подсказанную ему из Германии программу политических ходов для установления Королевства Ливонского, сохранив за собою лишь пленявшую его эту идею особого немецкого государства под сюзеренством.

Царь ознаменовывает эту политическую комбинацию новой для него государственной печатью, на которой унаследованный от Византийской Империи двухглавый орел держит в лапах два щитка заимствованных от ливонских территорий.

Таким образом со средины августа 1563 года до начала января 1564 г. московская дипломатия жила действительно под впечатлением упомянутого выше грандиозного международного проекта — восстановления ливонского государства, к подготовке которого, при двойной рекомендации его царю и был

привлечен военнопленный Иоганн Таубе, как бывший канцлер князя архиепископа рижского; а двойная его рекомендация заключалась в том, что на ней, конечно, должен был настаивать подружившийся с Таубе за пять лет его военного плена, начальник посольского приказа Висковатый, а с другой стороны, — столь же несомненно некий Др. Вагнер, секретарь упомянутой выше дипломатической миссии, верховный магистр тевтонского ордена, который, как оказывается, в пятидесятых годах того столетия служил в той же канцелярии архиепископа рижского, то есть иначе, был подчиненным Иоганна Таубе и должен был хорошо освоиться с его выдающимися умственными способностями.

Сведения о Вагнере мы имеем из краткой его биографии, помещенной в великолепном личном словаре профессора Арбузова работников католической церкви.

Таким образом авторство проекта королевства Ливонского является совершенно ясно отделенным от личности Иоганна Таубе, лишь привлеченного к его осуществлению и которому не приходилось «хитрою лестью», по выражению Карамзина, привлекать к себе внимание Ивана Грозного, тем менее, что ему до той поры уже неоднократно, по свидетельству самого Таубе сам царь предлагал поступить на русскую службу.

Легенда об авторстве Таубе и Крузе, якобы этим путем хотевших освободиться из своих тюрем, несмотря на ее, как видим, фактическую нелепость, тем не менее со средины 16-го века и благодаря злобным писаниям, ненавидевшего все русское ревельского пастора Руссова докатилась до самых наших времен не только в лице упомянутого уже выше лживого балтийского германского историка проф. Шиманна, но и современных нам весьма дельных советских историков С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского, которые еще в 1925 году в русском издании записок Штадена сочли возможным назвать «Таубе и Крузе авторами знаменитого проекта создания ливонского королевства».

Верным, конечно, остается, что оба эти знатных ливонца оказались наиболее заметными деятелями проекта, осуществление которого было сопряжено для царя еще с неимоверными трудностями, несмотря на то, что оба они входили в состав того избранного дипломатического корпуса, который, как и в других странах, образовывался вокруг правящего монарха.

Дело в том, что эти трудности отвлекали царя совершенно в другую сторону от принятого им ливонского проекта.

Унаследованные от Византийской империи империалистические идеи и политические тенденци получили себе ряд весьма существенных подспорий в ряде блестящих политических успехов Московского государства на востоке. Первые два особенно удачных десятилетия царствования Ивана IV ознаменовались его «венчанием на царство» как первого русского царя в 1547 году. Завоевание Казани (1552), завоевание Астрахани (1554) первые шаги в Западной Сибири к завоеванию в конце концов целого татарского царства Сибирского, а на Северном Кавказе и на южной Волге подчинение московскому оружию воинственных князей или ханов кабардинских, ногайских вплоть до временного подчинения затем даже самого великого князя московского московскому царю в лице татарского царька Симеона Бек-Булатовича, вскоре, впрочем, разжалованного подлинным московским царем. Вся эта империалистическая эволюция московского государства в сторону Северного Кавказа и среднеазиатских ханств не укрылась, конечно, от бдительного наблюдения «всесветных торгашей», то-есть английских купцов и аферистов, которые немедленно вслед за упомянутыми выше завоеваниями поспешили основать в самой Москве англо-русскую торговую компанию с явным намерением через ее посредство добиться давно желанного захвата торговых путей в средне-азиатские ханства, в Индию и даже в Китай.

А всему этому заманчивому для русско-ливонской политики Иоганна Таубе московскому империализму отвечала в самой Ливонии только отрицательная картина полного развала бывшего единого федерального государства Ливонского, ныне (в 1561 году) прекратившего свое существование вследствие отказа последнего магистра ливонского ордена Готгарта Кетлера от своего более чем четырехсотлетнего рыцарского звания с превращением себя в польского вассала, в форме ленного герцога Курляндии. Эта ливонская катастрофа 1561-1562 годов привела к распадению Ливонского государства на целых десять государственных формаций и к полной внутренней анархии в связи с влиянием (в религиозном и моральном отношении) успехов перекинувшегося сюда из Пруссии лютеранского протестантизма. При этом нельзя упускать из виду, что этот политический развал и в чисто личном отношении приводил Иоганна Таубе к ярко отрицательному отношению к последним представителям тевтонского ордена в Ливонии: дело дошло, ведь, в эти годы до того, что двоюродный брат Иоганна Таубе, один из способнейших сотрудников последнего

князя архиепископа рижского, один из его ландфохтов Июрген (Георгий) Таубе, посланный своим государем послом к великому герцогу прусскому, был предательски убит подосланными к нему немецким орденом убийцами в тот самый момент, когда он садился на корабль для поездки в Пруссию в Кенигсберг (1556 г.); неудивительно при таких условиях, что его двоюродный брат Иоганн Таубе, сидевший в это время уже в Москве, освобожденный от своего военного плена, занимался писанием в стихах «Сатирической истории немецкого ордена в Ливонии».

В заключении двух военных соглашений между Швецией и Россией, только что выше упомянутых — то-есть перемирие 1564 г. после трехлетних военных действий и окончательного мира, и даже союза, между Эриком XIV и царем Иваном в 1567 г. — ближайшее участие должен был по своей службе при Иоанне Грозном принимать именно Иоганн Таубе. В акте перемирия 1564 г. это явствует из того, что этот акт был заключен именно в Дерпте, как постоянном местопребывании Иоганна Таубе, а кроме того в этом соглашении специально упоминается изъятие из военных действий владения фамилии Таубе, замка Этц, который еще в 1555 году в официальном регистре Ливонских крепостей упоминается как наследственная крепость Таубе.

Все это вместе взятое и особенно мирный и союзный договор названных двух государей, состоявшийся у самого Ивана Грозного в его подмосковной Александровской слободе — что не могло обойтись без присутствия все того-же Иоганна Таубе — ясно указывает на твердую решимость тогдашнего московского правительства вернуться на дружественную культурно-политическую дорогу к германско-балтийскому миру, с которой Московія была насильственно сброшена анти-ганзейской и анти-демократической ненавистью Ивана III к Господину Великому Новгороду.

Но такой поворот московской политики, вполне естественный после упомянутого выше отказа б. магистра Фюрстенберга, именно в 1564 г., взять на себя возглавление задуманного царем «Королевства Ливонского» означал уже несомненно разрыв с тем грандиозным, но, как видно, недостаточно продуманным проектом контр-реформации в балтийских краях, появлению которой в Москве в 1563 году Иоганн Таубе только и был обязан своим призванием в политическое окружение московского царя.

Но раз такое призвание состоялось и длилось несколько месяцев до начала 1564 г., то становится также понятным и идеологическое отступление Иоганна Таубе от ватиканско-германско-рыцарской затеи восстановления старой католической Ливонии: ведь он в течение этих осенних месяцев 1563 года, вращался уже в самой толще отнюдь не католических, а протестанско-ливонских течений, которые со времени завоевания Дерпта в значительной степени захватили и самого царя Ивана. Действительно, ведь к этому времени относится и наплыв ливонских военно-пленных в Москву и явное влияние их на царя: тут и высокоблагосклонное его отношение к дерптскому пастору Ветерману, которого он приглашает разбирать драгоценные рукописи, привезенные его бабкой Софией Палеолог из Италии, тут и удивительное для Москвы 16-го века разрешение строить там немецкую кирку, тут и разговоры с протестантами о духовной высоте «аугсбургского исповедания», тут и воздыхания царя о его яко-бы немецком происхождении с платоническими пожеланиями породниться с западными европейскими государствами.

Вот в каких оригинальных и довольно запутанных условиях ливонскому советнику приходилось работать в Москве, стараясь по возможности не приходить в конфликт с сумасбродными пожеланиями своевольного царя и по возможности закреплять, а не ослаблять его к себе благоволение. А ведь за это время действительно (как он сам сообщает своим ливонским родственникам) он, кроме значительного денежного содержания, получает и большое поместье в Рязанской области и имение одного из его братьев в Ливонии и даже удивительное пожалование княжеского титула, с которым он фигурирует в различных московских официальных актах; по свидетельству опричника Штадена, он является даже владельцем подмосковного романовского имения «Спицыно», уступленного ему ни кем другим, как знаменитым шурином царским Никитой Романовичем, братом царицы Анастасии.

Все это блестящее положение при дворе московского царя совершенно мирится с верностью этого якобы «изменника» (по профессору Шиманну!), ибо в самый разгар лифляндско-московских переговоров о переустройстве Ливонии в 1568-1569 годах он является официальным уполномоченным местного дворянства и города Риги.

Все это потерпело крушение в трагическое для всей Восточной Европы трехлетие 1569, 1570, 1571 г.г.

Гл. III. Трагическое для всей Восточной Европы трехлетие

Первый вопрос, разрешение которого ожидается от лица, приступившего к изображению политической биографии Иоганна Таубе, заключается в необходимости определенно выяснить при каких условиях и в силу каких обстоятельств военно-пленный ливонец в разгар московско-ливонской войны мог быть привлечен на русскую службу в качестве политического советника самого царя.

Ответ на этот основной вопрос заключается в том факте, что Иоганн Таубе был привлечен к сотрудничеству в большой международной политике московского государства, в связи с предложенным царю и им принятым неожиданным проектом возрождения ливонского государства под его царским протекторатом.

Но проект этот очевидно мог возникнуть лишь при двух условиях:

1. Старое федеральное государство ливонское должно было быть уже разрушено, что случилось окончательно к 1563 году под ударами русского оружия и

2. Все законные претенденты на преемство власти в главных из составных частей этого федерального государства должны были также исчезнуть с политической сцены; и действительно, втечение того же 1563 года скончались князь архиепископ рижский Вильгельм Бранденбургский и князь епископ дерптский, а попытка лифляндского дворянства выбрать себе государя в лице законного преемника архиепископа Вильгельма его помощника Кристофа Мекленбургского потерпела крушение, ибо герцог Кристоф был предательски захвачен в плен поляками, отвезен в Польшу и освобожден оттуда лишь через несколько лет, с обещанием вернуться к себе в Мекленбург и больше в ливонские дела не вмешиваться.

В конце мая 1570 года в Ревельской крепости произошел военный переворот. Противникам Кляуса Курселя удалось освободить из заключения шведского генерал-губернатора Эстляндии и предать военному суду самого захватчика, то есть, Курселя, как явного бунтовщика и изменника — казненного затем в июне — тогда как его сторонники, дабы избегнуть той же участи, спаслись бегством в Дерпт к Иоганну Таубе.

Все это вместе взятое доказало герцогу Магнусу и его теперешнему суверену московскому царю, что их план за-

владения Ревелем только опоздал в своем осуществлении и лишь требовал новых с их стороны усилий в форме правильной осады этой, считавшейся всюду первоклассной, шведской крепости. К такой осаде московско-ливонские союзники теперь (в конце того же лета 1570 г.) и приступили, подведя к городу громадный осадный материал и грозные, как им казалось, военные силы, но все это с политической точки зрения было втройне неудачно: это, во-первых, потому, что осада совпала с заключительными заседаниями большого обще-европейского конгресса в Штеттине, который был созван для умиротворения наконец балтийских стран, а отнюдь не для дальнейшего подстрекательства к военным распрям, ибо дело шло о заключении мирного договора между уже воевавшими 7 лет Данией и Швецией, каковой договор подписан в августе того же года при участии или содействии императора и королей польского, французского, испанского, английского, шотландского и ряда могущественных германских (владетельных) князей, тогда как царь Московский на этот конгресс не был даже приглашен.

Во-вторых, русско-ливонская осада Ревеля оказалась неудачно начатой летом 1570 г. потому что она непосредственно последовала за возмутившей всю Восточную Европу кровавой и грабительской расправой с новгородскими землями, предписанной совершенно уже обезумевшим Иваном Грозным в его всегдашних болезненных поисках крамольников и изменников; зрелища этой варварской расправы с своими собственными подданными не выдержал один иностранец, близко знакомый с внутренней жизнью московского государства, практиковавший в Москве немец-врач Альберт Шлихтинг, бежавший теперь в Польшу и там составивший подробное донесение о всем режиме Ивана Грозного, отправленное им через папского нунция в Варшаве Папе Пию V, взрыв негодования которого немедленно выразился в отправке тем же путем «бреве» от 9 августа 1570 г., категорически предписывавшего всем и каждому немедленно прекратить переговоры или сношения с московским царством.

3. Наконец, в третьих, ревельская осада лета 1570 года оказалась совершенно неудачной потому, что была очевидно недостаточно подготовлена и через 8 месяцев бесплодных усилий под ее стенами (с августа 1570 г. по март 1571) окончилась для царя и Магнуса катастрофой ее вынужденного прекращения.

Гл. IV Культурно-политическая работа Иоганна Таубе в эстонских областях до появления легкомысленного «короля Ливонии» герцога Магнуса

Первая деловая работа посланных в Дерпт царских уполномоченных для умиротворения и культурно-экономического подъема эстонских земель, занятых московскими войсками, заключалась, собственно, в упорядочении их гражданского управления, пришедшего в довольно хаотическое состояние со времени капитуляции города в июле 1558-го года перед воеводой князем Петром Шуйским. Ведь органы местного немецкого земского и городского управления не были упразднены русскими оккупационными властями и продолжали кое-как существовать, стараясь с ними ладить, но сильно поредели, ибо в Дерпте каноники, помогавшие в управлении князю-епископу, или члены магистрата в Дерпте, а также в Нарве частью тоже были уведены в плен, частью бежали в шведскую половину Эстонии, либо в Лифляндию, занятую поляками. Но чтобы пополнить эти кадры своих ближайших помощников, у Таубе и Крузе не оказалось недостатка: «советники императорские» явились официальными уполномоченными и защитниками их политических интересов перед московскими царями.

Выдающаяся внутренне-административная и внешне-политическая работа Иоганна Таубе в период возникновения Ливонского королевства под руссским протекторатом должна была, очевидно, иметь своим юридическим основанием — формальное полномочие московского государства, с отражением его в официальном титуле нового ливонского любимца Ивана Грозного, а также и в разных царских милостях, выпавших теперь на его долю. Так оно и было на самом деле.

Официальный титул Иоганна Таубе сохранился в его подписи в одном из его посланий уже от 1570 года, обращенном к жителям города Ревеля, в котором он, находясь в непосредственном сопровождении царя во время осады этого города (о сем еще дальше) увещевает их порвать искусственную и новую (с 1562 года) связь со шведами, добровольно войти в состав образуемого царем «Ливонского Королевства»: «Его Цесарского Величества советник и главный начальник, свободный господин и князь».

И все это было накануне полного крушения, ибо 1569 год нанес царской внешней политике три неожиданно тяжких удара, усугубленных несколькими крупными политическими

промахами самого Ивана IV, случившимися в 1571 году — год последнего пребывания Иоганна Таубе на русской службе.

1571 год оказался для внешней политики царя Ивана как и для всего русского народа таким же трагическим, как и предшествовавший 1570. Начался он довольно позорной для русско-ливонской затеи под Ревелем официальной ликвидацией (королевства Ливонского) герцога Магнуса после восьмимесячной трудной осады этого крепкого оплота шведского владычества Прибалтики. Ее пришлось снять (март 1571 г.), а немедленно вслед за этим и вследствие этого сам этот эфемерный «король» был подвергнут тяжкой царской опале. Вместо целого королевства ему пришлось удовольствоваться бедным эстонским городком Оберполеном, отведенным ему на жительство, а одновременно с этим неожиданно скончалась его (вероятно отравленная) ни в чем неповинная невеста, еще не достигшая двадцати лет, княжна Евфимия Владимировна Старицкая, старшая из оставшихся еще в живых членов истребленного в 1569 году ее двоюродным дядей, то есть царем Иваном, семейства князя Владимира Андреевича Старицкого.

Параллельно назревал против неудачных политических комбинаций Ивана Грозного полный разгром его неосмотрительного плана союза с турецким султаном против Западной Европы: этот «союзник» напустил на него своего собственного вассала крымского хана Менгли-Гирея, орды которого уже в мае 1571 г. нахлынули на русские земли, докатившись в конце концов до Москвы, которая была разграблена и сожжена в то время как царь в паническом бегстве и при разгроме его опричного войска поспешил укрыться в Ярославле; он подготовлял для себя отступление на заранее готовые позиции, а именно — бегство в укреплявшуюся для него Вологду по пути к окончательному оставлению русского царства и спасению своей особы якобы безгранично ему преданной английской королевой Елизаветой.

Последняя его попытка спасти положение в России заключалась в уступке Менгли-Гирею давно уже занятых русскими Кабардинских земель и обещании при заключении мира отказаться и от Астраханского царства, — что не мешало Ивану IV-му в то же время поручить тому же Иоганну Таубе примирить его с германским императором и одновременно набирать где только можно наемную военную силу для защиты от ежегодных татарских набегов на южные пределы Московского государства.

Несколько повидимому ободрившись принятыми вследствие всего этого предварительными мерами талантливого воеводы, возвращенного из опалы, князя Воротынского, Иван IV бросается как настоящий параноик в обратную крайность и тотчас после майского набега татар подготовляет для себя и для своего наследника царевича Ивана Ивановича свой похотливый осмотр «невест», согнанных в Москву со всей России.

Из всего этого пестрого сборища фактов, которые клонились в конце-концов к назначению царем на 21 октября свадьбы его на купеческой дочери из Новгорода Марии Собакиной, родился широкий заговор против Ивана IV, в который вошли все так или иначе возмущенные этим правительственным абсурдом, особенно затронувшим одного из бывших любимцев царя, его шурина князя Михаила Темрюковича Черкасского (Кабардинского), который (как только что сказано) терял по политической линии все свои родовые земли, а по семейно-кремлевской линии становился вровень с новой «боярской знатью» из новгородских купцов; вследствие этого этот недавно еще блестящий воевода Ивана IV кончил жизнь в эти дни на колу, не дождавшись поразившего и самого царя неожиданного для него возмездия в форме отъезда обоих его ливонских любимцев — Иоганна Таубе и Эллерта Крузе в разгар его свадебных празднеств — в занятый русскими уже в 1558 году город Дерпт, с попыткой тройным штурмом завладеть его замком, и последующим бегством их в занятые поляками ливонские земли.

На естественно возникающий здесь вопрос, какие же деловые функции были в службе Иоганна Таубе при Иване Грозном, столь пышно охарактеризованной в его титуле, точный ответ содержится в многочисленных документах и актах, касающихся его политической деятельности в Московии, частью уже упомянутых выше, частью же (и более подробно) характеризуемых в дальнейшем нашем изложении:

I. Советником при царе Иоганн Таубе являлся только **как личный его советник** по разным политическим делам, в особенности, конечно, так или иначе связанным с царским проектом королевства Ливонского; действительно, ни в одном документе он не назван советником в обще-государственном смысле, то-есть, иначе — думным дворянином и младшим членом Московской Царской Думы (бояре, окольничьи и думные дворяне). Напротив, до Иоганна Таубе в качестве личного советника царя доходили самые разнообразные полити-

ческие дела, интересовавшие в данную минуту Ивана Грозного, и в этом отношении чрезвычайно любопытно, что первое же обширное послание Иоганна Таубе к главным его знатным родственникам в Ливонии, написанное вскоре после его вступления на царскую службу (из Дерпта 24 ноября 1563 года), содержит в себе сжатый, но чрезвычайно полный и ясный очерк всего обширного круга тогдашней внешней политики Московского государства, — того, что в настоящее время на дипломатическом языке так охотно называется «Tour d'Horizon»: здесь и Польша, и Швеция, и Дания, и Германская империя и Ганзейские города; здесь и Ватикан, и гроссмейстер немецкого ордена, и английская королева и даже загадочный граф фон Арт, захваченный и казненный поляками в том же 1563 году. Только об азиатских, татарских, турецких делах Иоганн Таубе не упоминает. Все это объясняется конечно тем, что его ближайшим осведомителем и другом являлся глава Посольского Приказа Иван Висковатый.

II. «Военоначальником в Лифляндии» Иоганн Таубе являлся в 1570 году, конечно, только в качестве непосредственного посла самого царя и короля Магнуса, начальника смешанного русско-немецкого экспедиционного корпуса, занятого тогда осадой Ревеля.

III. Странное для настоящего времени титулование себя «бефрейтер герр», то-есть «свободный (или даже освобожденный) господин» было для XVI века в немецких землях обще-известным термином для обозначения дворянина, повышенного его государем в ранг барона, изъятого по идее из юрисдикции общих государственных властей и подчиненного непосредственно этому государю; а в условиях тогдашней русской действительности такое наименование довольно удачно соответствовало кругу лиц, взятых Иваном Грозным в свою «опричнину», в которую, по свидетельству Штадена, был включен как раз Иоганн Таубе.

IV. Что же касается его княжеского титула, то, как это ни удивительно, для такого пожалования иностранцу в Московии XVI-го века, приходится признать, что история русского дворянства просмотрела этот любопытный факт: «князь Иван Тув или Туб» постоянно упоминается в тогдашних московских военных, дипломатических и поземельных актах, кроме прямых свидетельств об этом тогдашних пленных ливонцев, немецких летописцев и самого царя.

Само собою разумеется, что под всю эту пышную титулатуру царем был подведен соответствующий «матерьяльный субстрат»: в форме денежного содержания и пожалования недвижимой собственности (в частности в Рязанской земле), о чем сам Иоганн Таубе и упоминает в своем письме к родственникам от 24 ноября 1563 года; а от все того же Штадена мы узнаем, что в его собственность перешла, к сожалению неизвестно при каких условиях, даже Подмосковная, и при том не от кого другого, как от самого знаменитого «шурина царского» то-есть воеводы и боярина Никиты Романовича, брата царицы Анастасии и родоначальника Дома Романовых. Вот каким именитым и близким к самому царю был этот якобы «авантюрист» Московии, все влияние и значение которого в Московии 1563-1571 г.г. так основательно недосмотрено старыми и новыми историками.

Гл. V. Ливонский заговор для свержения Ивана Грозного, разрыв Иоганна Таубе с царем и бегство его к полякам

Неожиданный для всех в Московском государстве и в особенности огорчивший самого царя резкий разрыв с ним Иоганна Таубе в октябре 1571 года произошел в такой необыкновенно сложной политической обстановке, что становятся совершенно понятными самые разнообразные, но одинаково ложные попытки современников и последующих балтийских писателей объяснить это событие, роковое для всей прибалтийской политики Ивана Грозного.

Чтобы объективно разобраться в этом вопросе, необходимо, конечно, точно установить известные нам об этом факты, ответить критикой на их ложное объяснение и наконец постараться заново их объяснить в свете сделавшихся нам известными новых фактов.

Фактически в октябре 1571 года в пределах Московского государства произошло следующее. К концу брачных торжеств по случаю третьей женитьбы Ивана Грозного (о которой упомянуто выше) Иоганн Таубе со своим постоянным сотрудником Крузе неожиданно появляются в Дерпте, где при помощи своего небольшого ливонского отряда внезапным наскоком захватывают замковую гору. По изображению ливонских летописцев это происходит в воскресение (21 октября) во время обычного послеобеденного отдыха всего

населения, но вскоре оправившийся от неожиданности русский гарнизон крепости, подкрепленный подоспевшими из пригорода отрядами вступил с захватчиками в борьбу, во время которой сразу и пал начальник немецкого отряда Рейнгольд Розен, что и послужило сигналом к отступлению и бегству его людей, так что Таубе и Крузе, видя неудачу своей попытки только и успели, захватив своих жен и детей, ускакать вон из города. Направились они однако вовсе не к полякам, а в северо-западные ливонские пределы, находившиеся, если не под прямой властью, то под влиянием короля Магнуса, а именно из замка Эрмесс Иоганн Таубе извещает 26 октября 1571 года шведское начальство Ревеля, что он покинул царя Ивана и просит принять его под свою защиту, и только, получив отказ на эту свою просьбу он направляется в пределы Ливонии, занятые польско-литовскими войсками. А в это время, видя неудачу его дерптской попытки, опальный король Магнус вместе с начальником набранного для царя Ивана наемного немецкого войска Юргеном Паренсбахом скачут в Москву к Ивану Грозному, который милостиво и встречает своего опального вассала.

Эти факты уже проливают некоторый свет на закулисную сторону измены Иоганна Таубе, но окончательно вся загадка разгадывается благодаря следующим новым данным, оставшимся неизвестными балтийским историкам:

I. В конце 1570 года еще во время осады Ревеля Иваном Грозным Папа Пий V, на основании сокрушительного донесения Шлихтинга о зверствах царя Ивана, шлет через своего нунция в Польше дель-Портико, приказ немедля прекратить всякую работу с Московским царем, что прямо и должно было коснуться и Иоганна Таубе, ибо ведь с самого конца 1563 года, если он и работал на службе Ивана Грозного, то это было, как мы видели выше, в непосредственной связи с папской же политикой в прибалтийских странах; следовательно, с конца того же года можно и должно было ожидать разрыва между царем и «князем Иваном Тувом», который и сам теперь убедился в невозможности работать вместе с умалишенным тираном.

II. К этому очевидному решению Иоганна Таубе покинуть московскую службу должен был, повидимому, активно присоединиться и обиженный царем король Магнус, который однако резко повернул к царю, как только выяснился провал дерптской попытки Иоганна Таубе.

III. В этой же политической конъюнктуре участвовал, как мы видим, Юргенс Паренсбах, войско которого очевидно должно было питаться из русской казны Ивана Грозного, но осторожно спрятанной им именно в Дерпте после кровавой новгородской экзекуции, и в руки Иоганна Таубе, как мы видели, не попавшей.

IV. Приблизительно через год тоже ранее опальный князь Воротынский, приглашенный на роль начальника русской половины набранного Иоганном Таубе войска — талантливый военный инженер, укрепивший защитный фронт Оки и весною 1572 года разбивший на голову крымских татар — получает от царя в награду, к вящему изумлению современников и последующих историков вплоть до наших дней, приказ о своей смертной казни.

Всё это вместе взятое дает, как нам кажется, единственно возможное рациональное объяснение московских событий этого времени: Иоганн Таубе, решив порвать с царем, собирался делать это не в форме простого бегства к полякам или шведам, а на путях государственного переворота в Московии, все козыри для которого, как ему справедливо казалось, сосредоточивались в это время в его руках, но всё сорвалось после провала его дерптскаго плана, очевидно опиравшегося на еще слишком незначительную силу.

А засим начался уже новый период его жизни и политической деятельности — в польско-литовской Ливонии под эгидой польских королей Сигизмунда II Августа и Стефана Батория, которые и создали для него в Польше и в Ливонии положение в государственном смысле не менее влиятельное и блестящее, чем это было в Москве или занятом литовскими войсками Дерпте.

Бар. М. А. Таубе

ЭТЮД О СКУКЕ

Может ли скука быть интересной, стоит ли заниматься вопросом о скуке? Это звучит парадоксом, но, конечно, здесь допущено смешение теоретического и практического планов. Никто не хочет скучать. Скука приходит сама собой — «и бегает за ним она как тень иль верная жена» (хандра — та же скука).

Другое дело — скука как предмет философской рефлексии или художественного изображения. Что касается последнего, — чеховская «Скучная история» может служить примером интересного рассказа о скуке и безнадежности. Философия и психология пользуются меньшей популярностью среди читательских кругов, чем литература. Но для тех, кто любопытен ко всему человеческому с познавательной точки зрения, — тема о скуке может представить некоторый интерес, разумеется, если скука описана не скучно. Но судить об этом — не дело автора.

* * *

Среди отрицательных и всем знакомых состояний человеческого духа скука занимает одно из важных мест. Недаром Байрон говорил, что жизнь человеческая, подобно маятнику, колеблется между страданием и скукой.

Страдающий человек, в периоды тяжелых страданий, вероятно, предпочел бы из двух зол скуку. Но и скука может достигать такой опустошающей степени силы, что иной удрученный скукой, может быть, предпочел бы иногда страдание, лишь бы избавиться от ощущения гнетущей пустоты, сопровождающей скуку. Мы скучаем, когда нам нечем себя занять, и когда в нас ослабевает мотор внутреннего сгорания страстей.

В известном смысле, скука есть буржуазное состояние духа, так как у перегруженного работой человека, отягощенного заботами, вряд ли будет время для скуки. Но в нашу эпоху индустриальной цивилизации, когда у людей стало больше времени для досуга, ощущение скуки становится до-

стоянием едва ли не большинства, по крайней мере, в известные моменты.

Интересно, что многие скучные, в сущности, люди сами отнюдь не скучают, хотя и навевают скуку на других. Но тем больше ответственность скучающих за свою скуку, за то, что они довели себя до состояния скуки. Конечно, к скуке способны лишь существа одаренные разумом.

Вспомним пушкинского Мефистофеля: — «Вся тварь разумная скучает...» Скука есть одна из оборотных сторон человеческой одаренности. Но, конечно, если скука — одна из человеческих привилегий, то это — «privillegium odiosum», и похвала скуке была бы не больше чем оригинальным парадоксом, ибо в скуке и окружающая среда, и самое «я» скучающего ощущаются как нечто постылое, надоевшее, достойное осуждения. При этом эта постылость не достигает слишком острой степени, ибо с остротой ощущения скука потеряла бы свою скучность, превратилась бы в тоску, в которой есть стремление к ведомым или неведомым ценностям. Но для скуки характерно именно отсутствие остроты ощущения — некая застылость эмоций.

Скука есть, в сущности, депрессия, но — депрессия в состоянии само-рассеяния, разреженная депрессия. Скука есть разбавленная депрессия, так же как депрессия есть застывшее отчаяние.

Большинство людей ищет спасения от скуки в развлечениях и отвлечениях, вообще, в возбуждении, обычно путем применения внешних, механических средств. При ощущении пустоты, гложущей скучающего, он стремится заполнить себя почти любым содержанием, лишь бы избавиться от этого ощущения. Скука — стимул большинства нынешних развлечений, которые на время заглушают чувство пустоты. Современная же индустриальная цивилизация предоставляет богатый выбор средств для избавления от скуки — кино, телевидение, быстрая езда на автомобиле, на моторной лодке и так далее. Этим я, конечно, не хочу сказать, что эти виды развлечений всегда объясняются бегством от скуки.

Спортивные и художественные наслаждения, например, являются результатом стремления к положительным ценностям. Нормальный отдых также не содержит в себе обычно элементов скуки. Но излишне подчеркивать, какой большой процент развлечений объясняется стремлением просто убить время, забыться, то-есть, избавиться от скуки.

Но убийство времени есть тоже своего рода преступление, именно потому, что, как говорил Бергсон, время есть сама жизнь. Поэтому всякий убивающий время есть своего рода преступник. Афоризм Петра Великого «промедление времени смерти безвозвратной подобно» применим и к скуке, в которой время замедляется, течет по пустому, и буквально теряется в небытии. Убийство времени есть убийство живых возможностей, ибо время дано нам для его использования, а возможности — для их воплощения. Скука есть всегда предощущение небытия, о котором было сказано, что оно есть нечто до того пустое и скудное, что нельзя пролить достаточно слез над таким жалким состоянием.

В этом — отдаленное родство скуки со страхом, хотя различий здесь больше чем сходства. В страхе небытие предстоит нам, как грозная возможность, от которой надо во что бы то ни стало избавиться. В скуке же небытие не грозит поглотить нас, но лишь развертывается как наводящая тоску однообразная панорама. В скуке небытие замаскировано как покров томящего однообразия. Именно по этой причине набившего оскомину однообразия, такой серой скукой веет, например, со страниц советской печати. Поэт Блок хорошо выразил однообразие скуки в известном стихотворении:

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет
Живи еще хоть четверть века
Все будет так. Исхода — нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все как встарь.
Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь.

Скучающему становятся постылыми слишком привычная обстановка, друзья, знакомые, родные — кроме тех, кто может развеять его скуку. Главное же — ему постыло его собственное «я», он сам. Это, так сказать, статическое однообразие, порождающее пароксизмы скуки. Но однообразие может быть и «динамическим», при условии его механизации. Такова идея «кошмара вечных повторений», с надрывом проповедывавшаяся Ницше, в качестве «апофеоза имманентности». Но у Достоевского, высказавшего эту мысль несколькими годами ранее Ницше, идея эта разоблачается во всей ее томительной скучности. Недаром ее высказывает чорт — двойник Ивана Карамазова: — «Да ведь теперешняя земля

сама, может быть, биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечное количество раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. *Скучища неприличнейшая».*

Но из космогонии опустимся на землю.

Внешние средства отвлечения помогают, конечно, рассеять скуку. Но исключительное прибегание к одним внешним средствам еще более укрепляет твердыню скуки — собственную неприкаянную самость, подобно тому как курение доставляет временное разряжение нервного напряжения, но с каждой затяжкой курящий все более делается рабом своей привычки.

Как это ни парадоксально, но погоня за искусственными возбуждениями, развевая скуку внешне, еще более утверждает ее изнутри. Об этом хорошо говорит Бертран Рассел: — «Жизнь, слишком полная возбуждений, — изнурительная жизнь, в которой появляется нужда во всё более острых стимулах, чтобы привести человека в состояние известного волнения, без которого наслаждение — неполноценно. Человек, привыкший к слишком острым возбуждениям, подобен человеку, одержимому пристрастием к перцу. В конце концов, он не ощутит удовольствия даже от такой порции перца, от которой другой задохся бы».

Отсюда Рассел делает заключение об известной «пользе скуки». «Элемент скуки неминуем при стремлении избегать слишком острых возбуждений. Конечно, возбуждение тоже необходимо, но, как везде, дело тут — в количественном пределе. Известный элемент скуки существенно важен для счастливой жизни, и это — одна из истин, которую полезно преподать молодежи».[1]

Из контекста ясно, что Рассел имеет в виду готовность переносить периоды скуки, наступающие как реакция после моментов возбуждения, равно как и готовность заниматься скучным делом, если это нужно для достижения отнюдь нескучной цели. В этом духе он делает интересное наблюдение, что «все гениальные книги содержат скучноватые места».

Как видно отсюда, Рассел имеет в виду главным образом, виды скуки, которые мы назвали бы «оправданными». Но он

---

[1] B. Russell. The conquest of happiness. 1930, N. Y. chapter on boredom.

мало говорит в своей статье о той внутренней скуке, о которой у нас идет речь. Ибо мы имеем в виду подлинную, хроническую скуку, коренящуюся в ощущении пустоты собственного «я», а не иные, более поверхностные и более оправданные виды скуки. На скучной лекции, попавший на нее, естественно, будет испытывать скуку, и это будет здоровой реакцией на скучную лекцию. Многие умные и талантливые люди, попав поневоле в скучное общество, реагируют на него ощущением оправданной скуки. Трудно также не зевать над скучной книгой, которую почему-либо нужно прочесть.

Мы имеем в виду не эти субъективные реакции на объективную скуку, а в первую очередь те виды скуки, которые возникают вследствие неумения или нежелания человека заполнить свое время ценным содержанием. Иными словами, мы имеем в виду скуку, в которой повинен сам скучающий. Такого рода внутренней скуке подвержены все те, кто не умеет «занять себя», кто перелистывает страницы жизни без вниманья, кто не преследует в жизни ценных целей.

Скуку, конечно, не испытывает тот, кто занят творческим трудом, соответствующим его склонностям и призванию — по крайней мере, в периоды такого труда. Если же творческого человека все же охватывают припадки скуки, то это бывает вызвано, по большей части, или реакцией на творческий подъем, или контрастом между его повышенными требованиями и окружающей обстановкой. Кроме того, творцы, как и все смертные, подвержены моментам или периодам «самоповинной» скуки: — «Пока не требует поэта...»

Другое дело — когда люди заняты внутренне чуждым или объективно неинтересным трудом. Хотя в самые часы работы, даже механической, особенно скучать не приходится, ибо от этого пострадало бы качество работы, — все же такая работа оставляет длительное ощущение неудовлетворенности и толкает в часы досуга искать утешенья в различного рода эксцессах, начиная с карточной игры и кончая злоупотреблением наркотиками.

Было бы, конечно, стилизацией искать причины подобных эксцессов исключительно в скуке. Почти у каждого бывает достаточно жизненных неудовлетворенностей и помимо скуки — семейные нелады, неудачи по работе или службе, неудовлетворенное честолюбие, несчастная любовь и прочее. Но не в малом проценте случаев именно скука, коренящаяся в ощущении внутренней пустоты, толкает людей на злоупот-

ребления безвозвратно текущим временем, и на бесполезное или вредное его псевдозаполнение.

Если легкая скука — состояние сравнительно безобидное, из которого к тому же легко найти выход, то, когда скука достигает степени гложущей внутренней пустоты, она может явиться источником немалых зол. Въевшаяся в человека скука есть симптом утери индивидуального смысла жизни, когда теряется и самый вкус к жизни.

В таких случаях пустота скуки может толкать агрессивные натуры на самые неблаговидные поступки, на необузданный разврат, иногда даже на преступления (в газетной хронике попадаются — слава Богу, редко, — ссылки на случаи, где преступники, обычно юноши, ссылаются на гложущую их «скуку» как на причину преступления).

Слова пушкинского (не гётевского) Фауста: — «Мне скучно, бес...» — приобретают, в свете этого, символическое значение: чтобы избавиться от скуки, иной человек готов прибегнуть к помощи дьявола.

Оргии холодного разврата, не скрашенного никаким живым чувством, хорошо показаны в итальянском фильме «La dolce vita», где герои и героини буквально заживо разлагаются от скуки.

При утрате ощущения индивидуального смысла жизни, яд скуки может отравлять все радости и наслаждения жизни. В таком случае даже эротическая страсть может таить в себе скуку, как об этом свидетельствует Блок — поэт, прошедший через опыт скуки:

Но ты меня зовешь,
Твой ядовитый взгляд иной пророчит рай.

Я уступаю, зная,
Что твой змеиный рай — бездонной скуки ад.

Вообще говоря, называть скуку адом есть поэтическое преувеличение, ибо есть состояния невыносимее скуки — угрызения совести, отчаяние, глубокая депрессия и т. д. Но в нашем понимании скука и есть разреженная депрессия. В скуке есть момент угрызения совести за неумение или нежелание выйти из порочного круга внутренней пустоты. В этом смысле можно иногда говорить об «угрызении скуки».

По существу, скука есть одна из форм злоупотребления свободой, но не активная, а п а с с и в н а я форма этого злоупотребления. Верно, что мы не делаем скуку — она сама приходит к нам, но лишь когда пустующая душа готова для встречи этой серой гостьи. Скучающий слеп к живым ценностям, в моменты скуки он преисполнен безверия. Поэтому скука есть скрыто-атеистическое состояние духа.

Скука есть ощущение бесплодно и напрасно текущего времени. Самое это течение воспринимается как затяжное, длинное — и недаром по-немецки скука называется die Langeweile.

Время есть живой поток длительности, творческой изменчивости. Но в скуке время воспринимается как равнодушное, автоматическое течение или, выражаясь образно, как гниение живого времени. Гложущая изнутри скука есть симптом разложения личности, по крайней мере, какого-то ее аспекта. Поэтому выражение «смертельная скука» («скука смертная») есть не только яркое описание состояния этого смертоподобия, но и довольно точная характеристика «косвенной встречи с небытием», в которой заключается метафизическая суть скуки.

Сергей Левицкий

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА ДРАГОМАНОВА

Жизнь и деятельность Михаила Петровича Драгоманова, стойкого борца за свободу и справедливость, выдающегося ученого и мыслителя не может не привлекать внимания. Судьба не была благосклонна к нему. Ему пришлось переживать и материальные лишения, не раз граничившие с настоящей нуждой, и душевные горести. С одной стороны были тяжелые конфликты с недоброжелателями и политическими врагами, с другой — не менее болезненные, а подчас и драматические расхождения с единомышленниками и друзьями. Не преувеличивая можно сказать, что биография Драгоманова в высокой мере поучительна и может служить образцом для каждого, как жить и работать на пользу своего народа и человечества.

Жизнь Драгоманова надо разделить на четыре периода: первый — полтавский, от рождения до окончания гимназии (1841-1859 г.г.); второй — киевский, от вступления в киевский университет до эмиграции (1859-1876 г.г.), третий — женевский, от начала эмиграции до выезда в Болгарию (1876-1889 г.г.) и четвертый — софийский, от прибытия в Софию до смерти (1889-1895 г.г.)

1. Полтавский период

Драгоманов родился 6 сентября 1841 г. в г. Гадяче Полтавской губернии в семье мелкого помещика и это оказало влияние на всю его будущую жизнь и научную и общественную деятельность. Дело в том, — как это заметил сам Драгоманов в одном из своих произведений, — что усадьбы мелких и средних помещиков-дворян на Левобережной Украине, бывшей Гетьманщине, были своеобразными культурными гнездами, откуда часто выходили прогрессивные, общественные и научные деятели. По своему социальному положению эти люди близко стояли к простому народу, к кото-

рому принадлежали и по своему происхождению, как потомки бывших казацких старшин. Они хорошо знали нужды народа и сочувственно относились к его положению. В противоположность дворянской знати, оторванной от народа и проживавшей ради карьеры в столице империи, мелкие дворяне безвыездно сидели в своих поместьях и принимали близкое участие в делах своей местности, своего уезда и губернии. В то же время их материальное положение предоставляло им возможность вести культурную жизнь и давать хорошее воспитание своим детям. Им нечужды были западно-европейские прогрессивные идеи, которые помогали им осмысливать окружающую действительность и которые они пытались проводить в жизнь. Из этих-то мелкопоместных дворянских гнезд и вышло очень много заслуженных деятелей украинского движения, весьма плодотворно поработавших на различных поприщах для блага своей родины.

К этой среде принадлежал и М. Драгоманов. Он рос и воспитывался в окружении украинской народной стихии и под влиянием гуманных и либеральных идей, которые господствовали в доме его родителей. Отец его, служивший в молодости в Петербурге, вернулся на родину в 30-х годах «с идеями, — как замечает М. Драгоманов в своей автобиографии, — представлявшими смесь христианства с философией XVIII века и якобинства с демократическим цезаризмом». Конечно, с подобными взглядами он не мог найти себе место в канцелярско-дворянском укладе уездной жизни николаевской эпохи и, женившись, сидел дома, читал книги и занимался помощью всяким угнетенным, как напр., крестьянам, бесправно приписанным к крепостным, либо рекрутам, несправедливо взятым в солдаты и т. д. За это к нему с неприязнью относились местные крепостники и уездные власти. Дядя Драгоманова был офицером и принимал участие в тайном «Обществе Соединенных Славян», из которого вышли участники декабристского восстания на Украине. Из всего вышесказанного можно видеть, в какой идейной атмосфере воспитывался молодой Михаил Драгоманов.

Под влиянием отца у Драгоманова сызмала развилась любовь к чтению и он, будучи еще в уездном училище (в 1849-1853 г.г.), прочел много книг из отцовской библиотеки. В 1853 г. Драгоманов был принят в полтавскую классическую гимназию. Среди ее преподавателей было несколько просвещенных учителей, много способствовавших дальнейшему развитию тех идейных основ, какие юноша вынес из

дома. Драгоманов в особенности был обязан преподавателю истории, Стронину, который, кроме других произведений прогрессивного характера, давал ему читать сочинения Герцена и усиленно рекомендовал изучать иностранные языки. Под влиянием этого учителя Драгоманов еще в гимназии прочел Историю XVIII века Шлоссера, сочинения Маколея, Прескота, Гизо и др. В гимназии, можно сказать, началась и его общественная и журналистическая деятельность. Он был избран своими товарищами редактором рукописного журнала, издававшегося тайным ученическим кружком. Тогда же Драгоманов пострадал от гимназического начальства: он заступился за товарища, которого обидел надзиратель. Последний пожаловался директору, и Драгоманов перед самым окончанием гимназии был исключен из нее без права поступления в средние учебные заведения. Только благодаря вмешательству либерального попечителя киевского учебного округа, знаменитого хирурга и педагога М. Пирогова, Драгоманову удалось окончить гимназию и поступить в университет.

2. Киевский период

Осенью 1859 г. Драгоманов был принят на историко-филологический факультет киевского университета. Молодой студент поступил в университет с солидным запасом знаний и возможностью ориентироваться в том идейном подъеме, который начинался тогда среди университетской молодежи в России. Тут он сразу попал в кружок студентов, основавших первые в России воскресные школы, где они ревностно занялись просвещением простого люда. Это было началом знаменитого впоследствии «хождения в народ». Драгоманов преподавал в школе историю России, уделяя соответствующее внимание и прошлым судьбам родной Украины. Он мечтал, обработав свои лекции, выпустить их отдельным изданием, но этой мечте не суждено было осуществиться, так как русское правительство, опасаясь сближения интеллигентной молодежи с народом, поспешило закрыть воскресные школы в 1862 г. и удалить учителей-студентов из заменившей их Киевской «Временной Педагогической Школы».

Кроме этой педагогической деятельности, кстати сказать, добровольной и бесплатной, следует отметить и первые публичные выступления Драгоманова, обратившие на него внимание общества и профессуры. Относятся они к 1861 г. Весной этого года Драгоманов произнес пылкую речь над гробом

великого украинского поэта Тараса Шевченко во время остановки в Киеве гроба с его прахом при перевозке из Петербурга в Канев для погребения на берегу Днепра. Вторую речь держал Драгоманов на прощальном банкете, устроенном киевской интеллигенцией в честь попечителя Киевского учебного округа Пирогова, смещенного с своей должности за его либеральные реформы, не пришедшиеся правительству по вкусу. В этой речи Драгоманов с юношеским пафосом отметил, к большому удовольствию присутствующих, наградивших его бурными рукоплесканиями, выдающиеся заслуги Пирогова на педагогическом поприще, заменившего господствовавшую до него солдатскую дисциплину в школе, — моральной, и ограничевшего самоуправство школьного начальства, позволявшего себе истязать воспитанников, сечь их розгами и пр. Эта речь вызвала большое недовольство киевской администрации, перепечатка ее в прессе была запрещена, а ректору университета было сделано замечание. Однако для Драгоманова его смелое выступление имело хороший результат, сблизив его с кружком либеральных профессоров, что дало ему возможность расширить свою научную работу по всеобщей истории. Драгоманов тогда изучал главным образом римскую историю. В 1862 г. профессор всеобщей истории В. Шульгин, отличавшийся либеральными взглядами, выходя в отставку, рекомендовал своего талантливого слушателя совету университета в качестве кандидата на профессорскую кафедру и советовал послать его по окончании курса для дальнейшего усовершенствования заграницу.

Между тем, вскоре из-за польского восстания 1863 года, сильно напугавшего правительство, повеяло и в университете иным духом. Консервативная партия на историко-филологическом факультете, усилившаяся после ухода лидера либералов Шульгина, всячески затягивала командировку Драгоманова, к которому относилась недоброжелательно за его радикальные взгляды. И вот ему по окончании университета в 1863 г. вместо поездки заграницу пришлось искать заработок, чтобы иметь возможность воспитывать брата и сестру, оставшихся после неожиданной смерти отца на его руках. Драгоманов принял должность преподавателя географии в одной из киевских гимназий, а вместе с тем для ускорения командировки начал хлопотать о разрешении читать в университете лекции в качестве приват-доцента. Защитив 25 мая 1864 г. диссертацию pro venia legendi по римской истории на тему «Император Тиберий», Драгоманов был допущен к пре-

подаванию на правах доцента. Но в том же году неожиданно скончалась мать его невесты и ему пришлось раньше, чем он предполагал, жениться, что еще более ухудшило его и без того тяжелое материальное положение. Драгоманов был вынужден, кроме научной и преподавательской работы, заняться журналистикой, помещая свои корреспонденции, критические статьи и передовицы в столичной прессе, главным образом в либеральной газете «Петербургские Ведомости». В своих статьях он касался различных вопросов местной жизни, административного управления, экономического положения, школьного дела и национальных отношений в так наз. Югозападном Крае, т. е. Киевской, Волынской и Подольской губ., находившихся под управлением особого генерал-губернатора. Говоря о национальных отношениях края, Драгоманову часто приходилось касаться политики русского правительства по отношению к полякам, а в связи с этим также и его политики вообще, и в частности по украинскому вопросу. Нечего и говорить, что корреспонденции и статьи Драгоманова приходились не по вкусу местным и центральным властям, а также поддерживавшим их консервативным кругам. Писания Драгоманова вызывали реплики в близкой к правительству прессе, которые ему приходилось парировать. А нужно сказать, что из него выработался замечательный публицист, смело и стойко отстаивавший свои убеждения и резко критикующий реакционные мероприятия правительства и не менее реакционные взгляды и действия различного рода ретроградов. Полемизировать с Драгомановым было небезопасно, он легко разбивал противника логикой своих доводов.

Незадолго до начала своей журналистической деятельности Драгоманов сошелся с украинскими кругами и вошел в их киевскую организацию, так называемую «Громаду», сложившуюся еще в 1859 г. Сблизился он с членами «Громады» на почве народного образования, вопросами которого он живо интересовался еще со времени преподавания в воскресной школе. Касаясь этих вопросов в прессе, Драгоманов отстаивал необходимость преподавания в школах на Украине на украинском языке и составления на этом языке учебников, обосновывая свои взгляды педагогическими соображениями. На этой почве у него вышло столкновение с правительственными сферами, враждебно относившимися к украинскому движению, в особенности после польского восстания. В украинском движении правительство подозревало «польскую инт-

ригу», направленную к расчленению русского государства. И хотя украинцы отнеслись отрицательно к польскому восстанию из-за претензии поляков на украинские земли, реакционеры не уставали в своих нелепых обвинениях, подстрекать правительство к принятию строгих мер против «украинского сепаратизма». И оно не замедлило стать на путь репрессий. Министр народного просвещения граф Валуев, слывший либералом, тайным циркуляром, изданным в 1863 году запретил печатать детскую и популярную литературу на украинском языке, в том числе и книги религиозного содержания. Со временем даже самое обсуждение полезности преподавания в школах на Украине на родном языке населения стало приравниваться к деяниям, направленным к ниспровержению существующего строя. И когда Драгоманов весной 1866 года поместил в «Петербургских Ведомостях» отрицательную рецензию на «Книгу для чтения в народных школах Киевского Учебного Округа», составленную попечителем округа князем Ширинским-Шихматовым, сменившим Пирогова, указывая на ее полную непригодность для употребления в народных школах вообще, а в украинских в особенности, то и автор и правительственная печать обрушились на него с обвинениями в сепаратизме. В результате Драгоманов попал под надзор полиции, как неблагонадежный. Этот надзор длился несколько лет и был причиной того, что когда Драгоманов, защитив в 1870 году диссертацию на степень магистра («Вопрос об историческом значении римской империи и Тацит»), был утвержден Советом университета, как штатный доцент и послан на счет университета заграницу, то тот же попечитель мести ради, не утвердил выбора до возвращения Драгоманова из командировки. Из-за этого Драгоманов не получил полной ассигновки, полагавшейся командированным заграницу молодым ученым.

Преподавая в университете как приват-доцент, Драгоманов занимался изучением главным образом римской истории. Из нее же он выбрал и тему для упомянутой выше своей диссертации. В этой работе Драгоманов высказал много оригинальных взглядов, но помещенная в провинциальном издании («Известия» Киевского университета), и вышедшая в небольшом количестве экземпляров, она осталась незамеченной даже в России, не говоря уж о Западе..

Изучение древней истории, в особенности религии и мифологии, заставило Драгоманова последовательно заниматься этими же темами позднее. От них он перешел к истории сла-

вян, где его в особенности интересовали народные предания и фольклор украинского народа. В 1867 году он вместе с несколькими своими друзьями занялся подготовкой к печати сборников украинской народной словесности, которые были почти единственными украинскими изданиями, не запрещенными цензурой. В результате этих занятий вскоре были изданы четыре книги (два сборника украинских народных сказок и два песен). В 1869 году Драгоманов вместе со своим другом, известным историком В. Антоновичем начал подготовлять к изданию свод украинских исторических песен с соответствующими введениями и комментариями.

Изучение украинской народной поэзии имело большое значение в жизни Драгоманова: оно еще более заставило его, как он сам признается в своей автобиографии, полюбить украинский народ и пережить всеми силами души все особенности украинского вопроса в России и Австро-Венгрии.

Несмотря на свои научные занятия, отнимавшие у него много времени, Драгоманов не переставал интересоваться общественными делами и охотно отзывался на злобу дня. Тут следует отметить одно его выступление, имевшее большое значение в его последующей деятельности. В 1869 году, в связи с студенческими волнениями в Петербурге, началось брожение и среди киевских студентов. Драгоманову по приглашению знакомых студентов пришлось выступать с рефератами в их кружках и столкнуться с централистическими тенденциями прибывшего из Петербурга делегата. Это столкновение, как он сам отмечает в своей автобиографии, было началом его полемики с великорусскими революционерами «централистами и всероссийскими якобинцами».

Заграницу Драгоманов был командирован Киевским университетом на два года, но пробыл там целых три (1870-1873), посетив за это время Германию, Италию, Швейцарию и Австрию. Сначала он отправился в Берлин, где он прожил восемь месяцев в самый разгар немецко-французской войны, посещая преимущественно лекции Момзена и просиживая в библиотеках. Вместе с тем, он знакомился и с политической жизнью и общественными отношениями в Германии. Кроме Берлина, Драгоманов побывал в Лейпциге, Бауцене, где его интересовало крестьянское движение, Гейдельберге (осень 1871 года). Из Германии он поехал в Италию, во Флоренцию (1872 г.), в 1873 г. посетил Швейцарию (Цюрих) и на возвратном пути побывал в Праге и в Вене, где познакомился со славянскими деятелями. В придунайской сто-

лице Драгоманов сошелся также с австрийскими земляками-украинцами. Кроме своих так сказать официальных занятий, для которых он был послан заграницу, Драгоманов всюду собирал материалы для сравнительного комментария к задуманному изданию исторических песен украинского народа. Вместе с тем он находил время для сотрудничества в русских либеральных журналах, помещая в них статьи по вопросам политическим, общественным и литературным в связи с наблюдениями над заграничной жизнью. В журнале «Вестник Европы» была напечатана замечательная статья Драгоманова «Восточная политика Германии и обрусение» (1872 г.), написанная под впечатлением его наблюдений в Варшаве и Берлине. Знакомство с украинским движением в Галиции и его представителями дало материал для статьи о Галиции в «Вестнике Европы» 1873 года и львовском украинском журнале «Правда», а также и в иностранной прессе, как напр. «Rivista Europea» и др. Указанными выше статьями на украинские темы началась богатая деятельность Драгоманова как украинского политического писателя и как информатора русской и западной общественности о разных аспектах украинского вопроса, которая продолжалась до самой его смерти. Эти статьи создали ему большую популярность, но в то же время из-за них он приобрел и многочисленных врагов не только в России, но и в Галиции среди тамошних консерваторов и клерикалов.

Перед возвращением из командировки Драгоманов прожил полтора месяца в Цюрихе, где встретил многих русских студентов и политических эмигрантов, с которыми пришлось ему вступить в полемику по вопросу о возможности осуществления в России социализма. Несмотря на свои разногласия, — одни из них были сторонниками Бакунина, другие примыкали к Лаврову, — все они были убеждены, что русские крестьяне созрели для восприятия социалистических идей и не соглашались с мнением Драгоманова, что в России надо сначала добиваться политической свободы.

В Вене Драгоманов предполагал остаться для своих изданий на украинском и русском языках, но, убедившись, что его знакомые галичане недостаточно прониклись европейскими понятиями и следовательно ему трудно рассчитывать на их сотрудничество, решил ехать домой. По дороге он посетил Галицию и был поражен косностью ее общественной и культурной жизни, в равной мере как консервативных старорусинов, так и их противников, молодоукраинцев. Дра-

гоманов вскоре вступил в решительную борьбу с этой косностью, стараясь всеми силами приобщить австрийских земляков к западно-европейской культуре. Писал соответствующие статьи, распространял прогрессивные издания не только на украинском языке (их было тогда весьма немного из-за цензурных запретов), но и на русском, за что одни начали называть его опасным потрясателем основ общественного и политического порядка, а другие руссофилом и даже агентом русского правительства. Конечно Драгоманов не ограничивался только критикой галицко-украинской жизни и ее деятелей, но старался найти почву для совместной работы. Как раз ко времени его пребывания заграницей относится обсуждение им по поручению российских украинцев вместе с галицкими земляками устава, задуманного главным образом полтавцами, общества для развития украинской литературы и науки. Это общество должно было находиться за пределами достижения царской администрации и цензуры, так как в России уже собирались тучи над украинским словом. Общество это было основано во Львове 11-го декабря 1873 года, вскоре после возвращения Драгоманова из командировки, под названием «Общество имени Шевченко». Из него впоследствии выросло большое научное учреждение, ставшее настоящим очагом украинской науки — «Научное Общество им. Шевченко».

Драгоманов приехал в Киев в сентябре 1873 г. и вскоре по приезде был утвержден в звании штатного доцента. В Киеве застал он большое оживление среди украинцев. В его отсутствие было основано украинское научное общество под защитной фирмой «Юго-Западного Отделения Русского Географического Общества». Драгоманов принял живейшее участие в работах этого Отделения: читал рефераты на его собраниях (напр., «Об украинских песнях сравнительно с западно-европейской рыцарской поэзией», печатал в его изданиях свои произведения и т. д.). В 1874-5 г.г. Отделение издало два тома приготовленного им совместно с проф. В. Антоновичем свода украинских исторических песен, а в 1876 году его собственный сборник «Малорусских народных преданий и рассказов» — очень ценные издания, встретившие весьма похвальные отзывы не только русской, но и западно-европейской научной критики. Первый том «Исторических песен» Драгоманов успел представить собравшемуся в 1874 году в Киеве Археологическому Съезду. Съезд этот был настоящим триумфом украинской науки и вызвал с одной сто-

роны большую радость и удовлетворение среди украинского общества, а с другой не меньшее раздражение в киевских консервативных сферах, усмотревших в работах съезда и самого Отделения сепаратистские тенденции. Нападки на Отделение и его сотрудников, начавшиеся уже с самого его основания, теперь еще более усилились и перешли в прямые угрозы. Одним из галицких москвофилов, прибывшим на съезд, было помещено в органе киевской администрации «Киевлянин» формальное обвинение Драгоманова как польского агента. Среди киевских реакционеров Драгоманов издавна был не в фаворе за свои корреспонденции в петербургской прогрессивной печати, а теперь их нерасположение к нему еще более усилилось после перехода другой киевской газеты «Киевский Телеграф» в руки украинцев. Драгоманов был фактическим редактором «Киевского Телеграфа» и поместил в нем с ноября 1875 г. много статей и заметок, критиковавших действия местной администрации.

Киевская клевета перепугала Петербург. Цензура начала еще более подозрительно относиться к статьям Драгоманова на украинские темы, помещаемым главным образом в «Вестнике Европы». Так, из этого журнала за сентябрь-октябрь 1875 г. цензура вырезала его статью «Десять лет украинской беллетристики». Наконец Драгоманов стал чувствовать придирки администрации, направленные непосредственно против его личности, которые в конце семестра (в мае 1875 года) свелись к требованию попечителя, чтобы Драгоманов добровольно ушел из киевского университета. Свое требование попечитель мотивировал тем, что, мол, Драгоманов проповедует в заграничной печати отделение Украины от России и присоединение ее к Польше. Драгоманов отказался подать в отставку, не желая признать это и иные, не менее нелепые обвинения по его адресу, справедливыми. Вместо отставки он поехал на каникулы в Галицию, чтобы ближе познакомиться с жизнью Западной Украины. Галиции Драгоманов придавал очень большое значение. Он полагал, что Галиция может стать своеобразным аккумулятором украинской национальной энергии, которая в соответствующий момент могла бы послужить и российской Украине. С этой целью Драгоманов не жалел сил для, как он выражался, «европеизации Галиции», и призывал своих киевских приятелей не забывать о нуждах австрийских земляков. Он сделался как бы представителем последних перед киевлянами и они, шутя прозвали его «Михаил Галицкий». Особенно волновала

Драгоманова печальная судьба Закарпатья, находившегося под мадьярским игом. Закарпатье было для него «раненым братом», и на месте ознакомившись с положением в Закарпатьи, Драгоманов призывал галицких земляков помочь Закарпатью словом и делом.

Усилия Драгоманова много способствовали с одной стороны, ознакомлению земляков с австрийской Украиной, а с другой — освежению затхлой атмосферы отсталой провинции, какой тогда была Галиция. Особенно большое влияние в этом отношении оказали статьи Драгоманова в журнале львовского студенческого общества «Друг». Начатые в 1875 г. и продолженные в следующем году эти статьи вызвали настоящую революцию в умах большинства членов «Друга». Отрекшись от своих прежних взглядов и восприняв идеи Драгоманова, они составили кадры прогрессивной партии. Со временем она оформилась под именем радикальной, во главе которой встал известный украинский поэт, писатель и общественный деятель Иван Франко и близкие к нему товарищи по «Другу».

С появлением Драгоманова в Галиции на каникулах 1875 года в Киев пошли доносы о его будто бы сепаратистских выступлениях. Главное обвинение, явно ложное, сводилось к тому, что он, будучи на одном публичном митинге в провинции, выступил с требованием отделения Украины от России. Телеграмма с этим доносом всполошила киевскую администрацию, которая поспешила переслать ее в Петербург высшему начальству. Министр народного просвещения представил телеграмму самому Александру II, характеризуя Драгоманова как опасного украинского сепаратиста. Царь приказал предложить Драгоманову оставить киевский университет с правом перейти в какой-либо иной, но только на Севере, а не на Украине. Но и на это вторичное предложение, переданное Драгоманову попечителем, он снова ответил решительным отказом, после чего был уволен в административном порядке, без права занимать вообще какую-нибудь государственную должность.

История с Драгомановым была чревата последствиями. Царь в связи с ней назначил особую комиссию для расследования украинского сепаратизма и принятия против него мер. Об образовании такой комиссии царь лично объявил в Киеве в сентябре 1875 г. Не было никаких сомнений в том, что украинскому движению угрожают большие репрессии. Драгоманов и его друзья начали приготовляться к борьбе. С

этой целью «Украинская Громада» решила послать Драгоманова заграницу, чтобы защищать украинское дело в вольном свете, перед европейским общественным мнением. Для этого ему поручалось заняться соответствующими публикациями. Содержание, направление и даже объем этих публикаций были тщательно обсуждены на собраниях особого Комитета, члены которого были настроены весьма радикально. Громада в то время находилась в тесных сношениях с русскими революционными организациями, в значительной степени состоявшими из уроженцев Украины (Желябов, Кибальчич, Лизогуб и др.). Громада обязывалась акуратно выплачивать содержание Драгоманову, не говоря уже о публикациях. В виду этого Драгоманов спешил кончить начатые им в Киеве издания, между прочим и упомянутый выше свод украинских народных преданий и рассказов. Получив в начале мая 1876 г. заграничный паспорт, Драгоманов выехал через Галицию и Закарпатье в Вену, где начал приготовлять издание сборников Громады.

Между тем Комиссия по расследованию украинского сепаратизма, собравшись во второй половине мая 1876 г., постановила: запретить печатание каких-либо произведений на украинском языке, запретить украинские спектакли и концерты, закрыть юго-западное отделение Географического Об-ва и запретить пребывание в украинских губерниях и столицах Драгоманову и П. Чубинскому, известному статистику и этнографу, руководившему в начале 70-х годов по поручению Петербургского Географического Общества статистико-этнографической экспедицией в т. наз. Югозападный край, и собравшему там семь болыших томов весьма ценных материалов, изданных указанным обществом.

Таким образом Драгоманов был осужден на эмиграцию. Однако в Вене ему не пришлось долго жить. Австрийское правительство еще до его приезда начало в апреле 1876 г. поход против украинского социалистического движения. У лиц, подозреваемых в участии в этом движении, стали производить обыски, конфисковывать изданные брошюры, подготовляя процесс против социалистов. Драгоманова обвиняли в том, что он является главой социалистического движения, агентом русского правительства и т. д. и он, издав в Вене одну брошюру, — «По вопросу о малорусской литературе», — был принужден переселиться в Швейцарию.

Женевский период

Переехав осенью 1876 г. в Женеву, Драгоманов немедленно приступил к работе над порученными ему Киевской Громадой изданиями, руководясь при этом такими принципами: 1) писать по-украински всё то, что непосредственно касается Украины и распространения в ней социалистических идей и 2) писать по-русски различного рода вещи политическо-либерального характера, следя за всеми событиями, волнующими общество в России. Соответственно этому он занялся в первую очередь составлением сборников, названных по имени выславшей его организации «Громада» (вышло их 5 томов). Независимо от этого он выпустил несколько отдельных изданий: роман братьев Рудченков (под псевдонимом П. Мирный и И. Билык), описывающий украинское село после уничтожения крепостного права, два выпуска «Политических песен украинского народа», составлявших продолжение изданных в Киеве в сотрудничестве с В. Антоновичем двух томов «Исторических песен», две брошюры одного из членов женевского социалистического кружка, экономиста Сергея Подолинского: «О ремеслах и фабриках на Украине» и «Жизнь и здоровье украинского народа» — на темы социальной гигиены.

Сборники «Громада» были посвящены изложению украинской социалистической программы, а также статьям и корреспонденциям о политическом, экономическом и просветительном положении на Украине.

На русском языке в женевский период Драгоманов напечатал ряд статей и брошюр, посвященных внутреннему положению империи, в первую очередь в связи с русско-турецкой войной, где доказывал необходимость политической свободы в России*. Прежде чем браться освобождать других, говорил он, следует освободить свой собственный народ.

Выступая против политики русского правительства, Драгоманову volens-nolens пришлось вступить в борьбу и с раз-

---

* Это были: «Чистое дело требует чистых средств», корреспонденция, напечатанная в 1876 г. в петербургской газете «Молва», вскоре запрещенной правительством; брошюры, изданные в Женеве: «Турки внутренние и внешние» (1876 г.), «Внутреннее рабство и война за освобождение (1876 г.), «До чего довоевались» (1878 г.) и др.

ными русскими революционными группами, народовольцами и иными. Он, как мы уже знаем, не разделял их иллюзий о возможности осуществления социалистического идеала в стране некультурной, не прошедшей школы политической свободы. На его взгляд, осуществление этого идеала возможно было только в известной последовательности и при наличии культурно развитых народных масс. Между тем русским революционерам указываемый Драгомановым путь казался «слишком долгим». Они хотели немедленных решительных действий. Корме того Драгоманов был противником их централизма, ему претили антикультурные тенденции, макиавелизм в способах борьбы, при котором цель оправдывала все средства, вплоть до сознательного обмана, а также возведение ими террора в принцип революционного действия. Эти взгляды Драгоманова были развитием и углублением взглядов, высказанных им еще в Киеве в 1869 г. и в Цюрихе в 1873 г. Теперь они были приведены в систему и выражены в ряде брошюр: «Терроризм и свобода» (1880 г.), «La tyrannie en Russie et l'action de l'Europe Occidentale» и др.

Не менее горячую борьбу за политическую свободу и против всякого централизма — царского и революционного — Драгоманов вел в журнале «Вольное Слово», органе русских конституционалистов. В этом журнале, издававшемся в Женеве с августа 1881 г. до мая 1883 г., Драгоманов работал сначала как постоянный сотрудник, а вскоре и как главный редактор. Кроме ряда статей и заметок, ему принадлежат тут замечательные очерки, вышедшие и отдельной книгой — «Историческая Польша и великорусская демократия» (Женева, 1883 г.), где он подвергает глубокому анализу отношение польских и русских политических деятелей к украинскому вопросу и к т. наз. «негосударственным национальностям».

Убежденный сторонник политической свободы, Драгоманов охотно шел навстречу всем, кто стремился добиваться ее осуществления в России. Поэтому он согласился составить, совместно с прибывшими к нему в конце июня 1883 г. делегатами из Украины, программу для основания особого политического общества «Вольный Союз», которое должно было заняться агитацией в пользу переустройства России на демократических началах. В конце августа программа эта была закончена, отпечатана и отвезена в Россию, но вследствие начавшихся там политических арестов задуманное об-

щество не осуществилось. Однако, Драгоманов издал эту программу, добавивши к ней свой широкий комментарий, обосновавший ее требования («Вольный Союз», Женева. 1884). Программа «Вольного Союза» добивалась переустройства России на свободных федеративных началах, которые бы гарантировали самоуправление отдельных областей.

И по прекращении «Вольного Слова» Драгоманов не раз останавливался на вопросах политической свободы в России в статьях в различных изданиях на разных языках. Тут в особенности следует отметить его статьи в журнале «Свободная Россия» (Женева 1789): «Земский либерализм в России» и «Самодержавие, местное самоуправление и независимый суд».

Не ослабевала в женевский период его жизни и его информационная деятельность, посвященная Украине; он помещал в европейской прессе (французской, немецкой, итальянской) статьи на разные украинские темы. Особенное значение в этом отношении имеет его крупный труд об Украине, помещенный в известном компендиуме его приятеля Элизе Реклю (Nouvelle Geographie Universelle). Это была первая систематическая монография о территории и населении всех украинских земель. Выступал Драгоманов и публично в защиту Украины, угнетенной самодержавием. Большое впечатление в европейских общественных и культурных кругах произвел его протест на международном литературном конгрессе в Париже в 1878 г. против указа 1876 г., запретившего украинскую литературу. Доклад Драгоманова по этому вопросу был опубликован отдельной брошюрой под заглавием «La litterature oukrainienne proscrite par le gouvernement Russe». В значительно расширенном виде этот доклад был помещен Драгомановым в итальянском журнале «Rivista minima» 1881 года.

Вместе с тем он не переставал интересоваться Галицией и вообще украинскими областями Австро-Венгрии и старался всячески влиять на общественное мнение Западной Украины, как путем помещения статей в местных изданиях, так и путем личной переписки с ее деятелями. А нужно сказать, что корреспондент Драгоманов был замечательный. Он никогда не оставлял полученных писем без ответа и отвечал немедленно, при чем многие его письма представляют собою целые послания, как напр., письма к киевлянам, членам Украинской Громады, письма к многим галицко-украинским деятелям, в особенности письма к его последователям и

друзьям — Ив. Франко и М. Павлику. В письмах Драгоманов давал своим корреспондентам ценные указания по многим вопросам, затрагивая и критически рассматривая различные исторические и современные явления и факты, и поэтому эти письма представляют богатейший материал для его биографии.

Участие Драгоманова в галицко-украинской прессе и общественной жизни усиливалось по мере того, как под влиянием наступившей в России в 80-х годах реакции его отношения с друзьями и бывшими единомышленниками в российской Украине охладевали. Членам Киевской Украинской Громады, выславшим Драгоманова с соответствующими инструкциями, его заграничная деятельность стала теперь представляться слишком радикальной и не подходящей к сложившемуся в стране положению. Они сильно поправели и с годами начали находить политику своего европейского «посла» не только не соответствующей их взглядам, но и впрямь вредной для украинского дела в России. Они считали, в противоположность Драгоманову, что заграничные радикальные и вообще политические издания только раздражают правительство и вредят украинской литературе в России, и потому были недовольны даже изданиями полного собрания поэтических сочинений Шевченко («Кобзаря»), которым занимался Драгоманов. Насколько в то время были перепуганы бывшие товарищи Драгоманова свидетельствует совет одного из наиболее радикальных членов этого Комитета, который давал ему инструкции при отъезде заграницу, Павла Житецкого: «Это несчастье (т. е. реакцию Александра III-го) надо переспать».

Расхождения, начавшиеся между Драгомановым и киевлянами еще с 1883 г. и резко определившиеся в 1886 г., чувствительно отражались не только на материальном положении Драгоманова, переставшего получать от Громады назначенное ему при выезде заграницу жалованье, которое к слову сказать, никогда правильно и в срок не выплачивалось, но и еще более на его душевном состоянии. Он чувствовал себя эмигрантом, покинутым, одиноким, оторванным от родных.

Большим утешением для Драгоманова в это тяжелое время было предложение кружка оставшихся ему верными земляков из Украины, не разделявших настроений членов Громады, написать историю украинской литературы. Он с ра-

достью ухватился за это предложение и немедленно углубился в изучение украинской устной словесности, которая должна была составить отдельную часть его курса. Изучение украинского фольклора отняло у Драгоманова много времени, но зато в результате появился ряд статей, очерков и целые монографии, которые он помещал в различных изданиях, начиная с парижской «Mélusine» 1887 г. Эти исследования заполнили последние годы его жизни.

Софийский период

В 1889 г. Драгоманов получил приглашение болгарского правительства занять кафедру истории в Софийском университете. Здесь, материально более или менее обеспеченный, Драгоманов имел возможность печатать свои научные труды в болгарских изданиях. В последние годы своего пребывания в Женеве Драгоманов жил с семьей в большой нужде, лишившись вспомоществования от Киевской Громады, и не имея взамен никакого постоянного заработка. С болгарским правительством Драгоманов подписал контракт на три года, по истечении которых контракт был продлен еще на год, несмотря на требование русского правительства удалить Драгоманова из Болгарии, как и других русских эмигрантов, «нигилистов и террористов».

В 1893 году контракт был возобновлен на три года.

В университете Драгоманов читал лекции по истории древнего Востока, но главным предметом его научной работы было сравнительное изучение украинского народного творчества. Научная критика признала его труды по фольклору выдающимися, и автор их не раз удостаивался почетных отличий от компетентных учреждений. Так, его работы, предложенные международным конгрессам фольклористов в Париже (1889 г.) и Чикаго (1893 г.) были там зачитаны и привлекли к себе внимание иностранных специалистов. На конгрессе в Лондоне (1891 г.) Драгоманов удостоился избрания его членом Международного совета фольклористов, а чикагский конгресс избрал его почетным членом конгресса. Свои работы по фольклору Драгоманов помещал и в официальном органе болгарского Министерства народного просвещения и в «Киевской Старине» (под разными псевдонимами, так как самое имя его в России было запрещено), во

Львове в журнале своего друга и единомышленника Ивана Франко «Життя и Слово», а также в органах галицкой радикальной партии «Народ» и «Хлибороб». Труды Драгоманова по фольклору были изданы после его смерти Научным Обществом им. Шевченко во Львове в 4-х томах (1899-1906 гг.).

В этот период несмотря на перегруженность работой и на тяжелую болезнь сердца Драгоманов находил еще силы принимать деятельное участие в галицкой радикальной прессе, отзываясь на явления общественной, политической и культурной жизни русской и австрийской Украины. Участие в жизни Галиции сделалось душевной потребностью Драгоманова. Галиция стала для него второй родиной, не менее дорогой, чем его родная Полтавщина. В общении с ней он не так ощущал свою оторванность от родной почвы, так угнетающе действующую на всякого эмигранта.

В своих статьях в галицко-украинской радикальной прессе, а также в издаваемых радикальной партией его брошюрах, Драгоманов, как всегда, отстаивал принципы свободы и терпимости — политической, религиозной и национальной, выступая против реакции и клерикализма, стремившихся подчинить себе умы галицко-украинского общества. Вместе с тем он не менее решительно боролся с закорузлостью, шовинизмом и некультурностью своих земляков, называвших себя украинскими патриотами par excellence. Особенно замечательны в этом отношении две брошюры Драгоманова: «Чудацькі думки про українську національну справу» (Львов 1891) и «Листи на Наддніпрянську Україну» (Львов 1893). Последние были вызваны статьями украинского писателя Бориса Гринченко в газете, издаваемой в г. Черновцы на Буковине. Выступивший с критикой воззрений Драгоманова, Гринченко после ответа последнего стал его ревностным последователем.

За свою публицистическую деятельность Драгоманов не переставал подвергаться нападкам со стороны политических противников. В то время как галицко-польская шляхта и ее украинские приспешники видели в нем агента русского правительства, последнее считало его своим злейшим врагом, опасным сепаратистом, нигилистом и террористом. В России было запрещено упоминать его имя. Царская цензура не пропускала самых невинных научных произведений Драгоманова, подписанных псевдонимами, если только догадыва-

лись, что они принадлежат ему. Но все это не мешало русским и польским революционерам доходить в своей враждебности к Драгоманову до нелепых обвинений, что он, мол, агент-провокатор на службе русского правительства для борьбы с революционным движением. А с другой стороны, украинские его противники видели в нем то москвофила, то даже «москаля», умышленно подшившегося под украинство, чтобы как можно больше вредить украинскому делу. Но никакие инсинуации, клевета и доносы не могли заставить Драгоманова изменить своим убеждениям. Он до самой своей смерти был бесстрашным исповедником идей политической, религиозной и национальной свободы и международной солидарности. Драгоманов не переставал убеждать своих земляков, чтобы они, стоя ногами на родной почве, держали голову в Европе. В одном из своих писем к Ивану Франко он говорит о себе так: «Я — украинец, который имеет претензию быть на украинской почве европейским либералом и социалистом, вроде напр. радикалов и социалистов английских».

Не взирая ни на какие препятствия, неутомимая проповедь Драгоманова нашла еще при его жизни многочисленных сторонников. Галицко-украинская радикальная партия сложилась и действовала под его влиянием и при его непосредственном руководстве. Проникали его идеи и на российскую Украину, за занавес воздвигнутый правительством Александра III-го, и находили там многих последователей. Еще при жизни Драгоманов дождался публичного признания своих заслуг от многочисленных своих товарищей по научной и политической работе, от сторонников и друзей. 16-го декабря 1894 года они торжественно отпраздновали во Львове 30-летний юбилей его научной, литературной и общественной деятельности. Юбиляр в этот день получил горячие приветствия со всех концов Украины и от своих западноевропейских ученых друзей. Среди этих приветствий нашлись сочувственные поздравления и пожелания и от прогрессивных русских и польских деятелей. Но, конечно, особенно горячие приветствия были от украинских почитателей. Для самого юбиляра этот праздник был настоящей неожиданностью, давшей ему полное удовлетворение за его долгую самоотверженную, полную лишений деятельность.

Но дни его были уже сочтены. Драгоманов в последние годы страдал от аневризма аорты. Эта мучительная болезнь

была неизлечима и каждое мгновение могла окончиться катастрофой, о чем сам больной хорошо знал. И все же, несмотря на мучения, вызываемые болезнью, Драгоманов не переставал работать до последней минуты своей трудовой жизни. 20-го июня 1895 г., после возвращения с лекции в Софийском университете, его не стало.

В. В. Дорошенко

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный...

В разговоре с Гарриманом Хрущев признал, что он плакал, когда в первый раз смотрел на мертвого Сталина. Он, пояснял Хрущев, был «нашим общим учителем, мы ему всем обязаны». Может быть, у Хрущева в те минуты было и чувство, подобное тому, которое в русском переводе «Юлия Цезаря» выражено так: «Еще вчера повелевал вселенной великий Цезарь, ныне он лежит во прахе». Тогда для Хрущева это все еще был «великий Сталин», а до этого, пока Сталин был жив, может быть, он и представлялся будущим повелителем вселенной. Во всяком случае, Сталин был неоспоримым повелителем огромной империи, над всей жизнью которой мрачным кошмаром тяготела его власть, какой на таком пространстве еще никто никогда не обладал. Эту власть унаследовали люди, которые, как сказал Гарриману сам Хрущев, все были учениками Сталина. И от этого наследства, они, наверное, целиком не освободятся до конца своих дней, во многом оставаясь «сталинистами» и тогда, когда они проводят «десталинизацию», противоречия которой наложили свою печать на всю историю послесталинского десятилетия. И эта противоречивость развития уже сама по себе обозначает существенное изменение по сравнению с развитием сталинского периода.

Жизнь не стояла на месте и при Сталине. Но отвлекаясь от немногих, — вызванных исключительными обстоятельствами, — колебаний, главным образом, во время войны, в целом движение происходило в одном направлении: все больше нажима со стороны власти, все больше насилия и террора, все больше централизации и бюрократизма, а у населения все больше страха и безнадежной покорности. В сталинское время было не трудно предугадать дальнейшее развитие,

мысленно продолжив его линию в будущее, с некоторыми поправками, учитывающими объективно невозможное. В послесталинский период такая экстраполяция, проекция в будущее, стала невозможной. История стала непредвидимой. Теперь это история зигзагов, скачков и неожиданностей. В лучшем случае при каждой ситуации можно определять границы возможного в том или ином направлении. Направления развития постоянно пересекаются, одно вытесняет другое. Более того: в одно и то же время может наблюдаться развитие в различных и даже противоположных направлениях. И тем менее это не бег на месте. Есть реальное движение, в итоге всех колебаний все же обнаруживающее известное направление и, несмотря на все зигзаги и противоречия, обнаруживающее известный процесс развития. Это не всегда можно установить, сравнивая сегодняшний день со вчерашним, но нельзя не увидеть, оглядываясь на более длительные отрезки времени — в особенности на все десять лет «без Сталина».

Я не буду задерживаться на вопросе, насколько значительны перемены, которые произошли за это десятилетие в условиях жизни советского населения. Оценка их значения в очень большой мере зависит от той мерки, которая к ним прилагается. Сами советские люди очень расходятся в оценках, что вполне естественно уже потому, что улучшения в условиях жизни распределялись далеко неравномерно. Столь же естественно, что еще более резкие расхождения часто бывают между оценками иностранных посетителей и самих советских людей. Если не всем, то очень многим приезжающим из Западной Европы или Америки жизнь в Советском Союзе представляется мрачной и убогой или, по меньшей мере, крайне скучной, что чувствуют и очень многие постоянные жители Советского Союза. Но часто советские люди говорят своим зарубежным союзникам: «вам происшедшие у нас перемены кажутся незначительными, а для нас они имеют большое значение». В записи одной такой беседы я читал: «а для нас они огромны». Я нисколько не сомневаюсь, что для меня жизнь в Советском Союзе была бы совершенно невыносимой. Ну а Солженицын, без сомнения, очень живо чувствует разницу между временем, когда он написал и смог напечатать свой «День Ивана Денисовича», и тем прошлым когда он сам был одним из многих тысяч «Иванов Денисовичей». Повторяю: выбор тех или иных оценок зависит от прилагаемых критериев и — добавлю — от предубеждений в ту или иную сторону. И это указывает уже не только на улуч-

шение условий жизни для отдельных людей — всех, многих или некоторых, — но и на происходящий в Советском Союзе процесс трансформации режима и общественных отношений.

Чтобы разобраться в существе этого процесса, в его характере и направлении, нужно сначала, так сказать, «расчистить поле», установив, чем этот процесс не является (я оставляю пока в стороне, следует ли говорить о **процессе** или о **процессах**). Можно ли, как это часто делается, говорить о происходящем в Советском Союзе процессе «демократизации» или — еще чаще — «либерализации» государственной системы? Я уже так поставил вопрос, что читатель может ожидать отрицательного ответа. И он будет прав: я не вижу в Советском Союзе ни демократизации, ни либерализации — если, конечно, не обращаться с этими понятиями так неряшливо, как это часто делается в обывательских разговорах. Здесь можно не касаться таких формальных признаков демократии, как основанная на всеобщем голосовании избирательная система, тот или иной метод образования правительств, их ответственность перед народным представительством или непосредственно выражаемой всеобщим голосованием народной волей. Формальных процессов демократии достаточно и в Советском Союзе — и по линии государственной всеобщее голосование, Верховный совет, его Президиум, Совет министров, — и по линии партийной — избираемый всей партией съезд, избираемый съездом Центральный комитет и Президиум Центрального комитета. Но на основании богатого опыта мы уже знаем, что и формы, необходимые для демократии, все же сами по себе демократии еще не создают, если не обеспечивается то основное условие, что последней инстанцией для принятия или одобрения решений государственного масштаба является свободное всенародное волеизъявление. А такое волеизъявление и в самом несовершенном его виде обязательно предполагает возможность выбора между различными альтернативами, различными политическими линиями и альтернативными правительствами. Между тем в советской государственной системе альтернативы — а, стало быть, и выбор — отсутствуют на всех ступенях, на которых формально практикуются народные или партийные выборы, за исключением верхнего слоя партийной иерархии. Все решения идут сверху, ни одно не идет от народной базы снизу вверх. Это не демократия, а ее прямая противоположность.

Но доказывать, что в Советском Союзе нет демократии,

для всех, кроме коммунистов, значит ломиться в открытую дверь. Никто — кроме опять-таки коммунистов — не утверждает, что в Советском Союзе уже есть демократия. Вопрос в том, происходит ли там развитие в направлении к демократии, обнаружились ли, другими словами, признаки процесса демократизации? Доказывать отсутствие чего-либо обычно очень трудно, а иногда и невозможно. Но положение, что в Советском Союзе не только нет уже осуществленной демократии, но и не происходит демократизации, представляется мне вполне доказуемым. Полновластным правительством в Советском Союзе является, конечно, не Совет министров, а Президиум ЦК партии. Больше 40 лет тому назад я слышал из уст М. Н. Покровского замечание: «...наше правительство, т. е. Политбюро, если называть вещи своими именами». В этом отношении положение не изменилось до сих пор, только Политбюро стало называться Президиумом. Глава правительства — Первый (или в прошлом Генеральный) секретарь. Сталин был главой правительства и до того, как он «выбрал» себя председателем Совета Народных Комиссаров. После смерти Сталина произошло, однако, если не формально, то фактически существенное изменение. Власть Сталина была неограниченной и в том смысле, что она исключала возможность альтернативного правительства. После смерти Сталина такая возможность существует настолько реально, что мы уже были — не всегда отдавая себе в этом отчет — свидетелями смены ряда правительств, замаскированной тем, что замена одного правительства другим производилась не в один прием, а, так сказать, по кускам. Но результаты совершенно очевидны. Что осталось теперь от первоначального триумвирата: Маленков, Молотов, Берия? И все смены правительственных комбинаций происходили без малейшего участия — и даже без ведома — не только народа, но и широкой партийной массы, лишь пост фактум узнававших о происшедших переменах. Так было и в случае особенно острого правительственного кризиса в июне 1957 года. В этом случае было подготовлено противостоявшее Хрущеву альтернативное правительство Маленкова, Молотова, Кагановича. Эта группа, позднее получившая прозвание «антипартийной», при поддержке еще четырех членов Президиума составила большинство семи против Хрущева и его трех сторонников (Микояна, Кириченко и Суслова). Хрущев был свергнут в Президиуме, но был восстановлен спешно созванным Пленумом ЦК. И за пределами ЦК ни в партии, ни вообще в стране никто не знал, о разразившемся кон-

фликте, пока не было опубликовано постановление, принятое Пленумом. Альтернативы, как мы видим, были, но когда происходил выбор между ними, народ и партия ничего об этом не знали и могли только безмолвствовать. Пленум ЦК, сыгравший решающую роль в этом конфликте, в свою очередь не является домократическим представительством ни партии, ни тем менее всей страны. Формально Пленум выбирается съездом партии, но фактически съезд не выбирает, а только подтверждает — всегда единогласно! — представленный ему состав Пленума, являющийся результатом секретных комбинаций в не поддающемся точному определению верхушечном слое партийного аппарата. Так образуется правящая олигархия, и до сих пор не было сделано ни одного шага от этой организации власти в сторону не только демократии, но хотя бы расширения ее базы. Без малейшего намека на демократический процесс образования власти, состав фактического правительства за десять лет изменился самым радикальным образом: из десяти членов образованного после смерти Сталина Президиума в нем осталось только два — Хрущев и Микоян, хотя все остальные живы (что было бы немыслимо при Сталине).

Никаких проблесков демократического процесса нельзя найти и на других ступенях партийного аппарата, в котором было великое множество удалений и перемещений — секретарей республик, областных, краевых и так далее. Всюду был и есть подбор сверху, лишь замаскированный формальностью выборов. Нельзя найти ни одного случая соревнования кандидатов и выбора между ними посредством волеизъявления снизу. Может быть, подобные случаи когда-нибудь бывают при формировании органов местного управления, но если это вообще возможно, то лишь в пределах, допускаемых партийным контролем, и без участия всего населения в решении спорных вопросов. Словом, самые тщательные поиски признаков развития в сторону демократии, неизбежно приводят к заключению, что этого развития в Советском Союзе нет. После смерти Сталина имело место возобновление активности Пленумов ЦК, но это есть лишь некоторое расширение круга правящей олигархии, остающееся в строго ограниченных пределах.

Но если не демократизация, то, может быть, либерализация? За это как будто говорят такие явления, как общее смягчение режима, ослабление нажима на население, освобождение

заключенных в лагерях, прекращение ночных арестов, возможность несколько свободнее выражаться и так далее. При очень расплывчатом понимании либерализма, вернее, даже «либеральности», это можно считать либерализацией — рискуя, однако впасть в большое недоразумение. Я ставлю вопрос о либерализации, имея в виду гораздо более определенное и исторически обоснованное понятие либерализма — политического и культурного (о либерализме экономическом в данной связи говорить не приходится). Такое понятие либерализма означает не просто менее жестокое или более снисходительное отношение к людям, а принципиальное признание ряда «свобод» — слова, печати, литературного и художественного творчества, соревнования и борьбы идей — такое признание, когда эти «свободы» являются уже само собой разумеющимися, в известном смысле естественными правами каждого гражданина. Такой либерализм означал бы действительно глубокое преобразование политической системы, даже если бы он не сопровождался осуществлением демократии (возможны, и существовали, либеральные режимы без демократии: просвещенный абсолютизм, цензовая конституционная монархия). Но такого либерализма в Советском Союзе нет ни в законченном виде, ни в развитии. Делаются поблажки в случаях, которые не считаются важными, власть в том или ином отношении иногда, так сказать, «распускает возжи», но свобода мысли и ее выражения не только не получила принципиального признания, но принципиально отрицается. И так обстоит дело со всеми либеральными принципами. Власть делает те или иные послабления, которые могут быть очень важными для населения, допускает даже кое-какие вольности (например, в литературе), но не чувствует себя связанной, и то, что она дает сегодня, она может завтра взять обратно. Сдерживать ее могут не принципы либерализма, а только практические соображения.

Читатель, конечно, заметил, что в вопросе о либерализации я был менее категоричен, чем в вопросе о демократизации: в одном случае отрицание было безусловным, в другом оно сопровождалось оговорками. И это не только потому, что я должен был считаться с двусмысленностью, с которой часто связано пользование понятием либерализма. Отсутствие либерализации и по существу не является таким безусловным, как отсутствие демократизации. Дело в том, что демократизация может осуществляться только как государственная политика, проводимая правительством. Никакая часть населения

не может сама начать проводить демократические выборы в органы местного или общегосударственного управления или принимать обязательные для правительства решения, скажем, выбирать не официальных кандидатов, а представителей какой-либо оппозиции. Но либерализация может быть самочинной, выражаясь в эволюции мыслей и настроений. Отдельные «свободомыслящие» лица или группы лиц могут, так сказать, позволять себе вольности, дерзать выходить за рамки официально установленного и обязательного. Мы знаем, что это происходит и отнюдь нередко, главным образом — или по крайней мере — наиболее явно в среде студенческой молодежи, в литературных и артистических кругах. И что знаменательно, реакция правительства не является однородной. Бывают репрессии — исключения из высших учебных заведений, аресты, ссылки. Иногда дело ограничивается «хрущевским» окриком, поддерживаемым диким хором «консерваторов» (то есть злобных реакционеров), как, например, по отношению к абстрактному искусству или атональной живописи. Но кое-что остается и, пусть с зигзагами, но сфера вольностей все же постепенно расширяется. Это — либерализация, не проводимая активно правительством, но с которой правительство в какой-то мере вынуждено пассивно мириться. Это еще не процесс, доминирующий в развитии советского общества, но один из процессов, в этом обществе происходящих. Здесь я отвечаю на упомянутый выше вопрос: говорить нужно не об одном процессе, а о различных процессах. Все, что происходило после смерти Сталина, в одну формулу не укладывается. Все развитие было полно зигзагов и противоречий. Это, однако, не освобождает нас от вопроса: что же все-таки происходило — и происходит — что и почему?

Выражаясь образно, можно было бы сказать, что мантия Сталина упала на плечи, которым было не под силу ее носить. Смерть Сталина привела к власти его наследников, что было задокументировано в их обращении к народу (предостережение против паники). После каких-то первых стычек, приведших Хрущева к доминирующему положению в секретариате, наследники, очевидно, решили некоторое время держаться друг за друга (коллективное руководство), воздерживаясь от внутренней борьбы. За одним исключением: им нужно было сломить власть тайной полиции, которая могла стать гибельной для каждого из них. Имея за собой армию, они смогли этого достичь ликвидацией Берии и рядом мероприятий, в зна-

чительной мере дезорганизовавших чекистский аппарат и подорвавших его могущество. Это был тот «либерализм», который был необходим также и для своего рода примирения с населением, чего хотели неуверенные в прочности своего положения наследники Сталина. Почти сейчас же после Сталина они начали и отмежевываться от него: ликвидация дела врачей, почти полное исчезновение имени Сталина со столбцов печати, затем новые тезисы по истории партии, возвращавшие «от Сталина к Ленину». Нуждаясь в покрывающем их высшем и бесспорном авторитете, закоренелые сталинисты решили превратить себя в «ленинское руководство». И если не каждому из них в отдельности, то партийному руководству, как коллективу, действительно удалось стабилизировать свою власть над страной. После этого потребности в «либерализме», который никогда не был принципиальным, больше не было.

Но когда верные ученики Сталина перестали быть обязанными всё видеть его глазами — или притворяться, что они так видят, — они не могли не обнаружить совершенно принудительных оснований, вынуждавших проведение реформ, связанных с известной трансформацией режима. Основным фактом было то, что к моменту смерти Сталина Советский Союз был уже далеко не той страной, какой он был, когда они под руководством Сталина сколачивали его, сталинское, тоталитарное государство. Превращение страны преимущественно аграрной в страну на высокой ступени индустриализации уже само по себе в несколько раз увеличивало потребность в неземледельческой и, в особенности, в квалифицированной рабочей силе. А к этому присоединились последствия войны с ее колоссальными потерями главным образом мужского населения в его физически наиболее продуктивном возрасте. Восстановление подвергшегося страшным разрушениям народного хозяйства потребовало сверхчеловеческих усилий, вызывавших — к тому же при недостаточном питании — физическое и нервное истощение. Только Сталин и те, кто при его жизни на все смотрели его глазами, могли не делать выводов, вытекающих из этого положения. Но их не могло не сделать послесталинское руководство, в особенности когда оно убедилось, что сталинская сельскохозяйственная политика поставила и без того недоедающее население под угрозу голодной катастрофы. Принятие мер к подъему сельскохозяйственного производства было принудительной необходимостью. Поднятие производи-

тельности труда во всех отраслях хозяйства было слишком острой необходимостью, чтобы позволить себе «роскошь» держать работоспособных людей в лагерях с крайне низкой производительностью лагерного труда и высокой лагерной смертностью. Но что-то нужно было делать и для повышения производительности труда всего рабочего населения, страдавшей от хронической переутомленности трудящихся, тягостных условий их жизни и вызываемых этим озлобления и апатии. Словом, потребность в реформах была более чем необходима. Но велики были и препятствия, вытекавшие из характера тоталитарной власти. Отсюда зигзаги и противоречивость внутреннего развития за это послесталинское десятилетие.

Тоталитарная власть, охватывающая буквально все стороны жизни, может существовать, только опираясь на колоссальный аппарат управления, всюду проникающий и в то же время направляемый единой волей из одного источника власти и потому максимально централизованный. Само собой разумеется, что весь он не может состоять ни из гениев, ни из верующих и бескорыстных адептов власти, и их надежность обеспечивается — теоретически! — системой организованного недоверия в виде всяческих контрольных органов, в свою очередь умножающих собой ряды невероятно разросшейся бюрократии. Здесь не место говорить о всех ее недостатках и злоупотреблениях, о которых постоянно говорится и в советской печати. Борьба с бюрократизмом не сходит с порядка дня. Но реально бороться с бюрократизмом можно, только противопоставляя ему самодеятельность и самоуправление, допуская образование автономных органов и группировок. В понимании этого недостатка как будто нет. Различные «перестройки управления» то и дело проводятся, имея в виду поощрение самодеятельности и автономии, но в то же время — и это портит все дело — с оглядкой на основной принцип тоталитаризма, исключающего существование автономных организаций и общественных группировок. Самодеятельность поощряется, но каждое конкретное мероприятие, по видимости в этом направлении, сопровождается каким-либо бюрократическим нововведением для контроля над этой самодеятельностью, таким образом сводящего ее к чистой фикции. Тоталитаризм предполагает максимальную централизацию. В 1957 году невозможность рационального управления индустрией из одного центра была признана официально и публично. Была произведена перестройка с целью де-

централизации, образованы совнархозы, но они были поставлены под такую пирамиду контроля и управления сверху, что вместо децентрализации получилось лишь иное распределение центральных органов в пространстве. Партийное руководство, конечно, хочет, чтобы было больше инициативы и самодеятельности, но само же душит их своим контролем и ограничениями.

И все же, как я уже сказал, это не только бег на месте. В монолитном здании тоталитаризма одна за другой образуются трещины, хотя на первых порах и не особенно значительные. Я не вижу процессов демократизации и либерализации (в принципиальном смысле слова), но, пользуясь неблагозвучным словообразованием, готов признать, что происходит очень постепенный и зигзагообразный процесс «детотализации», как бы слагающийся из нескольких параллельных или перемежающихся процессов развития. Если начать сверху то прежде всего центральная власть совсем не так монолитна, как в то время, когда она была сосредоточена в кулаке Сталина. В ней нет — и это одна из причин колебаний и зигзагов — единой несгибаемой воли. Хрущев, и достигнув «высшей власти», не перестает перетряхивать состав Президиума и Секретариата партии, то есть, состав своего правительства. Не обладая таким всемогуществом, какое было у Сталина, он на каждом этапе старается подобрать наиболее надежно поддерживающую его комбинацию. Очевидно, для него имеет значение соотношение сил в Президиуме, и вполне вероятно, что некоторые решения достигаются там путем компромиссов. Имевший место на последнем съезде новый бешеный взрыв нападок на Сталина и на антипартийную группу явственно указывает на то, что оппозиция против хрущевской политики гораздо более живуча и значительна, чем это официально признается. В самом Советском Союзе говорят о «нео-сталинистах» и о собственных «китайцах», что находит подтверждение и в печати других коммунистических партий. Об опасности «догматизма» и «сектантства» говорится, конечно, недаром. «Либералы» и «консерваторы» имеются не только среди писателей и деятелей искусства, но и в других сферах, включая партийный аппарат, в котором поднимается новое поколение, старающееся вытеснять «консерваторов», являющихся своего рода пережитком сталинского времени. Тот факт, что существуют различные направления мысли, что они прямо или в замаскированной форме сталкиваются между собой и люди могут безнаказанно занимать ту или иную сторону, — самый этот

факт уже противоречит характеру всеохватывающего и всепредписывающего тоталитаризма. А если образуются хотя бы кружки единомышленников, то это уже можно рассматривать как зачатки автономных группировок. Нам это еще не может не казаться очень скромным началом. Но существуют и более широкие области, в которых фактически осуществляются самостоятельность мышления и более или менее широкая свобода обмена мнений. Это прежде всего та область точных наук — математика, физика, химия, — в которых благодаря свободе научной работы достигнуты чрезвычайно внушительные результаты. Но тут и Сталин не запрещал ученым работать по их разумению. Наверное, достаточно широкая свобода существует и в области всех естественных наук — за исключением учения о наследственности. Достижения в этих областях показывают, какие результаты дает свобода мысли, которую, однако, без опасности для себя может допустить и тоталитарный режим. Но выходящие за рамки предписанного дискуссии ведутся и в области наук общественных и, что особенно важно, среди экономистов — лишь под весьма прозрачным прикрытием «марксизма-ленинизма», то есть ленинской марксистской ортодоксии. На самом деле среди советских экономистов, и притом наиболее способных и знающих, немало «ревизионистов» или другого рода еретиков. Их позиция сильна тем, что их работы могут иметь значение для выяснения и решения практических проблем советской экономики. Благодаря этому область экономических дисциплин уже становится в значительной мере автономной — за исключением экономики сельского хозяйства, которую Хрущев резервировал для своих идей и причуд.

В различных формах и с зигзагами и перебоями процесс «детотализации», по всей вероятности, будет продолжаться, являясь не задуманным по какому-либо плану, а вынуждаемым непокорными фактами жизни. Но что из этого выйдет? Какими организационными формами будет закрепляться этот процесс? Какая государственная структура может прийти на смену тоталитаризму? Да и как далеко может вообще зайти процесс «детотализации»? Сейчас я не вижу возможности хотя бы гадательно ответить на эти вопросы. Может быть, десять лет без Сталина все еще слишком короткий срок, чтобы более конкретно видеть возможности развития. И, может быть, я слишком грешу в сторону пессимизма, если для предвидимого будущего не вижу возможности развития Советского Союза в направлении к демократии. Но я не

могу, следуя Пастернаку, полагаться на то, что «свобода растет как трава». Трава может вымерзнуть, траву можно скосить. Я не сомневаюсь, что и в Советском Союзе существует «тайная свобода» Пушкина и Блока. Она имеет свою ценность. Но я хотел бы увидеть явную свободу, которую ценю еще больше.

Ю. Денике

РУССКИЙ ЯЗЫК «ТАМ»

Тот, кто следит за новыми книгами, появляющимися в Советском Союзе, конечно, обратил внимание на обилие книг, посвященных языку и, особенно, культуре речи. Такое обилие, естественно, вызывает вопрос: чем это вызвано? Но достаточно просмотреть содержание хотя бы двух-трех книг, чтобы ответ стал ясен: культура речи в СССР необычайно снизилась, люди говорят и пишут с ужасающими ошибками, язык изуродован настолько, что назрела настоятельная необходимость начать борьбу с этой порчей языка. И обилие книг в защиту чистоты речи — естественная реакция на ее загрязнение.

А книг, действительно, такое обилие, что потребовалось бы немало труда, чтобы составить соответствующую библиографию. Для примера отмечу следующие: периодический сборник Академии Наук «Вопросы культуры речи», статья проф. Виноградова — «О культуре русской речи», проф. Миртов — «Говори правильно», Б. Тимофеев — «Правильно ли мы говорим?», К. Чуковский — «Живой как жизнь», Б. Головин — «О культуре русской речи» и т. д. При чем такие книги издаются не только в столичных центрах, но и в удаленной провинции: Кудрявцев — «Культура речи» (Иркутск), Евграфов — «О культуре речи» (Пенза), Рихтер — «Нормы литературной речи» (Донецк) и др. К ним надо прибавить большое количество статей, постоянно появляющихся, как в специальных журналах, так и в общей прессе.

Знаменательно также и обилие практических предложений, цель которых все та же: борьба с искажениями речи. Люди предлагают разное: учредить ежегоднюю «Неделю» в защиту чистоты языка, печатать на обложках ученических тетрадей, на почтовых конвертах, на конфетных коробках и даже на спичечных коробках наиболее часто встречающиеся языковые неправильности, выпускать специальный киножурнал «Учись говорить правильно» и организовать Всесоюзное Общество любителей языка. Эти предложения тоже

свидетельствуют о том, что беда воистину велика и нужны всеохватывающие меры для ее предотвращения.

Знаменательно также то, что большинство этих книг, статей и предложений написаны не спокойным деловым языком а страстным и возмущенным. В них часто встречаются такие выражения, как — «это крайне тревожно», «пожалейте читателя», «отвратительное отношение к языку», «циничное пренебрежение языком» и т. д. К. Паустовский («Живое и мертвое слово») пишет: «Когда я услышал — 'Закругляйтесь купаться', солнце в моих глазах померкло, я сразу ослеп и оглох. Мне стало даже страшно!» Это сказано, конечно, чересчур сильно, но примерно так же и то же пишет и Б. Лавренев в своей «Автобиографии»: «Мне физически больно слышать изуродованные русские слова: 'учёба' вместо учение, 'глажка' вместо глаженье, 'зачитать' вместо прочитать». А с Ф. Гладковым делался чуть ли не сердечный припадок, когда он слышал такие слова, как «захочем», «у нас завтра выборá в местком» — или «письмо отправлено в адрес прокурора».

Опасность тем более велика, что порча языка проникла даже в ту среду, которая, казалось бы, должна стоять в первых рядах ревнителей и охранителей языка: в среду писателей, журналистов, педагогов и, особенно, в среду учащейся молодежи.

*

Естественно, что те, кто хотят защищать язык от уродства, не ограничиваются одним лишь констатированием факта, что «язык в опасности», но стараются найти причины, вызвавшие беду. С этой целью произведено много наблюдений и сделан ряд выводов.

Но по установившейся советской манере при обсуждении отрицательных явлений всегда начинают со сторон положительных и восхваляют их, а потом уж после двух-трех капель мёда переходят к ложкам дёгтя. Поэтому советские исследователи, говорящие о том, насколько испортился современный язык, предварительно говорят о том, насколько он улучшился и чем он обогатился. Улучшился он, по их мнению, оттого, что освободился от ряда слов, а обогатился тем, что приобрел ряд новых.

Исследователи отмечают, что язык освободился от ряда «унижающих» слов (хохол, жид, мужик, чернь), а также от тех, которые свидетельствовали о социальном неравенстве

(податное сословие, нижний чин, ваше превосходительство, милостивый государь[1] и т. п.) Одновременно исчезли и подобострастные слова — «покорнейше благодарю», «милости прошу», а «жалованье» и «прошение» заменились зарплатой и заявлением.

Наблюдение это справедливо, и факт исчезновения из языка всех подобных слов несомненен, но видеть в этом установление социального равенства можно лишь при большой натяжке и при особом желании. Слово «прошение», действительно, исчезло из делового языка: никто в СССР прошений не подает, а все подают заявления. Очевидно, предполагается, что при советском строе, ни о чем не недо **просить,** а достаточно лишь **заявить** о своей нужде, и все будет сделано. Но при этом любопытно отметить, что всякое (без исключения) заявление в Советском Союзе неизменно начинается словом «прошу»: «прошу местком выдать мне путевку в Дом Отдыха», «прошу выплатить мне за сверхурочную работу», «прошу домоуправление произвести ремонт потолка» и т. д.

Кроме того следует отметить, что «унижающий» и «подобострастный» смысл всех таких слов никем никогда не осознавался и не чувствовался. Такова уж участь устойчивых, т. е. установившихся в языке слов и выражений: первоначальный смысл их как бы стирается, уничтожается и перестает ощущаться. Тот, кто говорит «спасибо», даже не подозревает, что он призывает божье спасение (спаси Бог), а хозяйка, которая «милости просит» гостей к столу, ни о какой милости с их стороны, конечно, не помышляет. Точно так же ни один работник, получая «жалованье», даже не знает, что эти деньги ему «жалуются», как некогда цари жаловали поместьем, саном боярина или шубой с своего плеча. Подобные слова безвозвратно потеряли свой основной смысл. Кому, например, приходит в голову архаическая стрела, когда он СТРЕЛяет на охоте, и кто вспоминает щит, когда он ищет в суде заЩИТы своих интересов? Поэтому исчезновение подобных слов не столько свидетельствует о якобы достигнутом социальном равенстве, сколько обедняет язык, лишая его нужных оттенков.

---

[1] Вряд ли слово «государь» говорило о приниженном положении обращавшегося. В старину различали оттенки: высшему лицу писали — «милостивый государь», равному — «милостивый государь мой», низшему — «государь мой». Но во всех случаях слово «государь» являлось лишь формой общепринятой вежливости.

Попутно следует обратить внимание и на то, что вновь введенные слова, которые, казалось бы, призваны свидетельствовать о новых человеческих отношениях, этой обязанности не выполняют, так как быстро становятся ходовыми словами. Так например, введенное вместо слова «господин» слово «товарищ» очень быстро примелькалось и настолько потускнело, что потеряло весь свой «товарищеский» смысл. Кто же в Советском Союзе, говоря о товарище Сталине или хотя бы о товарище директоре, чувствует себя товарищем и Сталина и директора?[2]

Принято с удовлетворением говорить, что русский язык за последние десятилетия чрезвычайно обогатился многими новыми словами, рожденными новыми условиями жизни. Обогащение это несомненно и бесспорно, но оно, к сожалению, сопровождалось и сопровождается чрезвычайным обеднением. Из русского языка (именно под насильственным влиянием новых форм жизни) исчезли целые категории слов. Перечислять эти категории здесь неуместно, но две из них отметить следует: во-первых, исчезли многие слова, которые выражают некоторые стороны духовной жизни человека, а также те, которые имеют прямое или косвенное отношение к вере, религии и церкви. Сданы в архив и забыты новым поколением такие слова, как «одухотворенный», «возвышенный», «милосердие», «любовь к ближнему» и «святой», а «коленопреклонение» употребляется только в ироническом смысле. Припоминаю: когда Сталин объявил, что «социалистическая собственность священна и неприкосновенна», мне пришлось объяснять студентам — что такое «священный». Они не понимали: «Святой, что ли?» Но и слово «святой» они понимали, мягко выражаясь, несколько примитивно.

Почти полностью исчезли не только из разговорного, не только из общелитературного, но даже из поэтического языка все славянизмы, потому что в них чудится что-то «церковное»: ланиты, лобзать, уста, чело, деннница и проч. Невольно возникает вопрос: мог бы ли Пушкин создать своего «Пророка», если бы у него были отняты — и «духовная жажда», и «шестикрылый серафим», и «зенница», и глагол «внять», и прилагательное «горний», и существительное «персты».

---

[2] Люди сведущие рассказывали мне, как в застенке НКВД палач кричал смертникам: «Не волнуйтесь, товарищи! Шлёпну так, что и не заметите!»

Язык стал более упрощенным, ограниченным и плоским. Потеряв целые категории слов, выражений и оборотов, он (даже у поэтов) приспособился к выражению только простейших чувств и явлений общественно-политического или же бытового порядка. Один преподаватель рассказывал мне, как его класс «споткнулся» на пушкинской строке: «Роняет лес багряный свой убор». Ученикам (это было в 9 классе) было непонятно, как может лес ронять что-либо? что значит «багряный»? что такое «убор»? В конце концов этот преподаватель был вынужден «перевести» эту строку на понятный ученикам язык: «С лесных деревьев падают желто-красные листья».

*

В пореволюционные годы в русский язык проникло и закрепилось в нем много новых иностранных слов. Опасны ли они для языка и не способствуют ли они искажению русской речи? Думаю, что опасности в них нет, и что в настоящее время уже невозможно обойтись без многих из них: колониализм, квалификация. Думается что такие иностранные слова сами по себе языку не страшны, как не были ему страшны давным давно вошедшие в него подобные же иностранные слова, начиная от греческой тетрадки и кончая тюркским чулком. В русском языке великое множество иностранных слов, но они либо исчезают, не принятые языком, как, например, исчезло слово «индижестия» которое можно довольно часто встретить в литературе 19 века,[3] либо заменяются русскими: локомотив — паровоз, аэроплан — самолет, а в наше время геликоптер — вертолет. Кроме того они легко русифицируются, так что многие даже не знают, что они, говоря слово «герой», употребляют греческое слово, а говоря слово «руль» — английское. Интересно отметить, что некоторые иностранные слова способны

---

[3] Например, в шуточном куплете Некрасова:

Питаясь чуть не жестию,
Я часто ощущал
Такую индижестию,
Что умереть желал!

даже вытеснять русские.[4] Опасны для языка не иностранные слова, а намеренное злоупотребление ими и, особенно, невежественное употребление их.

Есть люди (они и прежде бывали), которые считают эти иностранные слова признаком образованности и даже учености, подобно тому фельдшеру, который обыкновенную столовую соль называл — натрий хлорикум. Такие люди любят щегольнуть проблемами вместо задач, гипотезами вместо предположений и директивами вместо указаний или предписаний.

Еще больший вред наносит языку невежественное употребление таких иностранных слов.

«— Хотя товарищу Пахомову пришлось читать свой доклад с экспромта он читал его хорошо, с апогеем!»

«— Вы, товарищ, фигурируете устарелыми, прошлогодними цифрами!»

Естественно, чем больше иностранных слов (особенно случайных) употребляется в языке, тем большая опасность засорения и искажения языка.

Опаснее всего то, что допускаемые неправильности не замечаются малообразованными слушателями, и те начинают повторять их, отчего эти неправильности укореняются становясь всеобщими. Примером может служить слово «биография»: во-первых, к нему без толку очень часто делают нелепое добавление — «жизни» («Я читал биографию жизни Ленина») и, во-вторых, его в СССР почти полностью заменила «автобиография», которую всем приходится писать при подаче чуть ли не каждой анкеты:

«—-У Пушкина была интересная автобиография, а у Чехова самая обыкновенная!»

Конечно, правы будут те, кто скажут, что неправильное употребление иностранных слов наблюдалось и раньше. Но все-таки подобные искажения встречались редко, только в определенной среде, являясь темой анекдотов и никакого влияния на язык они не оказывали. В советских же условиях они приняли массовый характер, а поэтому портят язык и вызывают настоятельную необходимость борьбы с ними.

---

[4] Примером являются вытесненные слова «водомет» и «зодчий». Школьники не понимали их, пока им не объяснили их «по-русски»: водомет — фонтан, а зодчий — архитектор.

*

Вредное влияние на язык «там» оказывают также сокращения и слияния слов. Пример сокращений — «зав» вместо заведующий, «спец» вместо специалист, «трам» вместо трамвай. Пример слияний — Мосгорсовет, комсомол, колхоз и др. Подобные искусственные слова-сокращения были еще в дореволюционное время: РОПИТ (Русское Об-во Пароходства и Торговли), ИРТО (Императорское Русское Театральное Общество) и др. Но в те времена подобные слова употреблялись лишь в ограниченном кругу людей и имели особое значение, облегчая почтово-телеграфные сношения, в язык же они не проникали.

Но после революции сокращения хлынули неудержимой волной. Со всех сторон посыпалось ЗАГС, ДОПР, ЖАКТ. Эти короткие слова безудержно разбухали и удлинялись. Появлялись длинные МОСМЕТАЛЛОПРОМСОЮЗы и ЛЕНГЛАВСТАКОИНСТСНАБСБЫТы. Были анекдотические, но вполне реальные ГЛАВНАЧПУПСы и ЮЖБУМХЛАМы. Дошло даже до того, что когда открылся Третий Петроградский Университет, его в шутку иль не в шутку, но стали называть ТРЕПЕТУН, а Государственные Высшие Театральные Мастерские официально назывались изящным словом ГВЫТМ.

Быть может, все эти искусственные слова не могли бы повлиять на язык, но в условиях советской жизни они нашли прочную поддержку: во-первых, в партийных кругах (официальных и неофициальных) их с самого начала встретили, как «наших, советских», и такой взгляд на них закрепился, а поэтому их поощряли и культивировали даже те, кто видел их языковую вредоносность; во-вторых, партийные дирижеры не обладали (и доныне не обладают) чувством языка, и их ухо не сжимается от боли, слыша разные ГВЫТМы, а поэтому они оказывают ГВЫТМам начальственную протекцию. Неудивительно, что все такие слова очень скоро перестали быть полезным телеграфным кодом и хлынули в быт, а, следовательно, и в язык. Раньше всего их подхватили школьники, что, конечно, было не более, чем ребяческим озорством и такой же ребяческой революционностью. Вслед за школьниками они проникли в семью. Здесь иногда они стали заменять собою даже человеческие имена. На «октябринах» партийно-революционные родители награждали своих детей такими именами, как Долкап (ДОЛой КАПитализм), Аванчел (АВАНгард ЧЕЛовечества) или Сиврэн (СИла-Воля-

Разум-ЭНергия). Было в ходу и женское имя Нинель (читай с конца — Ленин).[5] Тверской бульвар в Москве превратился в Твербуль, в столовках кормили ячкашей, расплачивались не деньгами, а дензнаками, а влюбленные в Москве чуть ли не до сих пор назначают свидание у Пампуша, т. е. у памятника Пушкину. Дошло до того, что люди перестали понимать самые обыкновенные слова, видя в них какой-то код и пытаясь расшифровать их.

В. Качалов рассказывал, как он не понял надписи на двери — «ВХОД» и решил, что за дверью помещается Высший Художественный Отдел Дипкурьеров.

Вред языку от этих слов-уродцев несомненен: они притупляют ухо, приучают к словесной какофонии и парализуют в человеке чувство художественности и правильности речи.

✣

Очень большая опасность языку идет и со стороны вульгаризмов, цветущих буйным цветом. Они появляются неизвестно откуда и овладевают языком неизвестно почему. Они безобразны, нелепы, бессмысленны, но тем не менее они властны. К счастью, радиус их распространения достаточно мал, и область их достаточно узка. Они имеют хождение главным образом в блатной и полублатной среде, а также (что значительно страшнее) в среде молодежи, в том числе и учащейся.

К. Чуковский в своей книге «Живой как жизнь» пишет об этом вульгарном жаргоне: «Кто же из нас не испытывает острой обиды и боли, слушая, на каком языке иной раз изъясняется наше юношество! Фуфло, потрясно, шмакодявка, хахатура, шикара... В каждом слове чудится циническое отношение к людям, вещам и событиям».О. Богданова («Культура поведения школьника») приводит пример самого обыкновенного разговора юношей, которые выбирали в библиотеке книгу. Один советует:

«— Возьми эту: ценная вещь!

— Эту не бери: лабуда! пшено!

— А вот это жутко мощная книжка!»

Пародируя этот язык, К. Аксенов в своем рассказе «На полпути к луне», пишет:

«Кириченко побросал в чемодан свои шмотки».

---

[5] Вспомним интересную повесть П. Ершова «Нинель», печатавшуюся несколько лет тому назад в «Новом Журнале».

«Одна баба, с которой у него в прошлом году было дело, говорила ему...»

«Показал ему направление, туда и вались».

«Он не долго думал перед тем, как засветить ему фонарь».

Советская молодежь видит в таких словах своеобразный шик и с задором щеголяет ими, презрительно отметая от себя язык Пушкина и Тургенева, Чехова и Блока. Юноше словно бы стыдно назвать девушку, которую он любит, — «моя возлюбленная» и он говорит — «моя чудачка», «чувиха». Он, влюбленный, не ухаживает за предметом своей любви, а «подклеивается», а иной раз «подсобачивается».

Арк. Аверченко в одном из своих рассказов вспоминает, что в дни его молодости его товарищи не влюблялись, а начинали «стрядать»:

«— Ты по ком стрядаешь?

— По Кате...

— Ну, стрядай, стрядай! Всякому стрядать приятно!..»

Советские же юноши для выражения своих чувств пренебрегают не только «стряданием», но и вообще членораздельным языком, и говорят «я вшпендяпился».

Он, этот жаргон, совершенно оторван и от истоков русского языка, и от его духа. Он не рожден, а пробрался контрабандой и живет без паспорта, и каждое его слово — слово-однодневка: живет, пока не выгонят. Он построен исключительно на грубости, на низменности, на пошлости. «Чем грубее, тем лучше»! Но свидетельствует ли дух этого жаргона об изменении духовных свойств молодежи? Вопрос большой и ответственный. Несомненно, что вульгаризация языка порождена вульгарной жизнью, которую вынуждена вести советская молодежь. Советские исследователи, конечно, умалчивают об этом, но очень возможно, что вульгарный жаргон молодежи, будучи отражением ее жизни, одновременно с тем является и проявлением ее тяги к необычному, к суррогату какой-то другой жизни, которой молодежь полностью лишена. Кроме того он является неосознанной реакцией и инстинктивным протестом против того языка, которым наполнены советские будни: штампованный язык «Правды», косноязычный язык всех «товарищей докладчиков» и «товарищей ораторов», сухой и невыразительный язык учителей, лживый и лицемерный язык писателей и поэтов.

*

Есть и еще одна болезнь, которая уродует русский язык «там»: это специфический, канцелярско-чиновничий язык.

Всем известно безмерное, чуть ли не фантастическое развитие бюрократизма во всех областях жизни советского государства. В СССР национализировано все. На практике это означает: всем ведует многомиллионная армия партийных и беспартийных чиновников.

Это положение, помимо прочих великих бед, создало беду и для языка. Канцелярский язык уже давно, чуть ли не с петровских времен, выработал свой стиль: безвкусный, громоздкий, пропитанный словесной мертвечиной. Чиновник органически не мог написать просто — «кроме того», но старательно выписывал — «присовокупляя к сему»; не позволял себе сказать просто — «а потому», но выводил «на основании вышеизложенного». Он писал и говорил: «по причине вынутия из «Дела» требуемого отношения», «за ненаклеивание гербовой марки на прошение» и т. д.

Так писали те 30 тысяч столоначальников, на которых когда-то жаловался император Николай Павлович. Так пишут они и сейчас, когда их стало не 30 тысяч, а 3 миллиона. «Лимитировать завышенное потребление чернильно-карандашного инвентаря в тресте», «несогласованное использование человеко-метел при уборке улиц от факта минувшего снегопада», «плановая рационализация крысоборьбы на пищевых складах»... Обыкновенную починку печки в квартире чиновники называют — «ремонт отопительной единицы по обслуживанию жилплощади», а невинную закупку мела и тряпок для школьных классов именуют «внеплановым снабжением написательно-стирательными средствами и принадлежностями».

Но во времена 30 тысяч столоначальников канцелярский язык ограничивал свою власть только канцелярскими стенами. Всякий чиновник, выйдя из департамента, начинал говорить простым человеческим языком. При советских же условиях этот канцелярский язык проник в быт, в семью, в школу, в литературу и даже в детскую душу.

Сидя с компанией за ужином, такие люди продолжают говорить на своем языке:

«— А как, товарищ Поздеев, насчет выпития еще по одной?

— Если это запланировано и согласовано с вышестоящими органами, то я голосую за перевыполнение плана!

— Товарищ Вергутов, пришлите-ка на периферию две стопочки из числа полученных вами централизованным порядком!»

Так повлиял канцелярский язык на бытовой, на обиходный. А вот, как повлиял он на детский язык: примером может служить поздравительное письмо, года два тому назад опубликованное в «Известиях». Некая школьница Оля пишет своему отцу: «Милый папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и в личной жизни!» Не поздравление дочурки, а выдержка из казенной речи какого-нибудь председателя месткома! И если даже предположить, что это письмо сочиняла не сама 12-летняя Оля, а кто-нибудь из старших, то... тем хуже!

Педагоги пишут учебники и статьи таким языком: «В общем и целом драматургия А. Островского в своей творческой квалификации заслуживает положительной оценки», «в этом аспекте творчество Чехова социально согласовано с его эпохой». К. Чуковский приводит фразу из диссертации одной аспирантки, которая хотела высказать такую простую мысль: в 70-80-х годах театры были плохи не потому, что не было даровитых актеров. И эту мысль она изложила так: «полоса застоя и упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей». Другой аспирант щегольнул таким вывертом: «необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры». В статье «К истории создания образа Пушкина в поэме Некрасова «Русские женщины», помещенной в «Ученых (!) Записках Ивановского Педагогического института», автор пишет: «Развивая свое творческое задание, Некрасов дает великого поэта и здесь работающим и сосредоточенно думающим, имеющим сложную и волнующую жизнь, как-то соотносящуюся с жизнью народа — не случайно так выпукло и рельефно, сразу же за раскрытием только что названной особенности образа Пушкина, воспроизводится Некрасовым татарская легенда о трогательной дружбе русского поэта со свободной певческой птичкой — соловьем». И этот чудовищный период с корявыми и несогласованными придаточными и вводными предложениями написан не чинушей, привыкшим к разным «присовокупляя», а педагогом.

Канцелярский язык проник даже в среду пишущей братии. В. Горецкий рассказывает, как редактор остался недо-

волен началом одной его корреспонденции: «Прошли сильные дожди». Редактор прочитал и поморщился:

— Надо бы сказать литературнее: «Выпали обильные осадки».

В. Бианки («Мысли вслух») вспоминает, как вознегодовал редактор одного журнала на автора специальной статьи, который позволил себе написать простыми человеческими словами: «мокрая земля» и «глубокий снег».

— Вы не уважаете читателя! — накинулся редактор. — В научной статье вы обязаны писать — «избыточно увлажненная почва» и «глубокий снежный покров»!

В детской сказке (перевод с английского) переводчик написал: «За неимением красной розы моя жизнь будет разбита», а после указания редактора исправил: «Ввиду отсутствия красной розы»...

О таком языке Чехов когда-то сказал: «Какая гадость чиновничий язык! Пишет, сукин сын, точно холодный в гробу лежит!»

*

Несомненно, что все эти причины ведут к изуродованию языка. Но возможно, что даже они не привели бы его в такое состояние, если бы не было еще одной причины, которую следует считать главнейшей: это — снижение общего культурного уровня. Само собою разумеется, что о такой причине советские исследователи умалчивают.

Но хотя они и умалчивают об этом снижении, — оно общеизвестно и о нем можно судить по многим признакам.

Уже в 20-х годах в «Дневнике Кости Рябцева» Н. Огнев привел цитату из ученического сочинения: «Онегин пульнул в Ленского и убил его насквозь». Эту фразу школьника, конечно, можно было бы отнести к тем, которые вызывают улыбку, но не опасение, если бы «пульнул» и «убил насквозь» не расцвели махровым цветом за минувшие 40 лет.

Уже несколько лет «Крокодил» ведет у себя специальную рубрику, в которой периодически помещаются образцы подобного языка. Рубрика эта совершенно справедливо называется так: «Нарочно не придумаешь». Приведу из нее несколько примеров.

Один из районных парткомов требует, чтобы «агитаторы были снабжены фотографиями наших героев труда, которые сделаны в типографии». На карусели висит такое объявление: «Во избежание выпадения из сидений животных

пассажир не должен бросать рук от ручек животных». Горсовет дает разъяснение: «Прежде, чем газифицировать индивидуальных граждан по графику, они были несогласны платить за газификацию, а теперь в утвержденном графике газификации они поэтому не газифицированы». В акте рыбной базы значится: «Рыба, которая сгнивши, была сплошь реализована необходимыми свиньями, которую они съели». В своем требовании выключать все электроприборы по миновании в них надобности директор учреждения пишет: «Через экономию электроэнергии она достигается снижением расходов на электроэнергию». В «пригласительном билете», разосланном одной школой (школой!) написано так: «12 октября в 18 час. ливенская средняя школа № 3 производит родительское собрание отцов. Просим вас придти на собрание и принять участие в обучении вопроса о воспитании детей в семье». Горсовет выносит постановление: «Все собаки, которые без привязи, будут направляться на предмет взыскания с них штрафа».

Все эти примеры говорят не просто о засилии канцелярского языка: они говорят о соединении канцелярского языка с малограмотностью, с невежеством.

Разговорная речь тем более наполнена искажениями и уродством. В любой советской среде (исключения, конечно, есть) можно услышать их. Нарядная гражданка говорит своей собаке — «Ляжь!» Учитель в классе советует ученикам: «У кого нет чернильницы спереду, мочай взад!» Прокурор в своей речи вещает: «Товарищи, мы судим здеся, потому что хочем ликвидировать уродства жизни!» Повсюду слышно — «булгахтер», «ндравится», «я броюсь», «он хотит», «калидор», «мое фамилие», «сын уже пришел со школы», «пять курей», «он раздел сапоги»[6] и т. д.

*

Искажение иностранных слов, обилие сокращенных и составных слов, канцелярский стиль и даже вульгарный жаргон, конечно, не могли бы создать такой язык: он порожден низкой общей культурой. Ведь культура языка не есть что-то самостоятельное и самодовлеющее, а является лишь одним из элементов общей культуры, и поэтому по языку можно

[6] Все приведенные примеры взяты мною из различных советских книг и статей, говорящих о порче языка в СССР.

судить о степени культурности среды. Жизнь в СССР свидетельствует о том, что живой русский язык вырождается в некультурный и убогий. Очевидно причины, порождающие это, более мощны, чем школьная сеть, библиотеки, книги. Этих причин много, и главная из них, конечно, — порабощение мысли. Там, где мысль подчинена партийному приказу, где она вот уж 45 лет несвободна и несамостоятельна, там не может быть и развития языка. И если выработалось убожество слов, то причиной тому — убожество закрепощенной мысли.

Кроме того надо принять во внимание и выработанное в массах, воспитанное в них сознание необходимости обязательно следовать партийной указке во всем, в том числе и в словах. В массах выработалась привычка к мимикрии: скрывая себя, принимать вид окружающего. В это включается, конечно, и слово. Люди инстинктивно следят за тем, как говорит какой-нибудь секретарь обкома партии или директор их треста и не отваживаются говорить правильно, если те говорят «хочут» или «социлизм». И эту подражательность вызывает в них не подхалимство, а инстинкт самосохранения. Общее подражание принимает вид спирали: начавшись в центре, спираль идет расширяющимися завитками и с каждым оборотом захватывает все бóльшую площадь.

Приведу курьезный, но по сути своей глубоко драматический эпизод. На одной фабрике вырабатывалась новая модель изделия, и этой моделью были заняты все, а поэтому слово «модель» было злободневным и повторялось чуть ли не на каждом шагу. И вот в разгар этой кампании на фабрику был назначен новый директор, который произносил это слово по-своему: с ударением на «о» и в мужском роде: «Этот новый мОдель». И не прошло, кажется, недели, как вся фабрика заговорила: «Наш новый мОдель». Каждый, кто ломал себе язык, думал про себя: «А не будет ли опасно говорить не так, как говорит товарищ директор? а может быть, он заимствовал такое произношение у директора треста? а тот у самого наркома?»

Говорят, будто вульгарнейший глагол «использовывать» (с ударением на «зо») ввел в обиход Молотов в дни своего величия: он произносил именно так, а за ним так произносить стала вся страна. Так же, говорят, родилось и безграмотное произношение слова «единствó»: Сталин произносил его с ударением на «о» — «ЕдинствО противоречий». Конечно,

очень многие, особенно в партийной среде, стали повторять за ним: «ЕдинствО!»

Рассказанное похоже на анекдот, но в нем, «как солнце в малой капле вод», отражена подчиненность русской речи условиям советской системы. Люди приучены думать так, как думают на партийных верхах, и нет ничего удивительного в том, что они и говорят так, как говорят на этих верхах. Язык Пушкиных, Тургеневых и Чеховых заменен языком Сталиных, Молотовых и Хрущевых[7].

Н. Нароков

---

[7] Нельзя судить о грамотности языка Хрущева по газетным отчетам. Раньше, чем пустить на страницы «Правды» его доклад или речь, десятки грамотных корректоров исправляют то, что записали стенографы или зафиксировала лента магнитофона. Но многие из нас слышали подлинные речи Хрущева по радио и телевидению (например, речи в ООН) и слышали этот русский язык председателя совета министров.

НА ПРАВИЛЬНОМ ЛИ ПУТИ АМЕРИКА?

В дни, когда пишутся эти строки, на международной арене, как будто, наступило затишье. Хрущев, правда, как всегда, играет роль двуликого Януса. На съезде восточно-германских коммунистов, он разразился громовой речью против «американских империалистов», мешающих миру медленно, но верно продвигаться по исторически предуказанному пути, ведущему ко всемирному коммунизму, в котором всем, всегда, будет несказанно хорошо. Но одновременно Громыко, очевидно по указанию того же Хрущева, заявил о готовности СССР допустить в год две или три инспекции ядерных приготовлений и установок на его территории, что до сих пор почиталось совершенно недопустимым; две или три — это слишком мало; но лиха беда начало; вокруг цифры можно и поторговаться и может быть столковаться на шести или восьми. Но и эти переговоры прервались. Китайцы, как будто бы не обнаруживают намерения возобновить войну с Индией; из Катанги, Лаоса, пограничных районов Вьетнама почти не поступает известий о новых вспышках. Конечно, все это может быстро измениться, и может-быть совсем изменится к тому дню, когда эта книга Н. Ж. выйдет в свет.

И все-таки затишье — кто знает, может быть перед новой бурей — дает возможность сосредоточить мысли не на «текущих событиях», а на тех тенденциях, которые за ними только скрываются, но не исчезают. Можно поставить такой вопрос: — по правильному ли пути идет внешняя политика США, столь сильно отражающаяся на некоторых фактах внутренней политики и прежде всего, на бюджете.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении бюджета — это громадная доля (от 60-65%) отводимая вооружению. Еще более высокие проценты государственных доходов тратились на вооружение за время первой и второй мировых войн; но ведь США уже с 1945 г. пребывают в состоянии мира, а не войны (если не считать «местной» корейской войны). Однако, непосредственное сравнение цифр американского бюджета с европейскими дает обманчивую перспективу: на-

пример, в США все огромные расходы на народное образование производятся из средств отдельных штатов или их подразделений («уездов» и городов). Но сравнение нынешних бюджетов с прошлыми позволяет заключить, что теперь на вооружение затрачивается много больше, чем бывало в ранние времена; тогда содержание большой армии и связанные с этим расходы считались несовместимыми с лучшими американскими традициями, в частности, с демократическими принципами. Тогда армия почиталась угрозой свободе, царящей здесь, за океаном, отделяющим Америку от неисправимо воинственной Европы.

И вот теперь, когда США проходят или проходили через период успокоения на «внешнем фронте», кое-кто начинает задаваться вопросом: — а не произошло ли какое-то печальное перерождение США из государства, основной задачей которого с самого его рождения считалось именно обеспечение всем гражданам максимальной свободы и справедливости (что началось с правления Ф. Розвельта,* когда понимание справедливости в чисто формальном смысле сдвинулось к справедливости в смысле материальном, что выражается термином «государство благосостояния», т. е. — государство, обеспечивающее каждому гражданину какой-то минимум, материальных и культурных благ) — в направлении к тому типу государственности, который в течение многих веков господствовал в Европе (включая и Россию), когда народы изнывали под тяжестью расходов на вооружение, и теряли в составе гражданского населения значительный процент молодых людей и мужчин среднего возраста. Так вот, не происходит ли в США обратный процесс — от благосостояния к максимальной подготовке к войне.

Факты бесспорны: страна, еще не так давно гордившаяся почти полным отсутствием вооруженных сил, ныне вооружена почти в такой же мере, как к началу первой мировой войны были вооружены Россия, Франция, Германия. Нередко высказывалось тогда мнение, что на войну подстрекали военные (которые не хотели-де, чтобы мечи заржавели в ножнах из-за неупотребления) и крупные промышленники, в особенности Крупп в Германии, имя которого тогда было широко известно.

---

* Позволяю себе так его писать, т. к. от его сыновей, моих бывших учеников по Гарварду, я знаю, что таково правильное произношение их фамилии.

И вот теперь, через полвека, говорят, что та же история повторяется в США. Мое внимание в этом смысле особенно привлекла книга Фреда Кука, «Воинствующее Государство»,* потому что книга эта написана живо и как будто бы претендует на научность: в ней масса подстрочных примечаний, которые, по недавно возобладавшему образцу, помещены в конце тома, дабы не отрывать внимание читателей от самой сути аргументов, развиваемых в тексте.

Ф. Кук, журналист по профессии, за последние годы выступает как автор статей, появляющихся в разных газетах и журналах, иногда и как автор книг по разным политическим и социальным вопросам. В его книге тема, о которой я говорю, несколько затушёвана другой темой — будто бы создавшейся коалицией военных (занимающих крупные места в Пентагоне, т. е. в административном — но не в командном — центре американских военных сил) и крупных промышленников, которым приписывается подстрекательство США к войне.

Для усиления эффекта, книга эта снабжена предисловием (очень кратким) Бертрана Росселя, английского философа, сторонника пацифизма во что бы то ни стало. Из этого можно вывести, что Ф. Кук, если и не стопроцентный пацифист, то близок к этому. Пацифисты — люди стойкие; никакие события не меняют их взглядов. Таких было немало среди европейских, да и русских социалистов. Незадолго до второй мировой войны, лидер французских социалистов Л. Блюм, как я слышал, высказал такое мнение: есть очень простое средство сделать вторую мировую войну невозможной, надо просто разоружить французскую армию, тогда Гитлеру не с кем будет воевать!

Ф. Кук слишком опытный деятель на политической арене, чтобы просто предложить своим соотечественникам разоружиться. Но он вообще никакой альтернативы не предлагает, однако своих противников громит беспощадно.

Откуда же произошла «холодная война», которая вот-вот перейдет в горячую? Книга, конечно, написана до Кубинского кризиса, показавшего, что опасное развитие может быть остановлено даже после того, когда как будто уже пройдена критическая черта. В памятные ноябрьские дни все понимающие что-либо в политике сознавали, что шансы мира или войны подошли к зловещей формуле 50% против 50%. Но что-то

---

* The Warfare State. By Fred J. Cook. N. Y. 1962, Macmillan & Co. pp. 376.

перетянуло эти шансы назад, к цифрам, скажем 60% за мир и 40% за войну. Заявление Громыко, о том, что СССР в конце концов, согласен допустить инспекцию ядерных взрывов, и заявление Хрущева при отъезде из Вост. Берлина, что «нам» Западный Берлин не нужен, а нужно «только» искоренение в нем «подрывных организаций», направленных против нас, как будто на время ввело международную жизнь в «период затишья».

Но стоит только спросить себя, а что произошло бы, если бы США были явно слабее СССР? И этот вопрос достаточен чтобы доказать, что американские вооружения, сильно отвлекающие развитие страны от нормального пути — это вовсе не прихоть и не интрига каких-то «темных сил», а разумный выход из правильно оцененной действительности. Что же противопоставляет автор такому толкованию положения?

Главный его довод, бьющий в глаза, это поставленный на обложке эпиграф: В нашей (т. е. американской) истории никогда еще не появлялась сила, которая вылилась бы в такую черную угрозу, проявляя себя столь враждебно к нашим традициям, и угрожая нашему будущему, как военно-промышленная коалиция, толкающая нас к превращению нашего государства в «воинствующее». Отсюда и заглавие книги...

В этом эпиграфе заключается тяжкое обвинение, но против кого? Конечно, в первую голову против верхушек Пентагона и промышленных магнатов. Но затем обвинение падает и на членов правительства, во главе с президентом, на сенаторов и народных представителей, которые принимают планы вооружения. С какого времени? Да с начала холодной войны, т. е. приблизительно с 1946 г. Значит, оно касается и Трумена, и Айзенхауера, и Кеннеди. Но ведь и президент, и конгресс исходят из народных выборов. Значит, в конечном счете виноват народ. Более того, говорит Кук, народ отнюдь не подымется на защиту тех единичных лиц, преимущественно из числа ученых (в том числе нескольких с крупными именами) или левых политиков, которых можно заподозрить в том, что они идут на помочах Москвы.

Итак, обвинительный акт Ф. Кука направлен против американского народа в целом. Но пора поставить вопрос: какие же имеются у Кука доказательства? Да никаких! Его «труд», как уже было отмечено выше, снабжен якобы «научным аппаратом», т. е. ссылками на источники. Но эти ссылки, — почти сплошь на легко доступные всякому документы и заявления; много ссылок на Congressional Record, но еще больше на

газетные статьи, которые однако только подтверждают факты ассигновок таких-то сумм на такие-то вооружения. Неужели же никто, кроме Кука, не прочел, или, прочтя, не понял их значения? Но такие голые факты, что такая-то фирма, например, «Дженераль Моторс», получила такие-то многомиллионные или даже миллиардные заказы, ничего не говорят. О каких-то соглашениях Пентагона с промышленниками, идущих далее факта заказов, сулящих крупные выгоды лично заказчикам, нет и речи, кроме единичных случаев, когда вскрываются возмутительные факты подкупа, а иногда и обещания теплых мест после отставки. Но почти нет стран, где не было бы фактов взяточничества. До первой мировой войны, таковыми слыли Англия и Германия; теперь и здесь и там, и в СССР, обнаруживаются факты взяточничества. Однако, между дающими и берущими взятки нет коалиции, а есть только незаконный договор. О союзе или коалиции не может быть и речи, и вот почему: Союз или коалиция возможны только между хорошо сплоченными организациями; иначе эти надстройки распадутся с появлением трещин в фундаменте. Между тем, Пентагон, т. е., административный центр американской армии, далеко не может похвалиться сплоченностью. До образования сверхминистерства (по-американски, департамента) обороны, отдельные «службы» (армия, флот, воздушные силы) почти публично враждовали друг с другом; да и теперь, по многим данным, внутренней согласованности к сожалению недостаточно. А промышленность? Вертикально она распадается на две ныне равноправные силы: предприниматели и организованный труд. Обе половины состоят из множества друг с другом мало согласованных элементов. Ну как на такой почве могла бы создаться прочная коалиция (по данным Кука, ей теперь уже минуло 16-17 лет!). Ф. Куку такие соображения просто не приходят в голову.

По мнению Ф. Кука выкарабкаться из нынешнего положения теперь уже очень нелегко. Столько лиц, не только предпринимателей, но и рабочих, обосновали свое благосостояние на выполнении хорошо оплачиваемых военных заказах, что они, конечно, и их представители в конгрессе, — были бы готовы оказать отчаянное сопротивление попыткам лишить их привычных заработков. Не так давно в небольшом журнале «Фронтир» появилась статья В. Ферри — «Какова была бы цена мира?» Он ссылается на акты, которые ему доводится наблюдать в южной Калифорнии (Лос Анжелес и оттуда до мексиканской границы, к Сан Диего) и указывает,

что вся эта полоса, которой по природе суждено было сделаться «вторым раем» (первый — это Флорида), ныне производит впечатление какого-то колоссального завода, производящего военное снаряжение. Рабочие, которые там устроились (недаром Калифорния на днях вышла на положение первого по населению штата Союза, отняв это место у Нью Йорка), просто не могут представить себе, что с ними будет, если военные заказы прекратятся или будут сильно урезаны.

Но подобные положения уже бывали в истории и благополучно разрешались. Под конец второй мировой войны многие экономисты и политические деятели, близкие к самому верху, спрашивали себя, что случится, когда в рабочую силу вольются 12 миллионов молодых демобилизованных мужчин. Многие отвечали — будет жестокая безработица и неизбежная депрессия, близкая к катастрофе 1929-30 г.г. Но ничего подобного не случилось. Демобилизованные нашли себе места, и вместо ожидавшейся дефляции началась инфляция, с которой трудно справиться — ведь с той поры она медленно, но верно подкапывается под покупательную силу доллара.

Подобные опасения высказывались и в Англии. На них ответил вдохновитель обращения Англии в «государство благосостояния», сэр В. Беверидж. Его мысли были чрезвычайно просты: если, как показал опыт, можно затрачивать половину и даже больше национального бюджета на вооружения, то в мирное время можно затратить соответственные суммы на разрешение ряда социальных проблем — на борьбу с бедностью и связанную с ней малокультурность низших слоев населения, на организацию общедоступной медицинской помощи, на устройство нужных путей сообщения (которые в Англии сильно хромали), на уничтожение целых кварталов трущоб в больших городах и т. д. Для этого нужно сохранить в мирное время то высокое налоговое обложение, которое создалось во время войны, и направить эти средства на удовлетворение вышеуказанных потребностей. По таким путям и пошла послевоенная Англия, если не вполне, то отчасти — только «отчасти» потому, что холодная война, сменившая войну в точном смысле слова, — потребовала громадных, никем не предвиденных расходов.

Итак, той страшной альтернативы, которую рисует Ф. Кук, неизбежного выбора между войной или по крайней мере лихорадкой вооружения, и жестокой депрессией — нет! Вступившие в начале 30-х годов на путь превращения в «го-

сударство благосостояния» США, но сильно на нем задержанные второй мировой войной, а после нее холодной войной, могут в любое время «вынести» прекращение зловещего конфликта с советской империей (т. е. СССР и захваченные им в конце 2-ой мировой войны государства средне-восточной Европы) — вернувшись к программе улучшения народного образования, замены трущоб приличными жилищами и многих других социальных мероприятий.

Но Ф. Кук приходит к выводу, что правящие круги США (которые он отождествляет с союзом военного и промышленного руководств) вовсе не желают действительного примирения с СССР и его союзниками. Он сочувственно указывает на два создания Кеннеди — «корпус мира» и «союз прогресса в Латинской Америке»; но он отлично знает, что такими мерами добраться до конца всех бедствий удастся только в весьма отдаленном будущем.

Чего же он сам хочет? Примирения с Советским Союзом и его спутниками во что бы то ни стало; иными словами, хотя бы ценой сдачи врагам не только западного Берлина, южной Кореи, южного Вьетнама и Лаоса, но вообще всего, чего бы СССР ни потребовал; прямо он этого не говорит; но его довольно смутное заключенье трудно понять иначе.

А как же насчет американской традиции и светлого будущего Америки, о котором он так заботится? Да, конечно после полной капитуляции, вооруженные силы можно было бы распустить и заменить их милицией или национальной гвардией — все равно, бой будет уже выигран станом коммунизма, который в таком случае действительно «похоронит капиталистическое общество», быть может проливая над ним крокодиловы слезы.

Одним из крупных дефектов мысли Ф. Кука является его непонимание сущности американской традиции, которая в основе своей динамична, т. е. допускает крупнейшие изменения в отдельных учреждениях или обычаях, без отступления от ее сути — стремления к свободе и справедливости. Потому напрасны заунывные вещания автора книги. Никакой угрозы не нависло над американской традицией в тех объективно необходимых вооружениях, которые, по мнению Кука, затеяны военно-промышленной коалицией по непониманию сути вещей или в своекорыстных целях. Угроза есть, — и она весьма реальна — это существование в мире силы, лишь немногим уступающей американской, но направленной к осуществлению коммунизма в его современном варианте — создания еди-

ного на земле властного центра, который из Москвы управлял бы всеми народами.

Противодействие этому центру остается столь же необходимым, как то было 10, 20, 30 или 40 лет тому назад. Это противодействие дорого стóит всем народам, которые в свое время не сочли нужным приложить свои усилия к тому, чтобы этот центр уничтожить и дать России воскреснуть как нации, которая, как Америка и многие ее союзники, не отказалась бы от мечты о свободе и справедливости.

Н. С. Тимашев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ИЗ АЛЬБОМА Г. Л. ГИРШМАН

Генриетта Леопольдовна Гиршман любезно разрешила нам напечатать многое из ее чрезвычайно интересного альбома. Это — записи выдающихся русских артистов, поэтов, писателей, художников, охватывающие период с начала 900-х г.г. и до лет эмиграции. В дореволюционной Москве Г. Л. и В. О. Гиршман были широко известны среди людей искусства. В их особняке у Красных Ворот собирался «весь цвет» тогдашней литературной и артистической Москвы, а также часто приезжали и петербуржцы. Особенно близки Гиршман были с Московским Художественным Театром и лично с К. С. Станиславским. В частности, у Г. Л. — Станиславский познакомился с несколькими выдающимися художниками того времени, которые стали работать для МХТ. Это были — Александр Бенуа, Добужинский и Кустодиев. Все главные артисты МХТ были близкими друзьями Г. Л. и постоянными гостями в ее гостеприимном доме: Качалов, Москвин, Вишневский, Книппер, Подгорный, Лилина, Коренева и другие. Часто в особняке у Красных Ворот бывали выступления артистов, поэтов, музыкантов. Москвин организовал тут свой знаменитый «хор». Очень близки Гиршман были и с поэтами-символистами, группировавшимися вокруг журнала «Весы», и особенно с В. Брюсовым. Друзьями Г. Л. были — Бальмонт, Балтрушайтис; из петербуржцев «кларист» М. Кузмин; часто бывали Вяч. Иванов с Зиновьевой-Аннибал, Андрей Белый, А. Блок.

В 1908 году Г. Л. и В. О. Гиршман вместе с худ. В. Переплетчиковым, Трояновским, Щукиным, Брюсовым, Бальмонтом, Дягилевым, Скрябиным и другими основали «Общество Свободной Эстетики». На открытых вечерах этого общества (куда имели доступ только члены и приглашенные) выступали Вяч. Иванов, Брюсов, Ан. Белый, Ф. Степун, С. Рахманинов, К. Бальмонт, С. Дягилев, Скрябин и др. Здесь исполнялась музыка, читались стихи, устраивались диспуты на литературные и философские темы.

Когда в Москву приезжали иностранные знаменитости — Дебюсси, Верхарн, Баттистини, Дункан, Маринетти и др. — все они бывали гостями в доме Гиршман. Г. Л. дружила и с группой «Мира Искусства» (Дягилев, Бакст, Нувель, Нурок, Лансере, Стравинский, Бенуа) и с журналом «Аполлон» и его руководителем С. Маковским. Как близкие друзья в особняке у Красных Ворот часто бывал Максим Горький с женой и знаменитый меценат Савва Морозов. Из московских художников постоянными гостями Г. Л. были — Серов, Переплетчиков, Коровин, вся группа «36-ти». Из музыкантов — Черепнин, Гречанинов, Игумнов, Кусевицкий, Рахманинов, Скрябин, Метнер. Известные портреты Генриетты Леопольдовны, написанные Серовым, до сих пор висят в Третьяковской галлерее.

Все друзья и гости Г. Л. обычно что-нибудь писали ей в альбом. Оставляя в стороне знаменитых иностранцев, таких как Джемс Джойс, Дебюсси, Маринетти, Верхарн, Пуленк, Мийо, Баттистини и др., мы приведем только некоторые записи русских писателей, поэтов, музыкантов и актеров.

В 1908 году, в год основания «Общества Свободной Эстетики», Валерий Брюсов написал в альбом Г. Л. следующее стихотворение:

***

У каждого свой строгий демон.
Влечет непобедимо он —
Наполеона через Неман
И Цезаря чрез Рубикон!

Узнай Его, когда предстанет,
И с Роком не вступая в спор,
Иди за ним, куда он манит:
На пьедестал иль на позор!

1908 *Валерий Брюсов*

Однажды на большом вечере у Г. Л. Гиршман, где было много поэтов, Бальмонт и Брюсов согласились написать экспромтом стихотворение на тему, которую им даст хозяйка дома. Г. Л. дала темой тютчевскую строку: «Есть некий час всемирного молчанья». И Бальмонт и Брюсов здесь же написали ей в альбом стихотворения. Стихотворение Бальмонта написано карандашом, Брюсова — четко, пером. Приводим оба эти стихотворения:

ЕСТЬ ЧАС

Есть некий час всемирного молчанья

Тютчев

Есть некий час, когда не нужны речи
Когда весь мир — единый цельный храм,
И ждет душа с Душою Мира встречи,
То час пути от дальних звезд к глазам.

Я говорил в младенческие годы,
И голос мой был лепетом листка,
В дни юности был праздником свободы,
Я был как вихрь, как горная река.

Я говорил с узывчивою далью,
Шептался с говорящими «Люблю!»
Но час настал — и, как бы скован сталью,
Стал рыцарем. Замолк. Молчанье длю.

1913. V. 7. ***К. Бальмонт***
10 ч. н.
Москва

На следующей странице на эту же тему Валерий Брюсов написал:

Есть некий час всемирного молчанья.

Ф. Тютчев

День красочный, день ярко пестрый,
Многоголосный, шумный день;
Ты сердце ранишь болью острой,
Ступени взносишь на ступень.

Всходя по лестнице небесной,
Мы, страх и радость затая,
Взираем из юдоли тесной
На всю стоцветность бытия.

И как Адамы, всем виденьям,
Всем звукам, всем лучам миров
Мы ищем с нежным умиленьем,
Непобедимо верных слов.

Но сходит ночь и яркость тонет
В единой безразличной мгле,
И Тень бестрепетно хоронит
Все разделенья на земле.

Нет ничего; дела и вещи
Смешались, чтобы в бездну пасть;
И Хаос древний, Хаос вещий
Рукой оледеняет страсть.

Подходит страшный час незнанья,
Единства и сиянья час...
О, час всемирного молчанья,
Ты с тайной жизни близишь нас!

7 мая, 1913 *Валерий Брюсов*

Карандашом написано четверостишие-экспромт М. Кузмина:

Быть-может незакончен круг,
Не близко всем в Москве знаком,
Еще найдется чувству друг
И новый, Сомовский, есть дом.

М. Кузмин.

Художник М. Добужинский набросал в альбоме тушью петербургский вид, под которым его рукой написано следующее стихотворение:

Я ходил по Петербургу ночью,
Белой ночью, вдоль пустых каналов
И холодные сжимал перила,
Наклоняясь над водою темной.

В тихом зеркале канала спали
Опрокинутые стены улиц
И в зеленом небе над домами
Золотился шпиль Адмиралтейства.

Не у этой ли решетки видел
Достоевский Настеньку когда-то,
Как она стояла неподвижно
Глядя в воду черную канала?

. . . . . .

Есть в альбоме еще два таких стихотворения Бальмонта:

Генриетте Леопольдовне Гиршман

Я сравнил бы тебя с горячею вишней,
С гиацинтом тебя сблизил бы черным,
Но песня моя покажется лишней
И намек отзовется звуком укорным.

И всё-таки, всё-таки — с вишней цветущей
Буду я этой ночью во сне,
Услышь мой голос поющий,
Лепестки урони ко мне!

1913. 11. 23. Ночь.
Москва *К. Бальмонт*

Твой голос тихий — точно лютня певучая.
Зачем же он поет лаская, но также мучая?
Твой лик красный — точно сказка старинная.
Зачем же грусть во мне трепещет беспричинная?
XI. 24. Сумерки *К. Бальмонт*

Рядом (уже в эмиграции) Н. А. Бердяев написал:

Милая Генриетта Леопольдовна! Я не поэт, не музыкант и не художник, а лишь философ и посему нахожусь в обществе, которое иначе и легче выражает Вам чувства, чем я. Но прошу Вас верить, что и я их имею, помню наши встречи и огорчен Вашим отъездом.

Николай Бердяев, октябрь 1933 г.

Дальше, рядом с нотным отрывком Клода Дебюсси, написанным им с теплым посвящением и помеченным «Москва, декабрь, 1913 г.» — Максим Горький своим характерным прямым почерком написал свое стихотворение под названием:

Неаполитанская песня

Два сольдо мама мне дала
«Купи», — сказала — «артишоки!»
«Но ты, смотри! — чтоб тот высокий. . .»
Я не дослушала — ушла,
Я знала все, что может мать
Любимой дочери сказать.

Два сольдо мама мне дала
И вот являюсь я на рынок.
Ну, что ж? Была иль не была?

Высокий строен точно инок.
Я повозилась с ним не мало
И всё взяла, чего желала.

Его я горячо любила!
Но вдруг ведут меня в тюрьму!
Не помню, как всё это было...

Да, — изменила я ему!
Нет — он мне изменил сначала.
Вот я ругалась, вот кричала!

Как время мчится, Боже мой!
Не знаю, где теперь высокий?
Со мной уж кажется — седьмой...

И миновал четвертый год
Как я пошла по артишоки
А мама-то меня всё ждет!

М. Горький

А сразу же за этим стихотворением М. Горького Ф. И. Шаляпин написал такое четверостишие:

И я б черкнул тебе стишок,
Но пред поэтом настоящим
Вдруг чувствую себя пропащим,
Как перед... спаржей — артишок.

Ф. Шаляпин, 1903, Париж

Дальше — два стихотворения Юргиса Балтрушайтиса, помеченные — первое 3. IV. 13, и второе — Москва, ноябрь, 1922 г.

Come le onde

Цветет восторг, как вал... Как вал,
Отходит прочь —
И все, что к звону день призвал,
Заглохнет в ночь...

Приходит боль, как снег. Как снег,
Растает вновь —
Лишь кратким вихрем плач и смех
Объемлет кровь...

И свет и цвет — на миг. На миг —
Игра всех смен —
И всё, что смертный пыл воздвиг,
Зола и тлен...

Вся явь, вся дрожь — волна. Волна —
И сон людской —
И жнет земные семена
Покой, покой!

Ю. Балтрушайтис 3. IV. 13.

И второе:

Предзнаменование

Вот вновь Ваш знак, вот вновь зарница —
Слепое сердце, только верь —
Исполнилось, что праху снится,
В плену приотворилась дверь!

Исходит в мире бремя горя
И мере следует земной,
Чтоб ты, ручей в бескрайнем море,
Стал утренней его волной.

Москва
Ноябрь 1922 *Ю. Балтрушайтис*

Дальше — стихотворный экспромт знаменитого актера МХТ В. В. Качалова:

Генриетта Леопольдовна,
Я хожу за Вами и влюблен давно...
Как зимой живет мечта о лете,
Так живет мечта о Генриетте.

Золотые кони. Кучер с бородой...
И бежал за ними я с моей мечтой.
Кони побелели. Кучер порыжел.
О, мой пыл любовный не похолодел.

Ни коней, ни кучера. От Красных Ворот
Мчит шофер машину. Мне улыбку шлет
Из окна кареты
Профиль Генриетты.

Чуть-чуть я не помер,
Как теперь мне быть —
Вижу только номер
Тридцать три... и фюить...

Мчись, лети мечта о Генриетте
Догоняй же номер тридцать третий!
Генриетта Леопольдовна,
Я хожу за Вами и влюблен давно...

апрель 1913

Тут же рукой В. В. Качалова сделана такая приписка: — «Не сердитесь за гимназическую шутку, милая Генриетта Леопольдовна, но так весело улыбается солнце, что и мне на склоне лет захотелось подурить, как гимназисту. Не сердитесь и верьте неизменности моей симпатии к Вам и глубокого уважения. Василий Качалов».

За записью В. В. Качалова идет второе стихотворение М. Горького:

В Финляндии

Под медным оком злой луны
Лес и болото жутко немы,
Средь кочек камни валуны
Лежат, как рыцарские шлемы.
Колышат спутанные травы
Султаны темные свои
И тускло блещут сталью ржавой
Седые мхи и лишаи.
Как много странной красоты
Родилось этой ночью странной!
Горбины кочек — что щиты
А мох на них — узор чеканный.
Березы тень кольчужной сеткой
На камень выпуклый легла
И в эту тень вонзился метко
Сучек, как гибкая стрела.
Меж кочек этих, в лунном свете

Красно́ сияет медь воды
Уходят к лесу пятна эти
Злой битвы жуткие следы.
Лес — точно крепкая стена,
Воздвигнутая силой ночи,
И видно, как за ней луна
Иззубренные копья точит.
Как смерть беззвучен сон земли
И тени ночи ей на лоно
Покровом бархатным легли
Как будто черные знамена.

10. II. 19
Петроград *М. Горький*

На предпоследней странице альбома К. С. Станиславский написал:

«Ваша роль в русском искусстве — значительна. Для того, чтоб процветало искусство нужны не только художники, но и меценаты. Вы с мужем взяли на себя эту трудную роль и несли ее много лет, талантливо и умело. Спасибо Вам обоим. История скажет о Вас то, что не сумели сказать современники. Пусть сознание исполненного красивого дела облегчает Вам посланное всем нам испытание.

Душевно преданный и любящий Вас

Париж. 1922-23-XII *К. Станиславский*

За этой записью К. С. Станиславского — на последней странице В. В. Качалов написал новый стихотворный экспромт:

Вам, Генриетта, милый наш КАЭС
О «меценатской» Вашей пишет роли...
А я давно влюбленный в Вас балбес
Прошу любить меня легко, без боли,
Как буду радостно любить я Вас
Пока не стукнет мой последний час.

В. Качалов, Париж. 1937.

Кроме записей в альбоме Генриетты Леопольдовны много рисунков: — Александра Яковлева (пером) «Центавр»; К. Юона — карандашом, голова девочки; рисунок пером В. Переплетчикова; миниатюрный портрет гуашью К. Сомова; римский вид Е. Лансере

(акварель), его же «Тучков мост» (акварель); А. Белобородова римский вид; И. Грабаря «Кузминки» (гуашь); Альберта Бенуа морской пейзаж (акварель) и др. Есть много нотных отрывков композиторов и музыкантов: А. Черепнина, Артура Лурье, Яна Кубелика, А. Гречанинова, Артура Никиш, Вл. Дукельского, К. Дебюсси, И. Стравинского, Беллы Барток, Иосифа Гофмана, Ф. Пулэнка, С. Рахманинова, С. Кусевицкого, Вл. Горовица, П. Гиндемита, и мн. др. Много записей артистов МХТ.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А. И. КУПРИНЕ

Впервые я встретилась с А. И. Куприным в Ялте. Помню, лучи заходящего солнца вливались в «венецианское» окно кабинета моего отца, когда я вошла к нему, вернувшись с верховой прогулки. Спиной к блестевшему морю, у окна сидел И. А. Бунин, молодой, скромный, изящный, уже напечатавший первый сборник своих прекрасных рассказов — любимец моего отца. А у стены в тени — впервые пришедший к нам вместе с Буниным — А. И. Куприн, автор своей первой повести «Молох».

Украдкой я и Александр Иванович рассматривали друг друга в стенном зеркале, в котором отражались горы темного Уч-Коша. И тогда уже несмотря на застенчивую скромность, в Куприне чувствовалась ненасытная жадность и интерес к жизни, «ее, — как он говорил о себе — величайшего поклонника».

Тогда, в ялтинском кабинете моего отца, Куприн был молод, жизнерадостен, с военной выправкой, с походкой вразвалку, с застенчивостью офицера, жившего в глухом полку разгульной жизнью.

Вскоре А. И. сделался близким человеком нашей семьи — и был им до самой смерти.

Это было время, когда в Ялту приезжали почти все знаменитости литературного и художественного мира. Приезжал в «гости» к Чехову весь Московский Художественный Театр. Приезжали Бунин, Куприн, Андреев, Горький, Мамин-Сибиряк, Вересаев, Арцыбашев, Найденов, Бальмонт, Михайловский и наконец Лев Толстой. А. И. был со всеми приветлив, весел и в то же время держался особняком. У него не было важности некоторых знаменитостей. Чрезвычайно скромный и свободолюбивый, даже неукротимый, он был лишен житейского тщеславия.

Была у него страстная любовь к Пушкину, изумление перед гением Гоголя, который, как он выражался, «прошел по земле, не касаясь ее, как Бог». И особенно нежная любовь к Толстому, с которым мои родители познакомили его в Ялте. Мне кажется, что

с Толстым у Куприна было много общего, недаром и Толстой любил отдыхать, читая Куприна. Они оба были одарены особым чутьем к жизни, тем ненасытным ее осязанием, сближавшим их обоих и как писателей и как людей.

Из Ялты наша семья вместе с Куприным поехали в Петербург. Там моя мать ввела А. И. в редакцию «Мира Божьего» и «Русского Богатства». Но несмотря на общие старания, Куприн не сблизился с редакцией «Русского Богатства». Ему не подходил строгий, немного ригористический тон журнала, он перестал бывать на редакционных «чаях», а сделался близким в редакции «Мира Божьего» (конечно, вне политики). Вскоре он женился на приемной дочери издательницы А. А. Давыдовой, Мусе, моей подруге, а впоследствии на сестре покойной жены Мамина-Сибиряка.

Другие мои воспоминания о Куприне уже относятся ко времени эмиграции. Попав эмигрантом в послевоенный Париж, Куприн потерял в беженской жизни свою прежнюю веселость. «Париж вы не узнали бы, — писал он мне. — Он вовсе не наряден, не танцует, не острит. Война придавила и его, как и весь мир. Но зелен он также, как и много лет тому назад. И тот же волшебный простор площадей, от которого глаза становятся 'ненасытными и крылатыми'.»

В первые годы беженства Куприн мне написал и такое письмо: — «Скажите мне, у Вас есть дар предвидения: буду ли, наконец, я когда-нибудь богат? Нет, не богат, а так, чтобы прожить хоть год с душевным (подчеркнуто Куприным) комфортом, не думая ежедневно об ужасе завтрашнего дня. Я так измучился за всю мою жизнь. Ведь, черт возьми! Неужели я, Я принужден буду сказать однажды: — 'скверная штука жизнь' — я, ее благодарный обожатель, всепрощающий влюбленный, терпеливый, старый слуга».

Потом о своей эмигрантской жизни он писал: — «Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать хуже, чем в Совдепии (подчеркнуто А. И.), ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я не признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же оно меня давит, пригибает к земле. Там я всё-таки стоял крепко двумя ногами на моей (подчеркнуто А. И.) земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»

Через 20 лет жизни в Париже, когда окончились уже страхи «завтрашнего дня», он писал о моем родительском доме, посылая Елпатьевским хуверовскую посылку в Крым в голодные годы. «Я чрезвычайно рад, что добрые «папаша и мамаша» могут получать

посылки. Да и то сказать, на редкость они чудесные, прелестные люди. Гляжу я на них мысленно из нынешнего гнусного человеческого свинушника в милое прошлое и не верится, что были такие прелестные лица и отношения. Да, да, да! Славно, упоительно раньше жилось. Но счастья родины также не понимаешь, как здоровья, как молодости. Помните ли Вы вечера на Вашем балконе, когда мы с Сергеем Яковлевичем попивали в черной прохладе «Такмановский Угенаш», а вдали по Черному морю струились серебряные рыбки? Ангел мой, самая сладкая пора нашей молодости протекала тогда и какая невинная, легкая, светлая пора!»

В последний раз перед его отъездом в Россию я пришла к нему известить его о кончине моей мамы, «милой мамаши», которую он так любил. Александр Иванович, уже больной, молча, в волнении встал со стула, повернулся к образу и молился. Жена его мне говорила, что эта смерть его очень потрясла и что лучше было бы не говорить ему о ней.

Вскоре Куприн уехал на родину, в свое любимое Гатчино, где так пахнут весной березы, вдоль деревянных заборов, где у него был свой особнячек с садом и огородом. Через год он умер и был похоронен на Литераторских Мостках Волкова кладбища.

Л. Врангель

КОЛЫМА

География

Колымский край или, по последнему административному определению, Колымская область, охватывает обширную территорию между реками Колыма и Индигирка; на юге выходит к побережью Охотского моря, и вдоль побережья, граница приводит к Чукотскому полуострову.

Освоение Колымы началось около 1930 года. Тогда было создано специальное управление — Дальстрой. Управление это находилось в ведении комиссариата внутренних дел и этот комиссариат проводил индустриализацию края до 1953 года. Коренное население Колымы — якуты и чукчи, охотники и оленеводы. Но об их существовании мало что говорит кроме экзотически звучащих названий поселков и городков, таких как Сеймчан, Сусуман, Таскан, тогда как названия новых поселков несут уже иную этимологию и семантику: Спорный, Ягодный, Пищевой. Кроме кочевников-туземцев до промышленного освоения Колымы туда добирались небольшие группы золотоискателей. Эти далекие времена стали свое-

го рода легендой золотого века Колымы. Люди эти будто бы сказочно богатели, увозили с собой золото, но потом, не в силах позабыть дикой прелести края и жажды наживы, и прожившись «на материке», приезжали обратно и в конце-концов спивались, погибая смертью одиноких героев. Этим людям приписывается традиция спирта, чифиря (чая с махоркой), медвежьих единоборств и многого другого, что в дальнейшем составило облик настоящего «колымчанина».

Прежняя столица Колымы — Охотск, и нынешняя — Магадан лежат около шестидесятой параллели, т. е. на широте Ленинграда. Все остальное лежит на север от этих городов, обладающих относительно «мягким» климатом, лежит высоко над уровнем моря и находится под влиянием Восточно-Сибирского плоскогорья, самого холодного места на земном шаре. У пересечения северного полярного круга с рекой Индигиркой средняя температура в зимние месяцы 50-60 градусов по Цельсию.

Лето на Колыме неповторимо по своей прелести и краткости. Реки едва успевают оттаять, разливаются в июле и снова замерзают в сентябре. Ландшафт — бесконечные и бесчисленные «сопки», круглоголовые горы с вечными снегами, перерезанные узкими речными долинами, покрытые темнозеленой тайгой и морем красных северных ягод. Весной в долинах цветут дикие цветы и веет чем-то от сотворения мира.

В недрах Колымы по местной метафоре какому-то дьяволу вздумалось зарыть сундук с золотом. Во времена Сталина золото нельзя было называть золотом, его называли тогда «металл».

Я уже обмолвился, что всё, что не Колыма на местном жаргоне — материк. Это тоже образное выражение, неправильное географически, но точно определяющее положение. Ворота Колымы — это ее морские порты на Охотском побережье — Магадан и Охотск. Охотск повидимому сохраняет свое значение как рыбный центр, тогда как Магадан — это столица золотого края. Порт Магадана закрывается на шесть-семь месяцев в году и до пятидесятых годов это означало, что Колыма — остров, отрезанный от всего остального мира. Теперь разумеется регулярное воздушное сообщение налажено с Хабаровском и с другой стороны — с Якутском и Иркутском. Этот последний путь начинается с аэропорта в Сусумане и повидимому будет приобретать всё большее значение в экономике Колымы. Повидимому, первые старатели достигали Колымского края, тоже двигаясь по Якутско-Индигирскому санному тракту. По этому же пути должна пройти и железная дорога, строительство которой уже начиналось, но обрывалось в связи

с немыслимо трудными климатическими и геологическими условиями. Главная артерия сообщения между Магаданом и колымскими и индигирскими поселками — это «трасса», или тракт, проложенный по линии Магадан—Мякит—Левый Берег Берелех. Дорогу эту время от времени, чаще всего в феврале, заносит, но в основном, несмотря на нечеловечески трудные условия для водителей грузовиков, она входу весь год: жизнь на Колыме всецело зависит от этого тракта.

Индустриализация

Индустриализация Колымы — детище сталинской политики. Она осуществлена жертвами сталинских преследований, на 90% построена руками «Иванов Денисовичей», людьми многих национальностей, но главным образом всё-таки русскими. Об этом, как и о колымском золоте, было не принято говорить вслух. Ко временам интенсивной индустриализации Колымы относится легенда о Гаранине. Согласно этому мифу Гаранин был прислан из Москвы на должность начальника управления Дальстроя в 1937-ом году. Его никто не знал. Начался террор. Гаранин разъезжал по трассе как Цезарь в войне с галлами. Приехав на прииск, он выстраивал заключенных и начальство, спрашивая о выполнении плана. Потом по одну сторону ставил не выполняющих плана, по другую — выполняющих. И приказывал ВОХРЕ расстрелять и тех и других. Тех, кто выполняли он считал будто бы более злостными врагами народа, поскольку они пытались «замаскироваться» выполнением плана. Перед своим отъездом Гаранин будто бы вынимал свой «личный пистолет» и расстреливал кого-нибудь из начальства за отсутствие бдительности и невыполнение плана. Так продолжалось год-два. «Наконец однажды» с материка приехала сестра Гаранина. Гаранин ей писал, чтобы она не ехала, но она всё же приехала. Она глянула на «Гаранина» и ахнула. Налетела стража, схватила лже-Гаранина и по приказу из Москвы за самой высокой подписью «Гаранина» расстреляли. И тут только все узнали, что Гаранин был не Гаранин, а враг «подосланный из-за границы». Настоящий же Гаранин, преданный советский работник, был убит по пути на Колыму и «ложный Гаранин» завладел всеми его документами. Вся эта легенда напоминала бы пушкинскую историю села Горюхина, если бы от нее не веяло такой грустью.

Колымчанин

Самое поразительное на Колыме — ее люди. Суровая природа, жестокие условия — всё это создало особый человеческий тип, ни на кого непохожий. В тридцатые годы Колыма была Сибирью в Сибири, местом куда ссылали множество людей. Тогда Колыма стала отечеством «блатных», «у́рок». Сказать преступник — это не то. «Блатной» — это нечто «бо́льшее. Он может и чаще всего совершает преступления, но для него преступление — это не преступление. Существует закон «воров» и «норма» поведения, неведомая другим представителям человеческой расы. Нельзя сказать, чтоб это было животное: животное боится смерти — «урки» не боятся. Если средняя продолжительность человеческой жизни скажем семьдесят лет — «блатной» живет не больше двадцати пяти-тридцати. На Колыме он царствует. Грудь его разрисована татуировкой и в лютый мороз открыта всем ветрам. Он режет других и себя тупым бутылочным стеклом, не боится ни Бога, ни Сталина, и в тюрьме и в лагере считает себя дома, потому что другие за него работают, его кормят, ему служат из смертного перед ним страха. Он постоянно опьянен спиртом или возбужден чифирем. В этом состоянии он говорит часами, грозит, тянется к ножу, и собеседнику неизвестно, чем разговор кончится — бранью иль смертью. «Блатных» боится милиция, они хозяева на Колыме. Типичный колымчанин — работает. «Блатной» пьет спирт, играет в деньги и чифирит. Материковая культура ему незнакома, как неандертальскому человеку. Он — техник, фельдшер — иногда инженер и доктор —, десятник, бухгалтер, нарядчик, начальник шахты, чаще всего — шофер. Раз в два с половиной года он, накопив деньги, выезжает на материк. Выезжает широко, в мягком вагоне транссибирского экспресса. Но не нравится ему большая земля. Что-то в ней не по нем, он оторвался от людей с их историей. Обычно все девять дней пути от Хабаровска до Москвы или Харькова «блатной» пьет. Потом пьет дома, пьет в гостиницах, ломает мебель, за нее платит, бушует, мечется и в конце-концов тянется назад на Колыму. Будто бы потому, что ушли все деньги. А может быть потому, что нет тут чего-то более существенного.

***

Колыма индустриализировалась, обжилась. В Сеймчане и на Эльгене выращивают помидоры, а картошка, которой в тридцатые и сороковые годы не знали, стала частым угощением. Из Кореи и Китая

привозят фрукты. Стал свободнее въезд и выезд. Люди, приезжающие по договорам «за длинным рублем» заменили часть бывших заключенных «Иванов Денисовичей». Страшна политическая структура на Колыме. И всё-таки еще страшнее на Колыме — эволюция человеческой расы.

Б.

В. В. РОЗАНОВ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В БЕЛЬСКОЙ ПРОГИМНАЗИИ

(письмо в редакцию)

За последнее время в эмиграции часто стало упоминаться имя Василия Васильевича Розанова. В. В. Розанова я хорошо знал лично. Я не являюсь литератором с именем, а потому мое о нем мнение быть-может не представляет интереса, но даваемые мною о нем сведения, мне кажется, безусловно должны быть учтены, так как я сообщаю *факты,* точность которых удостоверяю своей полной подписью, а также указываю свой адрес и точные даты и места описываемого. Эти данные, мне кажется, тем более ценны, что относятся к тому времени жизни Василия Васильевича, которое наименее освещено в его биографии и в воспоминаниях о нем, но они, как белые точки в глазах портрета, мне думается, должны послужить к уяснению его личности.

В девяностых годах прошлого века я жил в городе Белом быв. Смоленской губернии, и в 1891 и 92 г.г. состоял учеником первого класса местной шестиклассной прогимназии. Преподавателем географии у нас был Василий Васильевич Розанов, а учебник — «Курс всеобщей географии» Янчина. Давно это было, время стерло в памяти многие лица, имена и фамилии, но личность Вас. Вас. Розанова передо мной стоит до сих пор так ясно, как будто мы расстались с ним только вчера. Среднего роста, рыжий, с всегда красным, как из бани, лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своей внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лютой ненавистью, и все, как один. Курс всеобщей географии, казалось бы, не должен был представлять особых трудностей и в руках умелого преподавателя легко мог стать и чрезвычайно интересным, но свою ненависть к преподавателю мы переносили и на преподаваемый им предмет. Как он преподавал? Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику Янчина «от сих и до сих» без каких-либо дополнений, и

разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. Спрашивал он по немой карте, стараясь сбить ученика. Например, он спрашивал: «Покажи, где Вандименова земля?», а затем, немного погодя — «А где Тасмания? Что такое Гаваи? А теперь покажи Сандвичевы острова». Одним словом, ловил учеников на предметах, носящих двойные названия, из которых одно обычно упоминалось лишь в примечании. А когда он свирепел, что уж раз за часовой урок обязательно было, он требовал точно указать границу между Азией и Европой, между прочим, сам ни разу этой гарницы нам не показав. Конечно, ученик правильно вел указкой по карте только до реки Урала, а там начинал путать, и мы уже заранее знали, что раз дело дошло до границы между Азией и Европой, то единица товарищу обеспечена. Но вся беда еще не в этом. Когда ученик отвечал, стоя перед картой, Вас. Вас. подходил к нему вплотную, обнимал его за шею и брал за мочку его ухо и пока тот отвечал, всё время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и всё время сжимал ими ученика и больно щипал, если тот ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Вас. Вас. подходил к нему сзади и пером больно колол его в шею, когда он ошибался. Если ученик протестовал или хныкал, то Вас. Вас. колол его еще больней. От этих уколов у некоторых учеников на всю жизнь сохранилась чернильная татуировка. Иногда во время чтения нового урока, когда один читал, а все остальные должны были следить по своим учебникам, Вас. Вас. отходил к кафедре, глубоко засовывал обе руки в карманы брюк, а затем начинал производить какие-то манипуляции. Кто-нибудь из учеников замечал это и фыркал, и тут-то начиналось, как мы называли, избиение младенцев. Вас. Вас. свирепел, хватал первого попавшегося за руку и тащил к карте. — «Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник!» И в дневнике — жирная единица. — «Укажи ты! Не так!» — И вторая единица, и тут уж нашими «колами» можно было городить целый забор. Любимыми его учениками, то-есть, теми, на которых он больше всего обращал внимание и мучил их, были чистенькие мальчики. На двух неряшливых бедняков из простых и на одного бывшего среди нас еврея он не обращал внимания, спрашивая их только раз, чтобы не оставлять без отметки в четверти. Мы, малыши, конечно совершенно не понимали, что творится с Вас. Вас. на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями? Это был ценный объект для наблюдений

доктора Крафт Эбинга. О том, что он был женат на любовнице Достоевского Апполинарии Сусловой, бывшей старше Розанова на 16 лет, я узнал позже, в девяностых годах она уже его оставила и в г. Белом ее не было.

Всеволод Владимирович Обольянинов

28-38 Бэлл Бульвар, Бэйсайд. Лонг Айлэнд. Н. И.

БИБЛИОГРАФИЯ

THE RUSSIAN PROVISIONAL GOVERNMENT 1917 — Documents selected and edited by Robert Paul Browder and Alexander F. Kerensky, 3 volumes. Published by Stanford University Press, 1961. Stanford, California.

Этот трехтомный труд «Российское Временное Правительство 1917-го года» — сборник, содержащий 1439 официальных документов и других материалов о деятельности Временного Правительства — от февраля до ноября 1917 года. Институт имени Хувера при Стенфордском университете уже давно приобрел официальные протоколы всех заседаний Временного Правительства. В этом же Институте — наиболее полная коллекция комплектов русских газет и журналов, выходивших в Петербурге и Москве в 1917 году. Кроме того, в Институте имени Хувера можно найти буквально все серьезные книги о России и русской революции, как на русском, так и на иностранных языках. Материалы, опубликованные в трех томах — «Российское Временное Правительство 1917 года» — подготовлены к печати профессором Робертом Браудером и его сотрудниками и проредактированы бывшим главой Временного Правительства А. Ф. Керенским. В предисловии к первому тому издатели пишут:

«Значение этих трех томов не может быть недооценено. Содержание их гораздо шире, чем можно судить по заглавию. В этих трех томах — полный отчет о законодательной и административной деятельности Временного Правительства, — отчет, составленный по официальным протоколам ежедневных заседаний Временного Правительства и по другим официальным документам. Эти документы также дают правильную картину того, что в России происходило в эти восемь месяцев.»

В кратком предисловии к трем томам А Керенский пишет: — «Беспристрастный историк, конечно, должен быть всецело свободен в своей оценке исторических событий и делать свои собственные выводы и заключения, но при одном условии: если фундамент его работы построен на вполне точных, проверенных и последовательно изложенных фактах. Настоящие три тома строго соблюдают это условие. Они, поэтому, являются пробным камнем для бу-

дущих историков, которые по ним смогут проверить правильность фактов».

И, действительно, в этих трех томах есть не только все законы, административные распоряжения, декреты и указы Временного Правительства, но и все декларации и интервью официальных лиц, а также различных партий и групп — политических, общественных, национальных, военных, религиозных и профессиональных. Тут же приводятся и отклики газет и журналов всех направлений на различные события того времени и длинные цитаты из опубликованных и даже пока еще неопубликованных мемуаров, воспоминаний и переписки разных лиц, игравших видную роль в революции 1917 года.

В трех томах приведены также речи не только министров Временного Правительства и лидеров Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, но также и противников Временного Правительства как справа, так и слева. Речи Ленина, Троцкого, Каменева и других видных большевиков; речи левых меньшевиков, социал-демократов-«интернационалистов», которые вместе с большевиками систематически нападали на Временное Правительство за то, что оно, по их мнению, не было достаточно радикально. Есть также речи бывших умеренных и консервативных депутатов Государственной Думы и вождей армии, резко осуждавших Временное Правительство за то, что оно, по их мнению, слишком радикально и не принимало надлежащих мер для подавления большевиков. Наряду с цитатами из ленинской «Правды» и левой социалистической газеты Максима Горького «Новая жизнь», которые изо дня в день нападали на Временное Правительство за то, что оно противится «углублению революции», читатель найдет здесь длинные выдержки из умеренно-либеральной московской газеты «Русские Ведомости» и даже из консервативной петроградской газеты «Новое время», которые критиковали Временное Правительство справа. Тут же, конечно, цитируются и газеты социалистов-революционеров, меньшевиков и либералов поддерживавших Временное Правительство. В результате создается полная картина того, что действительно происходило в России в 1917 году. И что каждый член Временного Правительства и Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и каждый выдающийся деятель той или иной партии или видной общественной организации *тогда* думал, говорил и делал.

Конечно, не все документы революции и не все важные речи, которые в течение этих восьми месяцев были произнесены на разных государственных конференциях и совещаниях или в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов вошли в этот сборник. Для этого понадобилось бы несколько десятков томов. Некоторые речи и комментарии печати, помещенные в этих трех томах, без всякого ущер-

ба могли бы быть опущены и заменены другими, имеющими большее историческое значение. Меня, например, поражает, что петроградская газета Г. В. Плеханова «Единство» ни разу не цитируется и во всех трех томах даже и не упоминается ни одна из статей Г. В. Плеханова, написанных им в течение февральского периода революции. А между тем, Плеханов почти ежедневно печатал в своей газете за своей подписью статьи на злобу дня.

Не приводится также ни одна из речей Плеханова, произнесенных им в течение его пребывания в России. Правда, статьи и речи Плеханова были тогда не «созвучны эпохе», но многие из них оказались пророческими. Если в институте имени Хувера нет комплекта газеты «Единство», то там несомненно есть два толстых тома Г. В. Плеханова «Год на родине», сборник всех его статей и речей 1917 года, изданных в 1921 году в Париже. Плеханов фактически был единственный из русских социалистических вождей, который в своих статьях еще летом 1917 года предупреждал, что левые социалисты, которые доминировали в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов и оказывали сильное давление на Временное Правительство, своей «полу-ленинской» политикой и тактикой «уравнивают дорогу, ведущую к воротам ленинского большевизма». Очень жаль, что ни одна из статей Плеханова не приведена в этих томах.

Но, в общем, надо сказать, что составители этих трех томов старались, по возможности, быть объективными в выборе документов, речей и откликов печати. Они включили статьи и речи в которых Временное Правительство и лично А. Ф. Керенский подвергались резкой критике за то, что они делали и за то, что они, по мнению этих критиков должны были делать и не делали. Так, например, в главе о деле Корнилова приведены длинные выписки из статей и мемуаров всех выдающихся лиц, имевших какое-либо отношение к делу Корнилова. Не упоминается только брошюра Б. В. Савинкова «Дело Корнилова», вышедшая осенью 1917 года в Москве. Но никто не может обвинить А. Ф. Керенского в том, что он, как редактор этих трех томов сознательно скрыл какие-то документы о деле Корнилова, чтобы оправдать свою собственную позицию в этом деле.

Документы, напечатанные в этих книгах, подтверждают правдивость всего того, что рассказано в каждой отдельной главе.

Из этого фундаментального труда ясно видно, что Временное Правительство за восемь месяцев своего существования сделало больше для разрешения чрезвычайно трудных задач, стоявших перед страной, чем любое демократическое правительство какой-либо другой страны. В Совете Рабочих и Солдатских Депутатов действительно очень много говорили, но члены Временного Правительства

и большинство представителей Временного Правительства на местах неустанно работали, чтобы упрочить свободный демократический строй в стране, обеспечить мирное население и армию необходимым продовольствием, удержать военный фронт от распада, чтобы не дать возможности милитаристической Германии выйти победительницей из войны. Временное Правительство подготовило созыв Всероссийского Учредительного Собрания и сделало все необходимые приготовления для справедливого разрешения земельного вопроса в пользу крестьян.

Из опубликованных в этих трех томах документов также видно, почему и как большевикам удалось свергнуть Временное Правительство и захватить власть. Слабость Временного Правительства не может быть объяснима слабоволием и нерешительностью его главы, А. Ф. Керенского, как это думали и по сей день продолжают думать многие. Она была результатом многих причин, но главным образом результатом постоянного давления на него с одной стороны левых лидеров Совета, которые имели бóльшее влияние на солдатские и рабочие массы обеих столиц, чем Временное Правительство, а с другой стороны, давления на него умеренно-либеральных и правых кругов, за которыми стояли генералы и огромное большинство офицеров армии, средние городские классы и значительная часть интеллигенции. Нет сомнения, что если бы Россия сразу после революции вышла из войны, большевики позднее не могли бы захватить власть. Но тогда такой выход из войны психологически был невозможен. Правительство, которое весной или летом 1917 года попыталось бы заключить сепаратный мир или даже сепаратное перемирие с Германией, не могло бы удержаться у власти, потому что вожди армии и общественное мнение страны были решительно против сепаратного мира.

Книга — «Временное Правительство 1917 года» — это не только полная, отлично документированная история демократического периода русской революции. Это также правдивая история деятельности Петроградского и Всероссийского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, где доминирующую роль играли социал-демократы-меньшевики и социалисты-революционеры. В этих трех томах перепечатано много речей Церетели, Чхеидзе, Дана, Марка Либера, Абрама Гоца и других лидеров Совета и дано больше передовых статей из «Известий» Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чем из какой-либо другой газеты. Кроме того в этом труде приведено много документов о деятельности бывших членов Государственной Думы, а также о деятельности организаций почти всех национальностей, населявших Россию. Подробно рассказано об их отношении к революции, к Временному Правительству и к различным

проблемам, возникавшим в то время. Монументальный труд почти в две тысячи страниц под названием «Временное Правительство 1917 года» — останется главным источником правдивой и объективной информации о Февральской революции 17-го года.

Д. Шуб

MILOVAN DJILAS. CONVERSATIONS WITH STALIN. Harcourt, Brace and World, Inc. New York, 1962. p. 191.

В предисловии к своей книге М. Джилас пишет, что строго говоря, его ««Беседы со Сталиным» касаются многих уже известных фактов. И тем не менее, благодаря множеству подмеченных автором деталей, эти общеизвестные факты в его книге приобретают новый интерес и особый колорит. К тому же, многие детали, о которых пишет Джилас, не были раньше известны ни на Западе, ни тем более в СССР.

Джилас — разочарованный коммунист, один из четырех югославских лидеров, приведших свою партию к власти и построивших свою версию социализма в Югославии. Джилас — человек переживший и, пожалуй, и сейчас еще переживающий глубокую личную драму, и в этом смысле его «Беседы со Сталиным» значительно интереснее его нашумевшей книги «Новый класс».

Автор не только опытный политик, но и внимательный наблюдатель, способный к глубокому анализу и неумолимым выводам. Талантливо, простым и ясным языком он описывает свои встречи со Сталиным, скупыми мазками рисует облик этого диктатора. Попутно Джилас зарисовывает и других деятелей сталинской и титовской «головки» — Молотова, Маленкова, Берия, Жданова, Хрущева, Булганина, Тито, Карделя, Ранковича и других. И все они кажутся живыми.

«Беседы со Сталиным» распадаются на три части, точно отвечающие трем этапам духовного и идейного пути автора: «восторги», «сомнения» и «разочарования». Хронологически эти части отмечены 1944, 1945 и 1948 годами. Впервые Джилас увидел Сталина в 1944 году во время поездки в Москву по поручению Тито, нуждавшегося в экономической и военной помощи СССР. В этот момент Сталин для Джиласа был воплощением мечты о новом социальном строе. Сталину, тогда живому идолу коммунизма, Джилас поклонялся так же, как и многие другие коммунисты. Он безоговорочно одобрял все его действия и искренно верил во все небылицы, распространявшиеся сталинским пропагандным аппаратом о троцкистах, бухаринцах и др.

Пребывание Джиласа в Москве в 1945 году прошло уже под знаком сомнений в моральных и политических достоинствах Сталина. Первым поводом к сомнению послужило вступление красной армии на территорию Югославии: — грабежи, насилия над женщинами и пр. «Освободители», по словам Джиласа, оказались совсем не такими, какими представляли их себе югославские коммунисты, воспитанные в любви к своему народу. Сам Джилас заявил резкий протест главе советской миссии в Югославии, генералу Корнееву, и тем вызвал гнев Сталина. Сомнения Джиласа усилились после новых бесед и пиршеств на даче Сталина. Диктатор откровенно и снисходительно одобрял грабежи и насилия, творившиеся солдатами РККА — это не грех, лишь бы они хорошо дрались против гитлеровских войск! К моральному отталкиванию от Сталина стали присоединяться и соображения политического характера: Сталин был отнюдь не склонен считаться с какими-то особенностями югославской революции и, конечно, не разделял мнения Тито и его сподвижников о разных формах социализма. Сталин стремился подчинить Югославию целиком себе и своим интересам.

В 1948 году Джилас окончательно разочаровался в Сталине и построенном в СССР социализме. Свою третью поездку в Москву Джилас описывает очень подробно. Состоялась она во время острых политических разногласий между Сталиным и Тито по вопросу о включении Албании в Югославию, по вопросу о федерации Болгарии с Югославией и Албанией и по ряду других балканских проблем. Джилас убедился, что Сталина интересовали лишь такие социалистические революции, которые проходили под его контролем и руководством. С исчерпывающей ясностью Джилас показывает неизбежность разрыва Тито со Сталиным и одновременно всю глубину своего разочарования в Сталине и созданной им системе.

«Заключение», которым заканчивает свою книгу Джилас, звучит обвинительным приговором. Не отнимая у Сталина его политических дарований, автор называет его величайшим преступником, сочетавшим в себе бессмысленную преступность Калигулы с утонченностью Цезаря Борджиа и жестокостью Иоанна Грозного. Всё, что было достигнуто Сталиным в течение тридцати лет его безгранично деспотической диктатуры, могло быть достигнуто только на путях жесточайшего террора, — физического и духовного подавления всех инакомыслящих. Сталин — организатор определенной социальной системы, продолжающей существовать и после смерти диктатора. По Джиласу десталинизация не меняет ее сущности, и люди, развенчивающие «культ личности», не в состоянии оправдать ее. По отношению к этой системе и к людям, ее отстаивающим, остается в

силе то же, что и по отношению к Сталину: кто хочет избавиться от созданного им строя, должен бороться против него.

Так заключает свою книгу Джилас, книгу яркую, нужную всякому, болеющему проблемами современности.

Б. Прянишников

F. D. REEVE. ALEKSANDR BLOK: *between Image and Idea.* **Columbia University Press. New York and London, 1962, 268 pp.**

В то время как в СССР всё еще занимаются почти исключительно «реализмом», прилагая к нему всё новые и новые эпитеты и отыскивая его проявления, казалось бы, в самых неожиданных произведениях, (например, в «Руслане и Людмиле» Пушкина), на Западе открывают, наконец, русский символизм и вглядываются в него всё вдумчивее и внимательнее.[1] Взгляду иностранцев, обращенному на русскую литературу нередко присуще то, что можно было бы назвать «остранением» в критике. Этот взгляд как бы «неискушенных» глаз, взгляд «свежего человека», не раз обновлявший формы в литературе, может привести иногда и к открытиям.

Рецензируемая книга посвящена Блоку, которого автор считает единственным русским поэтом-символистом (тут и начинается «остранение»). Это — очень интересная попытка заново творчески перечитать Блока глазами современного американского читателя и поэта, глазами молодого ученого,[2] искушенного во всех ро-

---

[1] За последнее время в Голландии вышла книга

Georgette Donchin, The Influence of French Symbolism on Russian Poetry, Mouton & Co., 1958 'S-Gravenhage.

в Германии:

Johannes Holthusen, Studien zur Aesthetik und Poetik des Russischen Symbolismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Goettingen, 1957.

В Англии «Антология русской поэзии» под редакцией Д. Оболенского на русском и английском языках.

В США прекрасный новый перевод «Мелкого Беса» Сологуба, сделанный А. Филдом и перевод «Петербурга» Белого, не говоря уже о многочисленных статьях, посвященных русскому символизму в славистских журналах.

[2] Автор книги о Блоке — профессор русской литературы в **Wesleyan University, Conn.**, редактор и переводчик «Антологии русской драмы», вышедшей в Нью-Йорке в 1961 г. и автор статей в специальных славистских журналах.

дах т. наз. «новой критики», о чем, кстати, интересно писала Нина Берберова в 64-ой кн. «Нов. Журн.». То, что сам автор — поэт, роднит его впрочем не только с «новыми критиками» (среди которых есть такие как Т. С. Элиот, Эзра Паунд, Аллен Тэйт и др.), но и с русскими поэтами-символистами, тоже занимавшимися критикой и заново пересмотревшими многое и в русской критике, и в русской литературе. Книга Ф. Д. Рива написана с блеском и тонким проникновением в сущность поэзии и с тем повешенным вниманием к «сумме всех возможных смыслов слова», какое он находит характерным для русских символистов.[3]

Конечно, эта книга — для читателя, хорошо знакомого с творчеством Блока, несмотря на то, что автор много цитирует его стихи, сопровождая их точным прозаическим, а иногда и прекрасным поэтическим переводом (см. напр. «Поэт», стр. 82). Автор рассматривает творчество Блока и проблемы его поэтики на фоне русского символизма. Символизм же рассматривается автором прежде всего как «художественный метод», как стиль, а не как «жизненно-творческий метод» (выражение В. Ходасевича), не как героическая, хоть и неудавшаяся попытка создать новый мир на основах нового искусства.

Это не значит, однако, что автор не старается отыскать в творчестве Блока «трансцендентную систему» или хотя бы некий метод, который помог бы разобраться в сложных символических соответствиях его поэзии. В поисках такого метода автор обращается не только к лирике, но и к критическим статьям, и к письмам и дневникам Блока, но взамен метода он находит лишь «ощущение драмы, яркие образы и обаяние (волшебство)» (стр. 28). И именно это «ощущение драмы», та «более глубокая драма» — эта, чрезвычайная «напряженность»[4] и игра «между образом и идеей» и делает Блока, по мысли автора, единственным и подлинным русским поэтом-символистом. Свой тезис о все повышающемся тяготении поэзии Блока к драме Рив доказывает на протяжении всей книги, «поверяя алгеброй гармонию». Он обсуждает драматическую обработку Блоком прежнего материала (стр. 94), называет стихотворение «Обман» (1904 г.) «драматической притчей» и видит в стихотворении «Еще прекрасно серое небо» (1905 г.) миниатюрную «драматизацию» различных аспектов политического конфликта (стр. 105). Автор показывает как в «Шагах командора» драма заменяет мысль

---

[3] Утверждение автора, что символисты ценили слово как таковое, совершенно не интересуясь тем, что стоит за словом представляется нам спорным.

[4] Термин «tension» принадлежит критику и поэту Аллену Тэйту, вокруг которого он построил свою эстетическую систему.

(стр. 146), как постепенно в поэзии Блока возникают формы сначала внутреннего, а потом и настоящего диалога, как в стихотворениях 1907-16 г.г.[5] глаголы начинают преобладать над эпитетами (что было уже отмечено Е. Ф. Никитиной и С. В. Шуваловым) и вообще как этим драматическим переменам сопутствуют изменения в версификации.[6]

Рив прослеживает также переход от неубедительного для него символизма ранних стихов Блока к более «удачному» символизму его позднейших стихов, построенному «на аналогии с воспринимаемой системой подлинных соответствий» (стр. 116). Он находит «употребление образов как идей» в «Вольных мыслях». Из ранних стихов отмечает «По городу бегал черный человек» (1903) из-за удачного «воссоздания пресуществленного мира», не названного прямо, и из-за «слияния эмпирических миров с воображаемыми в выражениях, соответствующих и тем и другим»[7] (стр. 69).

Интересно отношение автора к образу Прекрасной Дамы в творчестве Блока. Поскольку Рив оставляет в стороне или оценивает явно иронически мистический опыт символистов, он склонен рассматривать Прекрасную Даму не как видение, а скорее как знак, или как символ. Автор иллюстрирует это на примере двух стихотворений с сходной тематикой и словарным составом, это удачный прием, примененный автором и в нескольких других случаях. В связи с тем, что Рив считает «главной проблемой автора — контроль идей версификацией», Прекрасная Дама оказывается то «компенсацией за неудачи в стихотворной технике» юного поэта, то просто тропом, а затем и вовсе исчезает, «не пережив периода экспериментов» — перехода Блока к тоническому стиху (стр. 59).

Тематическим переменам и метрическим экспериментам в поэзии Блока в период 1904-1908 г.г. автор отводит довольно много места. Он проявляет при этом не только прекрасное знание структуры русского стиха, но и подлинное проникновение в сущность

---

[5] Рив посвящает отдельные главы всем трем периодам блоковского творчества, следуя его собственному делению.

[6] Интересно отметить, что Брюсов сделал пометку на 75 стр. сб. «Нечаянная Радость» (М. 1907): «Больше драматург, чем лирик» (см. «Лит. Насл.», т. 27-28, стр. 671), а А. Белый назвал «драматической поэмой» даже статью Блока «Катилина»...

[7] Прозу Рива почти так же трудно переводить как поэзию. Привожу оригинал:

"It commingles the worlds of actuality and of mystery in resiprocal terms; it *is* in both."

поэзии, анализируя приемы повтора и ассонансы, закрепленные Блоком в русской поэзии и обогатившие ее.[8] Рив оценивает структуру стихов «Снежной Маски» как наиболее приближающуюся к чисто музыкальной структуре. Но этой «заклинательности» стихов Блока, так пленяющей русского читателя, сам он предпочитает тот высший музыкальный смысл, который возникает в результате слияния идей и звуков — в вибрирующем и предельно насыщенном слове (стр. 69).

Ф. Д. Рива, как современного поэта, привлекают в творчестве Блока прежде всего лирические, иронические, «разговорные» стихи полные неожиданных метафор из повседневной жизни. Для Рива Блок оказывается вовсе не романтиком, а связующим звеном между романтической поэзией XIX века и современной поэзией, сложившейся в 20-ые годы. Впрочем Рив не отрицает (да это было бы и невозможно!) романтических тем и мотивов в творчестве Блока и влияния на него немецкой романтики. Но гораздо больше чем немецкие влияния автора интересуют французские (Бодлер) и английские (Байрон, По, Шекспир), восприятие которых, так сказать, «через Блока» перешло к таким поэтам, как например Пастернак. Рив находит даже соответствие между стихотворением Блока «Еще прекрасно серое небо» и «Агамемноном» Эсхила. (Этого даже Иннокентий Анненский не заметил!) Рив обращает внимание на увлечение Блока театром и на его мечты воскресить «непосредственность древне-греческой традиции». Он рассматривает «Розу и крест» Блока как «блестящую, хотя и не вполне удачную попытку перейти от мифа к театру, оживить миф в театре» (стр. 215).

В таком же драматическом, а отнюдь не политическом «ключе» дан и очень интересный анализ поэмы «Двенадцать», структуру которой автор очень удачно, по-моему, определяет как «сцепление перемежающихся сцен экспозиции и действия, как бы рассказываемых хором, как всезнающим и присутствующим тут же посредником» (стр. 216). Движение «Двенадцати» представляется Риву подобным «трагическому ритму драмы» или «движением той самой существенной музыки, которую Блок считал двигательной силой жизни».

В связи с утверждением автора, что поэма «Двенадцать» — «откровение» мне хотелось хотя бы вскользь коснуться вопроса о мистическом опыте Блока и его отражении в его творчестве. Здесь

---

[8] Рив удачно полемизирует с Ж. Дончин, доказывая, что в стихотворении «На зов метелей» рифма выполняет ритмическую функцию ((стр. 111).

я не могу не согласиться с критиками и исследователями «глубинного» творчества Блока (как А. Белый, Д. Чижевский, Н. Бердяев, К. Мочульский, Г. Адамович и др.), считавшими, что этот опыт, а, главное, «подмены и искажения» в нем заметно окрасили его творчество. У самого Блока есть много этому свидетельств и помимо стихов, а о «Двенадцати» он писал Белому (9-го апреля 1918 г.), что в них м. б. есть «соблазнительное». Блок вообще был склонен рассматривать свое поэтическое творчество как служение и в пушкинской, и в гоголевской традиции, и по-своему отождествлял проблемы творчества с нравственными проблемами. Он не только считал, что нет «бесформенного искусства» (это Рив цитирует на стр. 121), но говорил (Замятину), что «Бог есть форма, дышет только наполненное сокровенной формой», а в «Наброске статьи о декаденстве» писал: «Таким образом источник и декадентства, и классицизма, и мистицизма, и реализма — один; имя ему — Бог». Блок, достигший в зрелый период творчества почти полного мастерства, как это блестяще показывает Рив в своей книге, записал 25-го марта 1915 г. в «Записную книжку»: «На днях я подумал, что стихи мне писать не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал». (см. ЛН, т. 27-28, с. 49).

А в 1944 г. покойный Г. П. Федотов писал в «Новом Журнале»: «Искусство не сводимо на нравственность, как пытались у нас сводить его Гоголь и Толстой. Но искусство — почти всегда — вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь». Мне кажется, это приложимо и к Блоку.

В заключение еще несколько слов о трактовке «Возмездия» в книге Рива. Он называет поэму «драматической попыткой» понять и выразить свою эпоху в музыкальной форме. Именно поэтому он не считает ее незаконченной вопреки всякой очевидности. Ритм мазурки, найденный Блоком для «Возмездия» выявляется однако, по мнению Рива, не в метрическом анализе поэмы, а в драматическом чтении, несмотря на ее преобладающую лиричность.

Сожалею, что принуждена ограничиться лишь этими замечаниями. Но надеюсь, что их достаточно, чтобы показать, что книга Ф. Д. Рива довольно существенно обогащает литературу о Блоке. Она должна быть особенно интересна русскому читателю, т. к. у нас долго отсутствовала та традиция изучения формы художественного произведения, которая естественно перешла в европейскую науку из античной традиции строгого стилистического анализа. Автор внимательно изучил громадную литературу о Блоке

на разных языках, включая даже неопубликованные ни в СССР, ни заграницей статьи.

Книга издана Columbia University Press. К сожалению, это не спасло ее от опечаток. Самые досадные из них: Johanna von Blok (sic!).... — прапрадед Блока (стр. 9). и Абрамович вместо *Адамович* (стр. 14), опечатка перекочевавшая и в индекс, отличающийся к тому же некоторой нечеткостью и неполнотой. Есть опечатки и в русских текстах стихов Блока. Но это, конечно, мелочи. В целом книга — редкий пример тщательного, вдумчивого, а порой и проникновенного анализа, соединенного с талантливейшим сотворчеством «читателя в потомстве», к которому так или иначе всегда обращается каждый большой поэт.

Зоя Юрьева

GUENTER WYTRZENS: *Pjotr Andreevic Vjazemskij*, **Studie zur russischen Literatur-und Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbande Osterreichs. Wien 1961, 334 S.**

У князя Петра Андреевича Вяземского (1792-1878) мало осталось читателей, но всё же он не забыт: его знают как одного из ближайших друзей и единомышленников Пушкина и многие помнят пушкинские стихи, ему посвященные:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Известно также, что к Татьяне «...как-то Вяземский подсел/ И душу ей занять умел». Между тем забвение Вяземского-писателя ничем неоправдано. Есть прелесть во многих его стихах, и очень хороша его проза: замечательные Письма и Записная Книжка (которая была переиздана в 1929 г., но уже стала библиографической редкостью).

Немало внимания уделяли Вяземскому все пушкинисты, а несколько литературоведов много сделали для изучения его литературного наследия. В наше время — это Л. Я. Гинзбург и В. С. Нечаева, а также и некоторые другие. Среди них выдающееся место занимает теперь австрийский славист Гюнтер Вытженс, автор основательной монографии. В его труде находим самую полную библиографию Вяземского, хотя в ней и имеются некоторые про-

белы (не учтена статья Н. Л. Степанова «Дружеское письмо начала XIX-го века», Поэтика. VIII, 1926 г. и не внесен интересный очерк С. Л. Франка «Пушкин, как политический мыслитель», 1937 г., включенный также в сборник «Этюды о Пушкине», 1957). Вытженс установил, что в полном собрании сочинений Вяземского (1878-1896) одни и те же записи были помещены дважды и исправил датировку целого ряда произведений. Он также дает список неопубликованных сочинений (всего 31 номер) и подробно разбирает мало известный очерк Вяземского о русской литературе 1854-64 г.г. «Роман и Повесть» (эту книгу и я, к сожалению, не принял во внимание в моей работе «Вяземский — литературный критик»). В. С. Степанова уже дала положительный отзыв о труде Вытженса в «Вопросах Литературы» (VII, 1962), но ее не удовлетворяет характеристика политических взглядов Вяземского в этой книге, в особенности же квалификация его как либерального консерватора. Но она должна была бы знать, что сам Вяземский определял себя и Пушкина как либеральных консерваторов (или — либералов и консерваторов); об этом подробно и убедительно писал П. Б. Струве и с его мнением Вытженс соглашается. Заметим: Вяземский и Пушкин всегда защищали свободу, но не только от противников справа, но и слева. Так, Пушкин еще в «Вольности» осуждал и старый режим, и террор Робеспьера. Вяземский — товарищ министра народного просвещения и глава цензурного управления в 50-х г.г. отказался от очень многих увлечений юности (т. е. в эпоху, когда он написал стихотворение «Негодование»), но мракобесом он не стал и во вторую половину жизни, и продолжал защищать все ту же свободу, хотя уже только от партийного догматизма радикалов, от их деспотического «общественного мнения». Тем не менее, его обвиняли именно в мракобесии, а Тургенев высмеял его под именем князя Коврижкина в «Нови» (к чему Вяземский отнесся очень благодушно). Всё это хорошо разъяснено и показано в труде Вытженса. Добавим еще, что замечательная характеристика Пушкина (в очерке Г. П. Федотова), как «певца империи и свободы», покрывает и Вяземского. Но империя и свобода в их творчестве никогда не уравновешивались. В 30-х г.г. Вяземский осудил Пушкина за «Клеветников России» и «Бородинскую Годовщину», осудил его «имперскость», которая в данном случае мешала свободе (польской), но через 30 лет, во время польского восстания, сам впал в крайний национализм (и это отмечается в книге Вытженса). На мой взгляд, существенно, что Вяземский и Пушкин ценили и любили и империю (создание Петра — Европейскую Россию), и свободу — так они осуждали крепостное право, унижение личности, в особенности же — творческой лич-

ности. Однако, империя и свобода в гармонии никогда не были, но все же ценить и любить, можно и то и другое.

Интересна глава, посвященная Вяземскому и Пушкину. Еще П. М. Бицилли находил онегинские каталоги (перечисления) в «Станции», Вяземского:

Спектакли, выезды в заставы,
Продажа книг, побег собак,
Проказы, добрых дел примеры,
Волненье мод и атмосферы,
Движенье жизни: смерть и брак;
Движенье биржи: курс, банкруты...

Тот же пример приводит и Вытженс (но без ссылки на Бицилли) и далее дает ряд других убедительных примеров, им найденных; и, ссылаясь на В. Ледницкого, отмечает такого же рода перечисления в «Пане Тадеуше» Мицкевича. Отмечу: эти каталоги — иронические; здесь снижается проза жизни, и не для того ли, чтобы она не «мешала лирике» в «Евгении Онегине» (и в «Пане Тадеуше»). Пушкин (и Мицкевич) в этих пьесах — обыденное (т. н. «реализм») не отрицали, но иногда отказывались брать всё бытовое всерьез. Этот литературный прием оправдан апологией лирического плана «Евгения Онегина». Но в «Станции» лирических отступлений нет и везде доминирует ирония.

В 20-х г.г. Вяземский выступает в роли защитника и даже идеолога русского романтизма (полемика с М. А. Дмитриевым). Полемист он был едко-остроумный, но как верно замечает Вытженс, в данном случае поверхностный. Я сказал бы — тема романтизма во всем её объеме была слишком высокой и глубокой для Вяземского, который никогда не утруждал себя сложными философическими размышлениями. Чуждался их и Пушкин, а в короткой записи (1825 года) он дал очень четкое определение классицизма и романтизма по формальным, а не по философским признакам. Существенно, что в ту эпоху (ампира) очень ценились — ясность, точность, уравновешенность, т. е. качества скорее характерные для классицизма XVIII-го столетия — для века Просвещения, а не для романтизма, склонного ко всему иррациональному. Романтические туманы тогда окутывали польскую поэзию поэтов-пророков (Мицкевича, Словацкого). А в России «глубинный» и «высотный» романтизм раскрылся позднее, в кружке Станкевича, в спорах западников и славянофилов, в поэзии Тютчева, наконец, в романах Достоевского. Воспитание Вяземского (и Пушкина) было французское, просвещенческое и оно мешало им углубляться в темные романтические бездны,

но оно не помешало и отчасти помогло им создать свой собственный оригинальный стиль.

Вытженс литературовед, а не литературный критик. От него нельзя требовать того, что он и не намеревался делать. Цельной характеристики он не дает, хотя и очень подробно разбирает всё литературное наследие исследуемого им писателя. Можно сказать, что в его книге из-за деревьев (сочинений Вяземского) иногда не видно леса (самого Вяземского)!

Сравнительно мало внимания Вытженс уделяет самым замечательным произведениям Вяземского — его Письмам и Записной Книжке. Л. Я. Гинзбург, вдумчивая и тонкая специалистка по Вяземскому, утверждает, что Записная Книжка (составляющая несколько больших томов) — «это, своего рода, большая форма малого жанра». То же определение, но как будто без ссылки на Гинзбург (стр. 243), находим, у Вытженса. Я же дал в моей работе другое определение: «Книжка — это большая (скорее по количеству буквомест) форма мозаичного типа»: Отдельные фрагменты имеют совершенно разные жанровые и стилистические признаки (афоризмы, анекдоты, светская хроника, путевые записки, мемуары и многое другое).

Свою Книжку Вяземский задумал очень оригинально, как «Россияду, не героическую, не в подрыв Херасковской(...), а Россияду домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных *руссицизмов*...» В другом месте он называет эту Россияду «плевальником». Последнее выражение могло бы восхитить Розанова: его книги («Уединенное», «Опавшие листья») тоже своего рода плевальники, но в другом роде. Розанов «выплевывал» факты интимной жизни и свои еретические мысли. А Россияда-плевальник князя Вяземского — создание остроумного светского causeur'a и русского барина, склонного к озорству.

Вытженс дает список неологизмов Вяземского, но он их не классифицирует. Так, «омосквичившийся» неологизм очень слабый, русская разговорная речь пестрит такими новообразованиями. К тому же его словечки обычно пуантированы и их нужно приводить в контексте. Забавны его «скороползы» по аналогии со скороходами, а также «московский ложелас» — от ловеласа (народная этимология). «Добродетель» — это добрый человек, как и благодетель (детский язык одного мальчика). Или шутка Шишкова: «слово 'республика' ничто иное, как 'режь публику!'»! Здесь — не только остроумие, но и своего рода языковые эксперименты. Его очень занимало и звучание речи, напр., в восприятии иностранцев. В какой-то степени слово для Вяземского уже было «самовитым» как позднее для Хлебникова и уже отчасти для Лескова. Интересен и этот прием — по-

вторения префиксов: «он проникнут, пропитан, промазан, промозгнут, прошпигован популярностью» (ирония). Или: эта «бесплавная, бесколесная, бессуетная, бесшумная, бездейственная, но вовсе не бездушная жизнь Венеции имеет что-то очаровательное» (панегирик); и тем же приемом он пользуется в стихотворении «Венеция»: «Безлошадный, бесколесный/Город — рознь всем городам!» (Эти примеры заимствую преимущественно из моей книги о Вяземском). Что же касается «бесформенности» Книжки и Писем, то здесь есть «форма» (но мозаичная), как позднее у Розанова, а также в замечательных записках, заметках и в эпистолярной прозе Герцена, или Леонтьева. Заметим, что Вяземский открыто выступал против «ее величества благочестивейшей государыни нашей (нет, вашей) Грамматики и его высокопревосходительства Алексея Андреевича (намек на графа Аракчеева!) Синтаксиса» (в письме 1821 г. к А. И. Тургеневу, который укорял его за погрешности в слоге). Вот темы и проблемы, связанные с композицией и стилистикой Записной Книжки и еще более замечательных Писем Вяземского; и его дарование обнаружилось именно здесь, в этой будто бы бесформенной и всё же стилистически организованной прозе (и, в меньшей степени, в поэзии).

Не буду указывать на мелкие недостатки отчетной книги, но не могу не отметить один большой промах. Вяземский кощунственно пародирует великопостную молитву, приписываемую Ефрему Сирину (привожу только отрывок): «...дух же решимости, терпения, квартиронаития даруй мне рабу твоему». По истолкованию Вытженса Вяземский здесь только стилизует церковно-славянскую речь (стр. 249).

Вообще же, основательный труд Вытженса — очень ценный вклад в пушкиниану, и очень существен для изучения всего русского «ампира», а прежде всего, конечно, — Вяземского. Другие специалисты по Вяземскому его литературным наследием в целом не занимались.

Юрий Иваск

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ РЕВИЗИОНИСТЫ

A STUDY OF «LEGAL MARXISM» IN RUSSIA, *by Richard Kindersley*, Clarendon Press, Oxford, 1962

Книга «Первые русские ревизионисты», недавно вышедшая в Англии, это исследование о русском так называемом «легальном марксизме» 90-х годов прошлого столетия и начала нынешнего века. Автор, Ричард Киндерсли — англичанин, хорошо владеющий

русским языком. Он тщательно изучил литературу по истории русской общественной мысли и особенно литературу об идейном кризисе народничества и о возникновении и развитии легального марксизма, наиболее выдающимися представителями которого, как известно, были П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и С. Л. Франк. После краткого изложения истории и теоретических основ народничества, как они были формулированы Герценом, Чернышевским, Михайловским и другими, автор дает очерк о первых последователях Маркса в России.

Основоположником русского марксизма, как известно, был Г. В. Плеханов. О нем Киндерсли пишет подробно. И кроме того дает краткие биографии всех выдающихся представителей легального марксизма, излагая их экономические и философские взгляды, а также и их дальнейшую эволюцию. Для своей работы автор пользовался не только произведениями легальных марксистов и их противников. Он лично расспрашивал некоторых из бывших русских ревизионистов, которые еще были живы в 50-х годах, когда он подготовлял свой труд (Е. Д. Кускову, С. Н. Прокоповича, В. А. Оболенского). Главное внимание автор уделяет П. Б. Струве. Известно, что первая книга Струве «Критические заметки об экономическом развитии России», вышедшая в Петербурге в 1894-ом году имела исключительный успех. Это была критика народничества, его философских, социологических и экономических основ. Н. К. Михайловский, против которого были, главным образом, направлены стрелы Струве, посвятил разбору этой книги почти сорок страниц в «Русском Богатстве».

Вторым виднейшим легальным русским марксистом был М. И. Туган-Барановский. Его первой марксистской книгой была «Промышленные кризисы в современной Англии», вышедшей в 1894-ом году. Как и Струве, Туган-Барановский с самого начала не был стопроцентным ортодоксальным марксистом. В частности, он утверждал, что Маркс недостаточно разработал свою теорию кризисов. Теория кризисов самого Туган-Барановского до сих пор не потеряла своего значения. Знаменитый немецкий экономист Вернер Зомбарт называл Туган-Барановского «отцом современного учения о кризисах». В 1895-ом году Туган-Барановский напечатал в петербургском ежемесячнике «Мир Божий» статью «Значение экономического фактора в истории». Она вызвала ответы сразу трех видных народников: Михайловского, проф. Кареева и Леонида Оболенского. С ростом марксистского движения в России за Туганом-Барановским установилась репутация одного из главных представителей русского легального марксизма.

Третьим выдающимся представителем легального марксизма

был С. Н. Булгаков. Еще в университете Булгаков стал социалистом, марксистом. Но еще меньше, чем Струве и Туган-Барановский, Булгаков был ортодоксальным марксистом. Уже в первой своей статье в 1895-ом году — в московском журнале «Русская мысль», где он излагал содержание третьего тома «Капитала» Маркса, Булгаков выразил свое разочарование, что не нашел в этой работе разрешения противоречий в теории ценности, на которые многие указали после появления первого тома «Капитала». И в 1896-ом году Булгаков опубликовал в журнале «Вопросы философии и психологии» статью, где, как и Струве, указывал, что философская основа исторического материализма нуждается в разработке.

Четвертым видным легальным марксистом был Н. А. Бердяев. В 1897-ом году Бердяев был членом киевского отдела «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898-ом году Бердяев был арестован и сослан в Вологодскую губернию. Первая статья Бердяева «Ф. Ланге и критическая философия» была напечатана в немецком журнале Карла Каутского «Нейе Цайт». Когда его книга «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» с предисловием Петра Струве вышла в 1901-ом году, стало ясно, что Бердяев тоже не ортодоксальный, а критический марксист.

Самым младшим из этой группы легальных марксистов был С. Л. Франк. Будучи студентом Московского университета, Франк вступил в контакт с так наз. «практиками» социал-демократии и вел социалистическую пропаганду среди рабочих. Потом уехал в Берлин и стал сотрудником русских марксистских журналов, а также опубликовал в Петербурге в 1900-ом году книгу «Теория ценности Маркса и ее значение». Это был критический анализ теории Маркса. «Оставаясь социалистом, — писал позже Франк, — я осознал всю шаткость и непоследовательность теории Маркса».

В своей книге Ричард Киндерсли правильно указывает, что само название «легальный марксизм» было дано не «ревизионистами», а их противниками. Отход так называемых легальных марксистов от революционного марксизма начался в конце 90-ых годов. Уже в 1894-ом году Струве писал, что исторический материализм не имеет под собой философского фундамента. А в 1899-ом году он в легальном марксистском журнале «Жизнь» выступил со статьей «Против ортодоксии», где призывал к критическому пересмотру всей экономической теории Маркса. Позже Струве совершенно справедливо писал, что он был первым не только в России, но и в Европе, кто пытался дополнить марксизм критической философией. Согласно Струве, само название «научный социализм», —

это «одна большая утопия». К тому же выводу, но другими путями, пришел и родоначальник ревизионизма в Германии Эдуард Бернштейн, говоривший, что «никакой 'изм' не научен». Бердяев и Струве отрицали существование «классовой морали». Добро и зло, утверждали они, независимы от классовой борьбы. Маркс, — говорил Струве, — был прав в сороковых годах прошлого столетия, когда говорил о концентрации капитала, об анархии производства при капитализме. Он также был прав, указывая на постепенное исчезновение средних классов, на растущее обнищание масс и на экспроприацию мелких капиталистов крупными. Он был прав и в своем предвидении возникновения революционного пролетариата. Но ошибки Маркса, — утверждал Струве, — в социалистической интерпретации, которую он давал вышеуказанным фактам. «Это чистый утопизм, — писал Струве, — ибо социализм отнюдь не вытекает из тех фактов, которые наблюдал Маркс. Взять, например, марксову теорию растущего обнищания масс. Маркс думал, что социализм унаследует все материальные и культурные достижения буржуазии. И в то же самое время он считал, что социализм наступит в результате кризиса, экономического краха и обнищания! Единственный реалистический вывод из таких предпосылок должен бы быть пессимизм и 'разрушительный социализм'». Струве отрицал возможность социальной революции. Никакая партия или класс, не исключая и пролетариат, — утверждал он, — не могут произвести социальную революцию. Возможна только **политическая** революция. С другой стороны, Струве и Бердяев утверждали, что исторический материализм Маркса совершенно не связан с философским материализмом.

Точно также и Булгаков в своей книге «Капитализм в земледелии», опубликованной в 1900-ом году, явно стал на сторону Бернштейна, доказывая, что мелкое хозяйство в земледелии оказалось поразительно жизнеспособным и процесса концентрации в сельском хозяйстве не происходит. Крупные сельские хозяйства, — говорил он, — возникли вовсе не в результате капиталистического развития, а главным образом в результате законодательства правительств. В 1896-ом году в Лондоне Струве впервые встретился с Эдуардом Бернштейном и позже вспоминал с удовольствием и благодарностью беседы с «этим умным, широко образованным и на редкость тактичным человеком».

С Карлом Каутским, тогда самым крупным представителем ортодоксального марксизма, Струве поддерживал дружеские отношения и после, — когда уже ясно обнаружился его (Струве) ревизионизм. Струве несколько раз был у Каутского в Берлине.

Появление книги Бернштейна «Предпосылки социализма» было

событием и для русского ревизионизма. Но было ясно, что во многих вопросах Струве несомненно предвосхитил Бернштейна. Появление книги Бернштейна ускорило процесс разрыва между русскими «ревизионистами» и «революционными марксистами».

Еще в начале 1899 года Струве писал своему другу А. Н. Потресову, находившемуся в то время в ссылке, что «Ильин (Ленин) после критики на мою книгу ('Критические заметки') скорее отделился от ортодоксии, чем приблизился к ней. О Туган-Барановском и Булгакове уже нечего и говорить: их отношение к ортодоксии, по существу, то же, что и мое. Им так же, как и мне литературная деятельность мониста (Г. В. Плеханова) теперь не внушает никаких симпатий. А между тем этими тремя силами — Вами да мною, ограничивается литературное представительство направления, заслуживающее внимания. И это не случайно, что монист оказывается духовно изолированным. Я, впрочем, думаю, что по отношению к Zusammenbruchtheorie (т. е. теории неминуемого крушения капиталистического строя — **Д. Ш.**) Ильин (Ленин) еще не отрешился от ортодоксии, но надеюсь, что рано или поздно это произойдет, ибо вера в Zusammenbruch может держаться только консерватизмом мышления или недомыслием, а у Ильина живой и прогрессирующий ум и есть истинная добросовестность мышления». Ленин действительно не сразу разобрался в значении «критических» выступлений Струве и его единомышленников — и на некоторое время даже растерялся. 22-го апреля 1899-го года он из сибирской ссылки писал Потресову: «Вообще вся эта 'новая критическая струя в марксизме', которой увлекаются Струве и Булгаков, мне кажется, крайне подозрительной; громкие фразы о критике 'против догмы' и пр. — и ровно никаких положительных результатов критики».

Еще в 1900-ом году, когда возвратившиеся из ссылки революционные марксисты Ленин, Потресов и Мартов задумали создать заграницей нелегальную боевую социал-демократическую газету «Искру», то на совещание с ними в Пскове, как представители легального марксизма, приехали Струве, Туган-Барановский, Богучарский. Ленин, Потресов и Мартов были заинтересованы в сохранении отношений с легальными марксистами, так как у последних были большие связи в обществе и они пользовались авторитетом и в партийных кругах. Поэтому они признали «легальных марксистов» — «особой разновидностью социал-демократии, с которыми можно и необходимо поддерживать партийные и деловые сношения». На этом совещании был прочитан «Проект заявления» редакции «Искры» и «Зари», выработанный Лениным, Потресовым и Мартовым. Представители «легального марксизма» в общем одо-

брили этот «проект», и соглашение было достигнуто. Струве согласился пойти на уступки после того, как Ленин заявил, что ревизионистам будет дана полная свобода защищать свои взгляды в «Заре», будущем теоретическом органе партии. Но Плеханов, с которым тесно были связаны Потресов, Ленин и Мартов, и который должен был быть одним из редакторов «Искры» и «Зари», резко выступил против псковского соглашения и против участия ревизионистов в «Заре». Он согласился только на то, что легальные марксисты могут выступать в «Искре» и «Заре», но не как социал-демократы, а как «беспартийные демократы». И кончилось все это тем, что соглашение между революционными марксистами и ревизионистами было расторгнуто. Струве еще сотрудничал в первых номерах «Искры», но вскоре уже стал редактором беспартийного либерально-демократического журнала «Освобождение», выходившего заграницей, и примкнул к либерально-демократической организации «Союз Освобождения», вместе со многими другими легальными марксистами.

Автор книги «Первые русские ревизионисты» Ричард Киндерсли ошибается, повторяя вслед за большевистскими историками, что все выдающиеся бывшие русские легальные марксисты и ревизионисты потом стали членами конституционно-демократической (кадетской) партии. К кадетской партии из бывших видных легальных марксистов примкнули только Струве, Булгаков, Франк и А. Изгоев. Остальные — Туган-Барановский, Бердяев, В. А. Поссе, В. В. Водовозов, В. Богучарский, С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова и другие остались до конца своих дней беспартийными социалистами реформистского толка. Они все потом отвергли большевизм и его диктатуру, и в этом они ничем не отличались от основоположника ортодоксального марксизма в России Г. В. Плеханова и всех бывших редакторов «Искры» Аксельрода, Веры Засулич, Потресова и большинства других бывших ортодоксальных марксистов.

Неверно также утверждение автора, что все видные легальные марксисты эволюционировали от марксизма к идеализму и от идеализма к православию. К идеализму они, действительно, все эволюционировали, но философами православного христианства стали только Булгаков, Бердяев и Франк. Струве, хоть и вернулся в лоно православной церкви, но идеологом православия он не был. Все выдающиеся представители легального марксизма, первые русские ревизионисты, потом сыграли большую роль в истории русской культуры и в борьбе русской интеллигенции за права человека и гражданина.

Правильность идей, которые в свое время проповедывал Эду-

ард Бернштейн в Германии и ревизионисты в России, теперь признана партиями демократического социализма во всем мире.

Книга Р. Киндерсли представляет собой серьезный и основательный труд.

Д. Шуб

CAMILLA GRAY. *The Great Experiment*: *Russian Art* 1863-1922. Harry Abraam, Inc. New York. 1962. $25.00.

В отчетной монографии Камиллы Грей «Великие искания: русское искусство с 1863 по 1922 год», даны 24 многоцветных репродукции и 257 одноцветных. Монография разбита на восемь глав. Первая — о русских символистах, в частности о Врубеле, искусство которого рассматривается, как «мост от традиционного к новому». Вторая глава — о виднейших представителях «Мира искусства». В третьей и четвертой — о футуризме в русской живописи, в пятой — абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм. Три последних главы — о судьбах русского модернизма в эпоху первой мировой и гражданской войн в России. Основная тема книги Камиллы Грей — выявить всечеловеческое в национальном русском искусстве. Такая направленность монографии позволяет понять, почему автора особенно притягивает живопись Михаила Врубеля. Камилла Грей полагает, что Врубель «был устремлен в будущее и неведомое в гораздо большей мере, нежели другие русские мастера», и находит даже возможным сопоставить то, что было сделано Врубелем в России с тем, что Сезанн сделал для Франции. С чем вряд ли можно согласиться.

Переходя к художникам «Мира Искусства», Камилла Грей справедливо отмечает, что эта группа приобщила русское искусство к новым веяниям европейской живописи того времени. Автор пытается дать сжатые характеристики творчества Валентина Серова, Александра Бенуа, Константина Сомова, Николая Рериха, Леона Бакста, Мстислава Добужинского, Александра Головина и других. Но особенно Камилла Грей выдвигает Виктора Борисова-Мусатова, утверждая даже, что «это самый значительный и влиятельный после Врубеля художник того времени». Выделен ею и Павел Кузнецов, как последователь Борисова-Мусатова. Думаем, что автор преувеличивает значение этих художников.

К явным недостаткам первых глав этой монографии я бы отнес недооценку искусства Нестерова. Нестеров один из первых свернул с заезженной дороги передвижнического реализма в область религиозных мечтаний. В мотивах древне-русской иконописи он увидел

живое искусство, достойное и возрождения, и преображения. К старинной иконе после Нестерова обращались многие, но никто не смог так глубоко постичь сокровенность ее духа, тайное тайных русской религиозности. На искусство Нестерова мы вправе смотреть, как на ранний просвет в символизм. И о Нестерове в такой монографии следовало бы сказать и серьезнее и глубже.

Никак нельзя оправдать и того, что в этой монографии такой большой и своеобразный художник-символист, как Константин Богаевский, попросту выключен из истории новейшего русского искусства. Его имени нет даже в индексе. Поэт Максимилиан Волошин, друг Богаевского, — писал в стихах о поколении «закатной славы века», пережившем «иллиады войн и апокалипсисы революций». Богаевский же изумительно делал это в живописи. Вслед за большим литовским мастером Чюрлионисом, с которым у него есть общие точки соприкосновения, Богаевский по своему расширил известные искусству представления о полифонии и ритме. Но в монографии, претендующей на обстоятельность и серьезность, Богаевский попросту не замечен.

Особенно подробно Камилла Грей останавливается на абстракционизме, неопримитивизме, кубофутуризме, супрематизме, конструктивизме, подчеркивая, что приверженцы этих течений продолжали борьбу с провинциализацией русского искусства. К сожалению, в этих главах уделено мало внимания живописи Василия Кандинского. Но это, вероятно, потому, что Камилла Грей отсылает читателя к монографии В. Громана о Кандинском, вышедшей в том же издательстве.

Лучшие и яркие страницы монографии посвящены творчеству Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича (творческий портрет последнего особенно удался). На искусство Ларионова, как отмечает Камилла Грей, оказывали свое влияние Ван Гог, Бонар, Анри Руссо, Матисс. Но с другой стороны Ларионов несомненно находился и под обаянием народного лубка и старорусского орнамента. И художественная индивидуальность его являет собой как бы сплав влияний Запада с характерно национальными. В «лучизме» Ларионова Камилла Грей не без основания усматривает раннеабстрактную живопись.

Переходя к творчеству Гончаровой, Камилла Грей опять-таки отмечает, что и ее творческая индивидуальность сложилась в синтезе влияний «своего и чужого»: с одной стороны — французские импрессионисты, с другой — древнерусская иконопись и художественные ремесла — от лубка, игрушек до вышивок. Камилла Грей довольно подробно останавливается и на декоративном оформлении Натальей Гончаровой Дягилевских балетных постановок. В футури-

стических же работах художницы («В царстве машин», «Мотоциклист», «Аэроплан над поездом»), автор усматривает тот живописный ритм, ту цветовую скорость, тот динамизм линий и красок, в которых уже есть что-то, предвосхищающее Малевича, о жизни и творчестве которого Камилла Грей пишет особенно подробно.

«Малевич был замечательным рассказчиком и человеком исключительного личного обаяния. Ему в равной мере были свойственны смелость мысли, острота суждений и чувство юмора, — пишет Камилла Грей. — Не получив систематического образования, но обладая поразительной интуицией, он стремился к тому, чтобы открытия нового искусства были достойны открытий современной науки».

Последовательно рассматривая различные стадии творчества Малевича, Камилла Грей показывает, как художник переходил от увлечения Синьяком и Сезаном к увлечению Пикассо и Браком, и как эти влияния привели Малевича к самостоятельным открытиям. Малевич полагал, что эпоха непрерывно возрастающих скоростей не может не отразиться на ви́дении мира художником. Об этом он писал в своих работах «От Сезанна до супрематизма» и «О новых системах в искусстве». В них Малевич не устает напоминать, что глаз художника, который видит мир с парусного судна, по-иному воспринимает мир, нежели глаз художника, летящего на самолете. Здесь вещный мир как-бы срывается с мест, ускользает из глаз художника, который воспринимает уж только линии и плоскости в состоянии их стремительного движения. Супрематизм Малевича и возник, как живописное выражение стремительности движения. Напомню, кстати, что́ в дискуссии о новаторах и новаторстве, состоявшейся в 1934 году в Ленинградской академии художеств, говорил Малевич, защищаясь от обвинений в «формалистических вывертах и выкрутасах»:

«Я целиком отвергаю живописную технику передвижников, как безнадежно устарелую и провинциальную... Как хотите, но я не понимаю, почему революционному содержанию должна непременно сопутствовать самая реакционная форма. Можете называть меня ультрановатором и сверхмодернистом. Но, поверьте, что это не мешало мне быть народоведцем и человеколюбцем».

Камилла Грей дает едва ли не самое обстоятельное — из всех существующих — описание жизни и творчества Малевича, причем некоторая апологетичность ее высказываний не умаляет серьезного подхода.

О Василии и Николае Миллиоти, Николае Сапунове, Роберте Фальке, Илье Машкове, Аристархе Лентулове, Георгии Якулове, о Петрове-Водкине, о Петре Кончаловском Камилла Грей пишет мало и неполно, тогда как многие из этих мастеров, и в особенности такой

мастер как Кончаловский заслуживают, конечно, подробной характеристики.

В заключительных главах монографии есть разбор работ Любови Поповой, Ивана Пуни, Александры Экстер, Н. Удальцовой, Ольги Розановой, Эль Лисицкого и других. Наиболее подробно Камилла Грей говорит здесь об Александре Родченко и Владимире Татлине, высказывая, на наш взгляд, правильные мысли о творчестве этих художников. Но кто недостаточно оценен автором монографии, так это Павел Филонов. Если с оценкой дореволюционного Филонова, данной автором, можно еще согласиться, то Филонов 1918-1922 годов явно недооценен. В эти годы увлекавшийся Иеронимусом Босхом Филонов как-бы видел апокалиптическое в реальном, — в русской революции и в гражданской войне, — когда действительность превращалась в бредовые видения. Но из отчетной монографии читатель мало что узнает о зрелом Филонове. Жаль также, что автор, говоря о новом русском искусстве, совсем не заметил в нем таких мастеров, как Борис Григорьев, Василий Шухаев, Василий Чекрыгин. Александр Шевченко. И если уже Камилла Грей сочла нужным упомянуть о раннем Юрии Пименове, то почему тогда забыты ранние Дейнека, Дормидонтов, Лабас, Нисский и другие?

В монографии Камиллы Грей, несомненно, есть обстоятельные и хорошо написанные страницы, но в целом монография слишком фрагментарна и не дает законченного и объективного представления о новейшем русском искусстве.

Вяч. Завалишин

JÓSEF MACKIEWICZ. Zwycięstwo Prowokacji. Monachium. 1962.

В Мюнхене недавно вышла новая книга — «Победа Провокации» — очень известного польского писателя Иосифа Мацкевича. Автор — непримиримый враг коммунизма, со всею страстностью своего литературного таланта и во всеоружии политической и исторической осведомленности, во имя прав, чести и свободы человека, предъявляет обвинение современной общественности свободного мира, за ее политику «сосуществования» и примиренчества, которая обычно обосновывается тем, что и коммунизм подвержен закону эволюции.

Все перемены в мире коммунизма, программные, законодательные, бытовые, добровольные или вынужденные, автор рассматривает только как тактические приемы руководства КПСС, усыпляющие готовность к борьбе правительств свободного мира.

Вдохновенно вознося знамя свободы человека, его личности, его совести и его души, выше прав народов и государств, Мацкевич всем содержанием своей книги призывает свободный мир вернуться с гибельного пути «мирного сосуществования» к непримиримой борьбе с коммунизмом. Но автор не уделяет при этом должного политического внимания практическим последствиям такой острой борьбы, этой единственной спасительной схватки не на жизнь, а на смерть свободы с рабством.

Отходя в прошлое, Мацкевич утверждает, что причиной поражения русского белого движения в 1918, 1919 и в 1920 годах (которое якобы было накануне победы над большевиками) явилось, в частности, неоказание польским главным командованием помощи русской контрреволюции. Автор приписывает Пилсудскому, как бывшему революционеру и социалисту, бóльшую симпатию к Ленину и его сотоварищам, чем к царским генералам.

Польские историки и публицисты наверное постараются убедить Мацкевича, что он не прав. Думаю, что среди русских, за исключением безапелляционных апологетов генеральской контрреволюции, вряд ли кто думает так как Мацкевич. Но я как поляк и как очень близко стоявший тогда к совершавшимся событиям, кратко скажу: Пилсудский считал нужным помочь, но не мог. После изнурительной, неравной борьбы с войсками Кремля польские военные возможности были в состоянии полного технического истощения, политически пониженные сопротивлением общественного мнения и усталостью от сверхчеловечески тяжелого порыва при защите собственной свободы. И Пилсудский это понимал и учитывал действительность лучше многих современников и последующих исследователей. Что же касается недоверия Пилсудского к умению царских генералов вести освободительную борьбу за единую и неделимую Россию, то справедливость требует напомнить, что это недоверие вместе с ним разделял и весь лагерь русской демократии, которой нельзя отказать ни в патриотизме, ни в жертвенной любви к родине, ни в готовности бороться с большевиками.

Я считаю своей обязанностью указать русским читателям на книгу Мацкевича, как на исключительно интересную и, в частности, проникнутую прорусскостью, пожалуй, глубже чем пропольскостью, а глубже всего проникнутую прочеловечностью. Я признаю многие достоинства этой книги, не только, как поклонник большого таланта И. Мацкевича и не только, как его земляк, пропитанный тою же любовью к родной Виленской земле. Но одновременно я считаю своим долгом и правом возразить на основной тезис книги о том, что коммунизм не подвержен эволюции и что он, как неизлечимая раковая опухоль подлежит только ампутации ножом. Напоминая

об опасности и весьма проблематичной целесообразности этого средства, я в свою очередь полагаю, что коммунизм не является нависшей, как рок, угрозой над миром. Я убежден, что коммунизм, как все явления подвержен всеобщему закону эволюции, которого автор, как естественник, не должен бы отрицать даже во имя самых возвышенных побуждений ума, совести и чувства. Не боясь парадоксальности такого «слогана», я, например, думаю, что большинству современных советских писателей и даже большинству теперешних образованных «коммунистов» польский писатель Мацкевич в плоскости его чаяния свободы ближе, чем Нечаев, Ткачев и прочие провозвестники тоталитарной революции.

Мацкевич внушает читателям, что противополагая коммунизму «полуреализм» (термин означающий признание эволюции коммунизма) свободный мир идет к неуклонной гибели. Но автор ни словом не упоминает о том, что под видом внешнего и обманного для обеих сторон «сосуществования», ведется скрытая и напряженная борьба, полная опасных очагов, готовых каждую минуту взорваться то тут, то там, пламенем всеобщей войны и всеобщего взаимного истребления. Если бы автор об этом упомянул, ему трудно было бы избежать вывода, что эта скрытая и напряженная борьба под поверхностью «сосуществования» не всегда приобретает благоприятный характер для коммунизма.

Повидимому автор (сторонник решительного физического удара по коммунизму) в полном сознании всех последствий этого рокового прыжка в неизвестное, в успехе его не сомневается. Гибель миллионов людей и долголетние страдания сотен миллионов пораженных хирошимными последствиями, автором настолько не принимаются во внимание, что читатель невольно должен вспомнить положение, по которому лучше убить десять невинных, чем оставить в живых одного врага. С этим положением очень трудно согласиться не только рядовому человеку, но даже и хладнокровному к страданиям обывателей политику, если он учтет ужасающие последствия и в лагере победителей и в лагере побежденных.

Всё то, что мы «полуреалисты» наблюдаем, видим и что видит двести миллионная масса «подопытного материала» в СССР, автором тоже не принимается во внимание, не учитывается, как естественный источник и стимул эволюции, которую он отрицает и за признание которой укоряет свободное человечество, предсказывая ему гибель.

Доказывая полную национальную обезличенность современной Польши, Мацкевич отрицает существование польского государства, польской культуры, науки, литературы, искусства, прогресса в ка-

кой бы ни было области, не исключая и польского католицизма. Он определенно обвиняет клир, от кардинала до заурядного священника в соглашательстве с правящим режимом и в примиренчестве, не признавая совершенно (по его мнению иллюзорных) надежд охранить таким образом веру и верующих.

Автор «Победы Провокации» бросает вызов всему западному миру, идущему по ложному пути «сосуществования». А на польскую эмиграцию он возлагает особую ответственность за ее нежелание, неумение и неспособность встать на чистый и жертвенный путь борьбы с врагом родины и человечества.

«Победа Провокации» — громкая и очень смелая книга. Это настоящий манифест неукротимого партизана чистой идеи борьбы на смерть. Но вызывая даже возражения книга эта весьма полноценна, она приковывает внимание своею непримиримостью и обещает вызвать вокруг себя немало шума и споров.

Но разве «непримиримость», как и «полуреализм» не являются в какой-то степени одинаково необходимыми элементами в сложном процессе идущей сейчас мировой борьбы, называемой холодной войной?

К. Вендзягольский

AN ACTOR'S HANDBOOK, *by C. Stanislavski.* Edited and translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. Theatre Arts Books, New York, 1963.

CREATING A ROLE, *by C. Stanislavski.* Foreword by R. Lewis. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. Theatre Arts Books, New York, 1962.

Первая из отчетных книг «Справочник актера» выпущена к столетию со дня рождения К. С. Станиславского — 17-го января 1963 г. Эту книгу составила и перевела с русского известная переводчица работ К. С. Станиславского — Элизабет Рейнольдс Хапгуд, переведшая по-английски уже пять его книг. Для составления этой работы Э. Рейнольдс Хапгуд использовала очень большой материал, делая выборки из 16 томов сочинений Станиславского, опубликованных в СССР. То, что именно Э. Рейнольдс Хапгуд составила эту книгу гарантирует и ее ценность и правильность подобранного материала, ибо Э. Рейнольдс Хапгуд вместе с Станиславским еще работала над его первыми, вышедшими по-английски, книгами. Будучи долголетним другом К. С. Станиславского Э. Рейнольдс Хапгуд, может-быть, как никто другой знает и философию искусства и театральное кредо знаменитого основателя МХТ.

По заданию составителя «Справочник актера» должен показать то истинное «зерно» театральной системы Станиславского, которое так часто подвергается всевозможным искажениям и неправильным толкованиям. В «Справочнике», в алфавитном порядке, даны мысли Станиславского об искусстве актера, о значении театра, о задачах искусства вообще. «Искусство и артист должны всегда двигаться вперед — иначе они пойдут назад», говорил Станиславский. Мне думается, что эта небольшая книжка необходима не только молодому актеру, но и всякому актеру вообще. И шире — она интересна любому театральному деятелю и человеку театра, ибо «Справочник» помогает и ознакомиться и разобраться в интереснейших идеях Станиславского. Поэтому читатель невольно благодарен Э. Рейнольдс Хапгуд не только за осуществление трудной задачи выбора материала, но и за мастерскую передачу его на английском языке. Кстати, Э. Рейнольдс Хапгуд переводчица не только с русского, в ее переводе по-английски вышли книги и с немецкого и с французского. Она переводила Томаса Манна, Цукмейера и др. В ближайшее время в ее переводе в одном из театров Нью Иорка пойдет пьеса советского драматурга Е. Шварца «Дракон».

Вторая из отчетных книг — «Работа над ролью» — выпущенная тем же издательством, это большой том около 300 страниц. Книга эта является третьей работой в задуманной Станиславским трилогии: «Подготовка актера», «Создание характера» и отчетная книга — «Работа над ролью». И в то время как первые две были посвящены внутренней работе актера над собой (чувство памяти, воображение, сосредоточенность), а также и физической подготовке актера (голос, тело и др.), эта книга «Работа над ролью» говорит о процессе подготовки особенностей каждой роли, начиная с первой читки пьесы до воплощения роли на сцене. Над двумя первыми книгами, для издания их по-английски, Э. Рейнольдс Хапгуд работала вместе с Станиславским во Франции и Германии в 1929-30 г.г., когда он получил договор от американского издательства. В «Работе над ролью» дана разработка трех пьес — «Горе от ума», «Отелло» и «Ревизор». Эта книга как бы показывает путь развития Станиславского, как режиссера и педагога, от «Горе от ума» (1916 до 1920 г.г.) через его постановку «Отелло» (1930 г.) и почти до конца жизни — до «Ревизора». Все это дано на примерах актерской и режиссерской работы Станиславского над этими пьесами. И дано с большой глубиной проникновения в природу театрального искусства. Известный американский режиссер Роберт Льюис так писал об этой книге: «Эта книга настолько богата по своему материалу, так захватывающа по изложению, что чувствуешь себя не в

силах выразить то множество идей, которые она дает. Эти идеи обогащают вас и как актера и как театрального деятеля».

Благодаря Э. Рейнольдс Хапгуд, благодаря ее литературному таланту и большому труду, англо-американский читатель получил возможность познакомиться с К. С. Станиславским «как в подлиннике».

Роман Гуль

«МОСТЫ». *Литературно-художественный и общественно-политический альманах*. № 10. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1963.

Последний номер «Мостов» мы получили когда уже эта книга была свёрстана. Поэтому, к сожалению, мы лишены возможности дать подробный отзыв о № 10 «Мостов». Но все же, хотя бы бегло, отзовемся на него. Поэзия в этой книге представлена стихами Д. Кленовского, И. Одоевцевой, И. Елагина (большая интересная поэма) и многих других поэтов. Все эти стихотворные произведения, как принято выражаться, на высоком уровне. Всех этих поэтов мы хорошо знаем, в нашем журнале о их творчестве не раз писалось и вряд ли нужно говорить еще о ценности их поэзии. В отделе беллетристики — очерк об Андрее Белом Б. Зайцева, «Начало романа» Л. Ржевского и небольшой рассказ шведского писателя Яльмара Седерберга, в прекрасном переводе. Вся эта проза хороша и читается с большим интересом. Интересны и многие статьи в этой книге «Мостов», — как в отделе литературы и искусства, так и в отделе политики и культуры.

Федор Степун дал краткий, как всегда яркий, очерк о недавно скончавшемся в Риме художнике С. Щербатове. Интересна статья Г. Стукова «Новое о судьбе О. Мандельштама» с приложением шести его неопубликованных стихотворений. Полному собранию сочинений Б. Пастернака, вышедшему в издании Мичиганского Университета в Америке, посвящена обстоятельная статья Виктора Франка. Ценна статья Н. Отрадина «Россия и объединенная Европа». Весьма полезна и примечательна статья П. Шелестова «Усеченная диалектика», посвященная обзору главных теоретических статей журнала «Вопросы философии» за последнее время. С этой статьей в известной мере связана и переведенная с английского статья проф. А. Д. Айера. Проф. А. Д. Айер побывал в СССР, прочел там пять лекций. Статья его читается с большим интересом — это полемика с официальными представителями диамата. Очень своевременна статья проф. Л. Зандера «О Ф. А. Степуне и некоторых его книгах». Своевременна потому, что за последние годы в русской зарубежной печати не по заслугам мало пишется о Ф. А. Степуне, как философе и авторе многих замечательных книг художе-

ственной прозы («Записки прапорщика артиллериста», «Николай Переслегин» и особенно двухтомные мемуары «Бывшее и несбывшееся»). В этой книге «Мостов» заканчивается публикация большой статьи о Платоне Льва Шестова. Как почти всегда «Мосты» дают и в этой книге иллюстративный материал. На этот раз — к очерку К. Померанцева об Италии даны, всегда неожиданные и всегда талантливые, рисунки Юрия Анненкова.

В целом надо отметить литературную полноценность этой книги «Мостов», к чему мы уже давно привыкли. Материал в ней интересен и для зарубежного читателя и для читателя «там». Именно поэтому мы полагаем совершенно неверными недавние нападки Вяч. Завалишина на это ценное издание. Мы думаем, что эти нападки, как на некоторых сотрудников «Мостов», так и на все издание в целом, были несправедливы и больше того — вредны для всей зарубежной литературы.

Р. Г-ль

ИРИНА ГУАДАНИНИ. «ПИСЬМА». *Стихи.* Мюнхен, 1962.

Ирина Гуаданини, автор сборника стихов «Письма», принадлежит к нео-классической группе поэтов. Чувствуется и близость к Бунину, чье влияние заметно на ряде стихотворений: «Детство», «Всадник», «На юге», особенно же «Пустыня Негев». Есть в этой книге стихов и опьянение Парижем, его прелестью, от которой трудно оторваться даже в разлуке с Парижем, и любовь к Франции, к ее истории, к ее священным камням. Из этих стихов лучшие — «Иоанна д'Арк», творчески пережитая автором. Привожу его целиком, т. к. оно характеризует и манеру автора и захваченность его религиозной темой:

В душе твоей — пламя, — в груди твоей — Слово,
Покорная Слову — не знала иного.
«Прощайте, родные дубравы, навеки!
О грозные битвы, кровавые реки...»
В душе твоей — Слово, в груди твоей — пламя,
Водимая Словом, держала ты знамя,
Корона на Карле, венчанье в соборе, —
Сплетаются вместе и радость и горе...
В душе твоей — Слово, в душе твоей — Знамя,
В Руане на площади яркое пламя —
Но с Словом согласно два пламени слились,
И к небу поднялись и в нем растворились.

Той же теме посвящен и «Собор Парижской Богоматери», но исполнен он менее удачно.

Любовный цикл стихов овеян темой разъединенности «близнецов, разлученных судьбою». Символом этой любви является та «птица-дева», что «ждет свиданья одна среди густых ветвей». А в «Элегии 2-й», одном из удачнейших стихотворений сборника, говорится о надежде «пронести как свечу от заутрени, через жизни ступени к тебе в сердце любовь».

Есть в этом сборнике и стихи апокалиптические (на них теперь большая мода) и стихи о смерти и стихи, посвященные югу, но характернее всего для автора тема религиозная и тема одиночества.

Ек. Таубер

Н. ГРАДОБОЕВ. ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ. *Разоблачения XXII съезда КПСС.* Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1962.

Это — небольшая, но несомненно ценная книжка. В своем предисловии автор указывает, что «разоблачения XXII съезда являются самым уничтожающим приговором для советского режима и даже для всего мирового коммунизма». Собранные в этой работе материалы весьма полезны, как историческая справка, всякому кто интересуется вопросом десталинизации. И попутно, вопросом о том, что же писали, говорили и делали во времена Сталина сами «десталинизаторы»? Так, вполне уместно автор указывает на положение в Ленинграде в 1949-50 г.г. нынешнего члена президиума и секретаря ЦК КПСС Фрола Козлова. Приведя цитату из доклада Козлова на ленинградской городской конференции, подводившего итоги проведенной чистки («Правда», 31 мая 1950 г., стр. 2), Н. Градобоев резонно указывает, что этот доклад говорит о большой близости Ф. Козлова к так называемому «ленинградскому делу».

В начале брошюры автор дает краткий, но дельный анализ выступлений Хрущева и его соратников на XXII съезде. Затем — переход к документам, то-есть, к публикации самых важных и красочных мест из речей на XXII съезде Хрущева, Ильичева, Сатюкова, Шелепина, Лазуркиной, Фурцевой, Брежнева, Спиридонова, Полянского, Микояна, Ворошилова (покаянное заявление) и мн. др. Все это дано по тексту «Правды» от 31-го окт. 1961 г. Все эти выступления «десталинизаторов» на съезде имеют несомненно большое историческое значение и собранные вместе производят сильное впечатление. Но это впечатление значительно усиливается, когда читатель в следующей главе книжки находит то, что говорили главные десталинизаторы по тому же самому вопросу, но... при жизни Сталина. Вначале ежовщины, после проведенной в Москве чистки

Хрущев говорил, например, так: «карающая рука пролетарского закона разгромила эту шайку убийц и при всеобщем одобрении всех трудящихся нашей страны стерла с земли эту нечисть» (Речь на чрезвычайном 8-м Всесоюзном съезде Советов. Журнал «Партийное строительство», декабрь 1936 г.).

А вот выдержка из статьи Хрущева: «Величайшая заслуга товарища Сталина в том, что он в ожесточенной борьбе с врагами народа — меньшевиками, эсерами, троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, буржуазными националистами отстоял чистоту ленинского учения... Слава родному отцу, мудрому учителю, гениальному вождю партии, советского народа и трудящихся всего мира товарищу Сталину!» («Правда», 21 дек. 1949 г.).

А вот что было сказано Хрущевым о ныне не только реабилитированном, но и восславляемом маршале М. Н. Тухачевском: «Наша партия беспощадно... сотрет с лица земли всю троцкистско-правую падаль... Мы без остатка уничтожим врагов — всех до последнего — и развеем по ветру их прах» («Правда», 7-го июня 1937 года).

Не менее интересны выступления Анастаса Микояна во времена Сталина. Например: — «Забота о народе, о миллионах простых людей пронизывает всю деятельность товарища Сталина. Товарищ Сталин — великий продолжатель дела Ленина!Товарищ Сталин — это Ленин сегодня! Товарищ Сталин — гений социализма! Товарищ Сталин — великий зодчий коммунизма!» («Правда», 21 дек. 1949).

Есть такие же цитаты из «трудов» Косыгина, Шелепина, Шверника и многих других. Есть цитаты и из М. Шолохова, есть и стихи А. Твардовского и К. Симонова в честь Сталина. Ныне особенно старающийся угодить «десталинизаторам» К. Симонов в свое время писал:

«Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас,
товарищ Сталин!»

Эта небольшая, чисто документальная книжка «томов премногих тяжелей» потому, что всякому и «ученому и неучу» она на документах показывает, кто были в свое время верными соратниками Сталина и проводниками его страшной политики террора и кто теперешние «десталинизаторы». Оказывается, «знакомые всё лица, дочь, Софья Павловна, блудница!»

М. Н.

ОТ РЕДАКЦИИ

В кн. 68-й «Н. Ж.» был напечатан рассказ «Тучи» без подписи автора. Этот рассказ был найден Л. Ф. Зуровым среди бумаг И. А. Бунина. Автором его, как мы теперь выяснили, является поэт Анатолий Величковский, в свое время пославший «Тучи» И. А. Бунину.

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 69, в статье Н. Реймерса «Логика смысла и логика истины», первая строка сверху на стр. 281 должна читаться: «понятия, напр. AA^1 и AB». В кн. 70 «Н. Ж.» в статье П. Берлина «Русские мыслители и евреи» стр. 259 неправильно заверстана. 7-я строка сверху должна читаться: «весь вечер проговорит. И уж, конечно, ни с кем не спутает». Дальше с новой строки должно быть: «Я лично мало знал Розанова и т. д. (эти строки принадлежат автору, П. Берлину, он пишет о своих встречах с Розановым). РЕД.

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ РУССКОЕ КНИЖНОЕ ДЕЛО В США

VICTOR KAMKIN, Inc.
2902-2906-14th Street N. W.
Washington 9, D. C., U.S.A.

Книгоиздательский отдел и Центральный Книжный склад заграничных и эмигрантских издательств

НАШИ НОВИНКИ:

1. Аверченко, А. — Избранное. 178 стр. 2.00
2. Вертинский, А. — Песни и стихи (1916-1937 гг) . . . 1.25
3. Гумилев, Н. — Собрание сочинений в 4 томах. Том 1 325 стр. С портретом автора. Вступит. статья проф. Г. П. Струве — Жизнь и личность. 3.50
4. Петров, В. — Китайские рассказы. 58 стр. 0.85
5. Петров, В. — Сага форта Росс. кн. 1. 182 стр. 1.85
6. Соловьев, Вс. — Сергей Горбатов. 2 книги 4.50
7. Соловьев, Вс. — Вольтерьянец. 2 книги 5.00
8. Соловьев, Вс. — Старый Дом. Кн. 1 . . . . . 2.50
9. Сологуб, Ф. — Одна любовь. Стихи. 60 стр. 1.00

ПЕЧАТАЮТСЯ *и в скором времени поступят в продажу:*

10. Альтшуллер, Г. — Дело Тверитинова. Истор. роман кн. 1 . . 3.25
11. Гумилев, Н. — Собрание сочинений, том. 2.
12. Петров, В. — Сага форта Росс, кн. 2.
13. Соловьев, В. — Старый Дом, кн. 2.
14. Шпаковский, А. — На путях жизни и мысли. Стихи.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

15. Маевский, Вл., проф. — Исторические очерки.
16. Терапиано, Ю. — Избранное. 112 стр.
17. Скаутский сборник, посвященный 50-летию основания скаутизма в России.

Требуйте наши издания во всех русских книжных магазинах. **Прием книг на склад для распространения в США и Канаде.**

ПОКУПАЕМ РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ. **Платим наивысшую цену. Обмен на наши издания.**

Отделения и представительства во всех крупных городах США **(Сан Франциско, Лос Анжелес, Сеатль, Чикаго, Хартфорд, Филадельфия и др.).**

НОВАЯ КНИГА

ФЕДОР СТЕПУН

ВСТРЕЧИ

Достоевский — Л. Толстой — Бунин — Зайцев
Вячеслав Иванов — Белый — Леонов

«Уже давно не было такой интересной и живой русской книги, которая предлагала бы для размышления так много перспектив. Даже самые решительные противники идей Федора Степуна обычно признают его талант.»

(Вл. Варшавский, «Новый Журнал», кн. 70)

Издание Товарищества Зарубежных писателей.
Цена 3 доллара.

Заказы можно направлять по адресу
«Нового Журнала».

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1963 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.
Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.